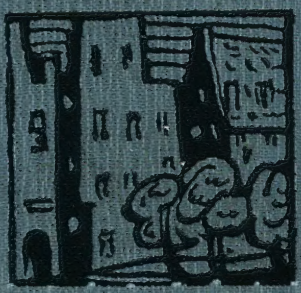
МОПАССАН



Ги де Мопассан

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ

6

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1958

Издание выходит
под общей редакцией
Ю. И. Данилина.

ГОСПОДИН ПАРАН

ГОСПОДИН ПАРАН

I

Маленький Жорж ползал на четвереньках по дорожке, сгребая песок в кучки. Он собирал его пригоршнями, насыпал пирамиды, а затем сажал на верхушку листок каштана.

Сидевший на садовом стуле отец не спускал с него внимательного, любовного взгляда и никого больше не видел в небольшом сквере, полном народа.

По всей круговой дорожке, которая проходит перед бассейном и церковью св. Троицы и огибает газон, как щенята, резвились ребятишки; равнодушные няньки тупо глядели в пространство, а матери разговаривали между собой, неусыпным оком следя за малышами.

Степенно прохаживались парами кормилицы, распустив по спине длинные разноцветные ленты своих чепцов, неся на руках что-то белое, утопающее в кружевах; девочки с голыми икрами, в коротких платьицах вели серьезные разговоры, а потом снова принимались катать обруч; сторож в зеленом мундире расхаживал среди детворы, непрестанно обходя песочные постройки, боясь наступить на ручонки, разрушить муравьиную работу этих крошечных человекоподобных личинок.

Солнце садилось за крышами улицы Сен-Лазар и бросало длинные косые лучи на эту нарядную шаловливую толпу. Каштановые деревья вспыхивали желтыми отблесками, и три фонтана перед высоким церков-

ным порталом, казалось, струили расплавленное серебро.

Г-н Паран смотрел на Жоржа, сидевшего на корточках в песке; он с любовью следил за каждым его жестом, мысленно сопровождал поцелуем малейшее движение сына.

Но, подняв глаза к часам на колокольне, он увидел, что запаздывает на пять минут. Он встал, поднял ребенка, отряхнул пыль с костюмчика, обтер ему руки и повел к улице Бланш. Он торопился, чтобы попасть домой раньше жены; мальчик, не поспевая за ним, бежал вприпрыжку.

Тогда отец взял его на руки и, еще ускорив шаг, тяжело дыша от напряжения, стал подыматься по идущему в гору тротуару. Это был человек лет сорока; он уже поседел, начинал полнеть и с виноватым видом носил свое сытое брюшко, брюшко благодушного человека, которого жизнь сделала робким.

Несколько лет тому назад он женился на нежно любимой девушке, а теперь она обходилась с ним резко и свысока, как самовластный тиран. Она придиралась к нему непрестанно и за то, что он делал, и за то, чего не делал, язвительно допекала за каждый шаг, за все его привычки, за самые скромные удовольствия, за вкусы, манеры, жесты, за полноту его фигуры и невозмутимый тон голоса.

И все же он еще любил ее, но гораздо больше любил ребенка от нее, трехлетнего Жоржа, который был главной заботой и радостью его души. Он жил, нигде не служа, на проценты со скромного капитала, дававшего ему двадцать тысяч франков годового дохода; жена, за которой он не взял приданого, постоянно возмущалась его бездельем.

Наконец он дошел до дому, поставил ребенка на нижнюю ступеньку, вытер пот со лба и стал подыматься по лестнице.

На третьем этаже он позвонил.

Дверь открыла старая нянька, выростившая еще его самого, одна из тех старых служанок, которые становятся деспотами в семье. Он с тревогой спросил:

— Барыня дома?

Служанка пожала плечами.

— Да где ж это видано, чтобы наша барыня была дома в половине седьмого?

Он ответил смущенным тоном:

— Ладно, тем лучше, по крайней мере, успею переодеться: мне очень жарко.

Нянька посмотрела на него с возмущением и презрительной жалостью.

— Вы, барин, я вижу, вспотели; торопились, несли, верно, мальчика, а теперь изволь дожидаться барыню до половины восьмого. Нет, я ученая стала, не спешу управиться вовремя. Обед будет к восьми; ничего не поделаешь, придется подождать. Нельзя, чтобы пережарилось жаркое.

Г-н Паран сделал вид, что не слышит. Он пробормотал:

— Ладно, ладно. Надо вымыть Жоржу руки, он делал пирожки из песка, а я пойду переоденусь. Скажи горничной, чтобы как следует почистила мальчика.

И он прошел к себе в спальню. Там он сразу запер ся на задвижку, чтобы остаться одному, совсем одному, совершенно одному. Он уже так привык к дурному обращению, к попрекам, что чувствовал себя в безопасности, только закрыв двери. Он даже не смел думать, размышлять, рассуждать сам с собой, если не был уверен, что от взглядов и придирок его не охраняет замок.

Присев на стул, чтобы немножко передохнуть перед тем, как надеть чистую рубашку, он подумал, что Жюли становится настоящей грозой в доме. Она ненавидела его жену, это было очевидно, но в особенности ненавидела его товарища, Поля Лимузена, закадычного его приятеля в годы холостой жизни, а теперь оставшегося близким другом и своим человеком в семье, что случается довольно редко. Как раз Лимузен служил буфером в его ссорах с Анриеттой и всегда защищал друга, даже очень горячо, очень смело от незаслуженных упреков, от злобных нападок, от всех невзгод его каждодневного существования.

Но вот уже с полгода, как Жюли позволяла себе недоброжелательные замечания и колкие намеки по адресу хозяйки. Она постоянно осуждала ее и заявляла двадцать раз на день: «Будь я, барин, на вашем

месте, не позволила бы я, чтобы меня так водили за нос. Но в конце концов, что же... каждый живет по-своему».

Раз даже она надерзила Анриетте. Та смолчала и только вечером сказала мужу: «Имей в виду, при первой грубости я сама выставлю ее за дверь». Однако казалось, она опасается служанки, хотя обычно не боялась никого, и Паран приписывал ее сдержанность уважению к женщине, которая его выпянчила, которая закрыла глаза его матери.

Но пора было положить этому конец, так дольше продолжаться не могло, и он приходил в ужас при мысли о том, что неминуемо должно было случиться. Как ему поступить? Рассчитать Жюли — этот исход казался настолько нежелательным, что он и думать о нем не хотел. Встать на ее сторону против жены также было невозможно; однако самое большее через месяц отношения между ними обеими станут нестерпимыми.

Он сидел, опустив руки, вяло подыскивая способ все уладить, и ничего не мог придумать. Наконец он прошептал: «Какое счастье, что у меня есть Жорж... Без него я совсем бы пропал».

Затем он подумал, что надо посоветоваться с Лимузеном, и совсем было на этом успокоился, но, тут же вспомнив о неприязни, зародившейся между старой нянькой и его другом, испугался, как бы тот не посоветовал прогнать ее; и опять им овладели сомнения и тревога.

Пробило семь, он вздрогнул. Семь, а он еще не готов. И вот, торопясь, отдуваясь, он разделся, вымылся, натянул чистую рубашку и поспешно оделся, словно в соседней комнате его ждало событие чрезвычайной важности.

Он вышел в гостиную, радуясь, что больше ему опасаться нечего.

Мельком заглянув в газету, он подошел к окну, посмотрел на улицу и опять сел на диван; открылась дверь, и вбежал его сын, умытый, причесанный, веселый. Паран схватил ребенка на руки и принялся страстно целовать. Сперва он поцеловал его в волосы, потом в глаза, потом в обе щеки, потом в губы, потом

в ладошки, потом, вытянув руки, стал подбрасывать до потолка. Наконец сел, усталый от такого напряжения, и, посадив Жоржа верхом на колено, начал его «катать на лошадке».

Мальчик в восторге смеялся, размахивал ручонками, радостно вскрикивал, и отец тоже смеялся и вскрикивал от удовольствия, так что трясся его толстый живот; он забавлялся больше сына.

Он любил его всем своим сердцем, сердцем доброго, слабовольного, покорного, обиженного человека. Он любил его с безумными порывами, с бурными ласками, со всей застенчивой, затаенной нежностью, не нашедшей выхода, не излившейся даже в первые дни его брачной жизни, ибо жена всегда была с ним суха и сдержанна.

Тут в дверях появилась Жюли, бледная, с горящими глазами, и заявила дрожащим от раздражения голосом:

— Половина восьмого, барин.

Паран бросил на часы беспокойный, виноватый взгляд и пробормотал:

— Правда, половина восьмого.

— Вот теперь у меня обед готов.

Предвидя бурю, он попытался ее предотвратить:

— А ведь когда я пришел, ты, кажется, говорила, будто раньше восьми не управишься?

— Раньше восьми!.. Да что вы, в самом деле! Не морить же ребенка голодом до восьми часов! Мало ли что сказала, всякое говорится. Только Жоржу голодать до восьми вредно. Счастье, что за ребенком не только мать смотрит. Она-то не очень о нем заботится. Да, уж нечего сказать, хороша мать! Глаза бы мои на нее не глядели!

Паран, дрожа от страха, почувствовал, что надо сразу пресечь опасную сцену.

— Жюли,— сказал он,— запрещаю тебе так говорить о хозяйке! Надеюсь, ты поняла? Не забывай этого впредь.

Старая няпька, чуть не задохнувшись от изумления, повернулась и вышла, так сильно хлопнув дверью, что на люстре зазвенели все подвески. В течение нескольких секунд в безмолвной гостиной как бы стоял

легкий, неуловимый перезвон невидимых колокольчиков.

Жорж сначала испугался, потом радостно захлопал в ладоши и, надув щеки, изо всех сил крикнул: «Бух!»,— подражая стуку двери.

Тогда отец стал рассказывать ему сказки, но то и дело терял нить повествования, потому что был удручен своими мыслями, и мальчик не понимал и удивленно таращил глазенки.

Паран не спускал взгляда с часов. Ему казалось, что он видит, как двигается стрелка. Ему хотелось остановить время, задержать его бег до прихода жены. Он не сердился на Анриетту за опоздание. Но он боялся, боялся ее и Жюли, боялся всего, что могло случиться. Еще десять минут — и грозит произойти непоправимое несчастье, бурная сцена с такими объяснениями, о которых ему даже думать было страшно. При одной мысли о ссоре, громких криках, обидных словах, будто пули, прорезающих воздух, об этих двух женщинах, стоящих лицом к лицу, впивающихся друг в друга взглядом, бросающих оскорбления, у него замирало сердце, во рту пересохло, как при ходьбе на жгучем солнце. Он весь обмяк, словно тряпка, до того обмяк, что не имел больше сил приподнять сынишку и покачать его на ноге.

Пробило восемь; дверь открылась снова, и снова вошла Жюли. Теперь у нее вид был уже не раздраженный, а решительный и злой, что внушало еще большие опасения.

— Барин,— сказала она,— я служила вашей матушке до самой ее смерти, за вами ходила со дня рождения и до нынешнего дня! Думаю, можно сказать, что я предана вашей семье...

Она ждала ответа.

Паран пробормотал:

— Ну, конечно, Жюли, голубушка.

Она продолжала:

— Сами знаете, на деньги я никогда не льстилась, а всегда берегла ваше добро; никогда я вас не обманывала, никогда вам не врала, вам нечем меня попрекнуть.

— Ну, конечно, Жюли, голубушка.

— Так вот, барин, дольше я терпеть не могу. Только из любви к вам я молчала, боялась вам глаза раскрыть. Но теперь довольно. Весь квартал над вами смеется. Конечно, это ваше дело, но только это все знают. Видно, придется мне все рассказать вам, хоть и не охотница я до сплетен. Барыня потому приходит домой, когда ей вздумается, что она нехорошими делами занимается.

Он растерялся, не понимал и мог только пролепетать:

— Замолчи... Ведь я тебе запретил...

Она оборвала его на полуслове с непреодолимой решительностью:

— Нет, барин, теперь я вам все выложу. Уже давно барыня согрешила с господином Лимузеном. Я сама раз двадцать видела, как они целовались за дверьми. Уж поверьте, будь господин Лимузен богат, барыня не вышла бы замуж за господина Парана. Вы только вспомните, как ваша свадьба сладилась, и сразу вам все станет ясно, как на ладони...

Паран встал. Он был бледен и лепетал:

— Замолчи... замолчи... Не то...

Она продолжала:

— Нет, я вам все выложу. Барыня вышла за вас из расчета и с первого же дня изменяла вам. Между ними уговор был! Надо только подумать немножко, и все станет понятно. Барыня злилась, что вышла за вас не по любви, вот она и стала портить вам жизнь, да так портить, что у меня сердце кровью обливалось. Я-то все видела...

Он сделал два шага, сжав кулаки, повторяя:

— Замолчи... замолчи...

Он не находил другого ответа.

Старая нянька не отступала; казалось, она решилась на все.

Но тут Жорж, сначала растерявшийся, потом перепуганный сердитыми голосами, пронзительно закричал. Он стоял позади отца и, сморщившись, открыв рот, громко ревел.

Вопли сына вывели из себя Парана, придали ему смелости и разъярили его. Он ринулся на Жюли с поднятыми кулаками.

— Подлая,— крикнул он,— ты ребенка перепугаешь!

Он уже готов был ее ударить. Тогда она бросила ему в лицо:

— Бейте, если вам угодно, бейте меня, хоть я вас и выпячнила; только этим делу не поможешь, жена вас обманывает, и сын у нее не от вас!..

Он сразу остановился, уронил руки и стоял перед ней, оторопев, ничего не понимая. А она добавила:

— Достаточно посмотреть на мальчика, чтобы признать отца, ей-богу! Вылитый портрет господина Лимузена. Стоит только на глаза и лоб посмотреть. Слепому, и тому ясно.

Но он схватил ее за плечи и принялся трясти изо всех сил, крича:

— Змея... Змея! Вон отсюда, змея!.. Убирайся, или убью!.. Вон, вон отсюда!..

И отчаянным усилием он вытолкнул ее в соседнюю комнату. Она повалилась на стол, уже накрытый, стаканы упали и разбились; поднявшись, она загородилась от него столом и, пока он гонялся за ней, стараясь ее схватить, выкрикивала ужасные слова:

— Вы, барин, только уйдите из дому... сегодня вечером... после обеда... И вернитесь невзначай... Вот тогда увидите... Увидите, правду я говорила или врала... Вы, барин, только попробуйте... и увидите.

Она очутилась на пороге кухни и скрылась за дверью. Он погнался за ней, взбежал по черной лестнице до комнаты для прислуги, где она заперлась, и крикнул, стуча в дверь:

— Сейчас же уходи вон из дому!

Она ответила из-за двери:

— Можете быть спокойны. Через час меня здесь не будет.

Тогда он медленно сошел вниз, цепляясь за перила, чтобы не упасть, и вернулся в гостиную, где Жорж сидел на полу и плакал.

Парон опустился в кресло и тупым взглядом посмотрел на ребенка. Он уже ничего не понимал, ничего не знал; он был оглушен, подавлен, ошеломлен, словно его ударили по голове; он с трудом вспоминал то страшное, что рассказала ему нянька. Потом мало-по-

малу рассудок его успокоился и прояснился, словно взбаламученная вода, чудовищное разоблачение стало грызть его сердце.

Жюли говорила так определенно, так убедительно, так уверенно, так искренне, что он не сомневался в ее правдивости. Но он упорно не хотел верить в ее проницательность. Она могла ошибаться, ослепленная преданностью ему, подстрекаемая бессознательной ненавистью к Анриетте. Однако, по мере того как он старался успокоить и убедить себя, в памяти вставали тысячи ничтожных фактов: слова жены, взгляды Лимузена, масса неосознанных, почти незамеченных мелочей, поздние отлучки из дому, одновременное отсутствие обоих сразу, даже жесты, как будто совсем незначительные, но странные,— он тогда не сумел их подметить, не сумел понять, а теперь они казались ему чрезвычайно значительными, свидетельствовали о каком-то сообщничестве. Все, что было после их помолвки, вдруг всплыло в его памяти, возбужденной и встревоженной. Он восстановил все: и необычные интонации и подозрительные позы; жалкому, потрясенному сомнениями рассудку этого мирного и доброго человека теперь представлялось уже достоверностью то, что пока еще могло быть только подозрением.

С яростным упорством пересматривал он все пять лет своей брачной жизни, стараясь вспомнить все, месяц за месяцем, день за днем; и всякая тревожная подробность впивалась ему в сердце, как осиное жало.

Он позабыл о Жорже, который замолк, сидя на ковре. Но мальчик, видя, что им никто не занимается, снова захныкал.

Отец бросился к нему, схватил на руки и покрыл поцелуями его голову. У него остался ребенок! Какое значение имело все остальное? Он держал своего ребенка, прижимал к себе, целовал его белокурые волосы, бормотал, успокоенный, утешенный: «Жорж... сынок мой, дорогой мой сынок...» Но вдруг он вспомнил, что сказала Жюли! Она сказала, что ребенок был от Лимузена... Нет, это невозможно! Нет, он никогда этому не поверит, ни на минуту не усомнится. Это подлая клевета, взлелеянная мелкой душонкой при-

слуги! Он повторил: «Жорж... Дорогой мой сынок!» Отцовская ласка успокоила мальчика.

Паран чувствовал, как тепло маленького тельца через платье проникает к нему в грудь. Нежное детское тепло переполняло его любовью, решимостью, радостью; оно согревало, укрепляло, спасало его.

Он чуточку отстранил от себя хорошенькую курчавую головку и с горячей любовью посмотрел на мальчика. Жадно, в самозабвении любовался он им и все повторял: «Сынок, мой милый сынок, Жорж!..»

И вдруг он подумал: « А что, если он похож на Лимузена!..» Он ощутил что-то странное, что-то ужасное, резкий холод во всем теле, во всех членах, словно кости в нем вдруг оледенели. О, если он похож на Лимузена! И Паран смотрел на Жоржа, совсем уже повеселевшего. Смотрел на него растерянным, затуманенным, обезумевшим взглядом и искал в линиях лба, носа, губ и щек что-нибудь, напоминающее лоб, нос, губы или щеки Лимузена.

Мысли его путались, как в припадке безумия, и лицо его ребенка менялось у него на глазах, приобретало странное выражение, неправдоподобное сходство.

Жюли сказала: «Слепому, и тому ясно». Значит, было что-то разительно, бесспорно похожее! Но что? Может быть, лоб? Возможно... Но у Лимузена лоб более узкий! Тогда рот? Но Лимузен носит бороду! Как усмотреть сходство между пухлым детским подбородком и щетинистым подбородком мужчины?

Паран думал: «Я не понимаю, больше ничего не понимаю; я слишком взволнован; сейчас я ни в чем не разберусь... Надо повременить; посмотрю на него повнимательнее завтра утром, как только встану».

Потом у него мелькнула мысль: «Ну, а что, если он похож на меня? Ведь тогда я спасен, спасен!»

Он мигом очутился на другом конце гостиной и остановился перед зеркалом, чтобы сравнить лицо сына со своим.

Он держал Жоржа на руках так, чтобы лица их были рядом, и в смятении разговаривал вслух сам с собой: «Да, нос тот же... Нос тот же... Да, пожалуй... Нет, я не уверен... И взгляд у нас тот же. Да нет же,

у него глаза голубые... Значит... О! Господи боже мой!.. Господи боже мой!.. Я с ума сойду... Не могу больше смотреть... С ума сойду...»

И он убежал подальше от зеркала, в противоположный угол гостиной, упал в кресло, посадил мальчика на другое и заплакал. Он плакал, тяжко, безутешно всхлипывая. Жорж услышал, как рыдает отец, и сам заревел с испугу.

Зазвонил звонок. Паран вскочил, как ужаленный, и пробормотал: «Это она... Что мне делать?..» Он побежал к себе в спальню и заперся там, чтобы успеть хотя бы глаза вытереть.

Но через минуту он опять вздрогнул от нового звонка; тут он вспомнил, что Жюли ушла, не предупредив горничную. Значит, дверь открыть некому. Что делать? Он пошел сам.

И вдруг он почувствовал смелость, решимость, способность скрывать и бороться. От пережитого им ужасного потрясения он стал зрелым человеком за несколько минут. А потом он хотел знать, хотел страстно, настойчиво, как умеют хотеть люди робкие и добродушные, когда их выведут из себя.

И все же он дрожал! От страха? Да... Может быть, он все еще боялся ее? Кто знает, сколько отчаявшейся трусости таится порою в отваге?

Он на цыпочках подкрался к двери и остановился, прислушался. Сердце его страшно колотилось. Он слышал только глухие удары у себя в груди да тоненький голосок Жоржа, все еще плакавшего в гостиной.

Вдруг над самой его головой раздался звонок, и он весь затрясся, как от взрыва; теперь он наконец нащупал замок, задыхаясь, изнемогая, повернул ключ и распахнул дверь.

Жена и Лимузен стояли перед ним на площадке.

Она сказала с удивлением, в котором сквозила легкая досада:

— Ты уж и двери сам открываешь. А Жюли где?

Ему сдавило горло, он часто дышал, силился ответить и не мог произнести ни слова.

Она продолжала:

— Ты что, онемел? Я спрашиваю, где Жюли?

Тогда он пролепетал:

— Она... она... она ушла...

Жена начала сердиться:

— Как ушла? Куда? Зачем?

Он понемногу оправился и почувствовал, как в нем накипает острая ненависть к наглой женщине, стоящей перед ним.

— Да, ушла, ушла совсем... Я ее рассчитал...

— Ты ее рассчитал?.. Рассчитал Жюли?.. Да ты в уме ли?

— Да, рассчитал, потому что она надерзила и потому... потому, что она обидела ребенка.

— Жюли?

— Да... Жюли.

— Из-за чего она надерзила?

— Из-за тебя.

— Из-за меня?

— Да... Потому что обед перестоялся, а тебя не было дома.

— Что она наговорила?

— Наговорила... всяких гадостей по твоему адресу. Я не должен был, не мог слушать...

— Каких гадостей?

— Не стоит повторять.

— Я хочу знать!

— Она сказала, что такой человек, как я, на свою беду, женился на такой женщине, как ты, неаккуратной, ветреной, неряхе, плохой хозяйке, плохой матери и плохой жене.

Молодая женщина вошла в переднюю вместе с Лимузеном, который молчал, озадаченный неожиданной сценой. Она захлопнула дверь, бросила пальто на стул и, наступая на мужа, раздраженно повторила:

— Ты говоришь... ты говоришь... что я?..

Он был очень бледен, но очень спокоен. Он ответил:

— Я, милочка, ничего не говорю; я только повторяю слова Жюли, ты ведь хотела их знать; и позволь тебе заметить, что за эти самые слова я и выгнал ее.

Она дрожала от безумного желания вцепиться ему в бороду, исцарапать ногтями щеки. В его голосе, в тоне, во всем поведении она уловила явный протест, но ничего не могла возразить и старалась взять ини-

циативу в свои руки, уязвить его каким-нибудь жестоким и обидным словом.

— Ты обедал?— сказала она.

— Нет, я ждал тебя.

Она нетерпеливо пожала плечами.

— Глупо ждать после половины восьмого. Ты должен был понять, что меня задержали, что у меня были дела в разных концах города.

Потом ей вдруг показалось необходимым объяснить, куда она потратила столько времени. Пренебрежительно, в нескольких словах рассказала она, что выбирала кое-что из обстановки, очень, очень далеко от дома, на улице Рэн, что, возвращаясь, уже в восьмом часу, встретила на бульваре Сен-Жермен г-на Лимузена и попросила его зайти с ней в ресторан перекусить,— одна она не решалась, хотя и умирала с голоду. Таким образом, они с Лимузеном пообедали, хотя вряд ли это можно назвать обедом — чашка бульона и по куску цыпленка,— так как очень торопились домой.

Паран просто ответил:

— Отлично сделала. Я тебя не упрекаю.

Тут Лимузен, до тех пор молчавший и державшийся позади Анриетты, подошел и протянул руку, пробормотав:

— Как поживаешь?

Паран взял протянутую руку и вяло пожал ее.

— Спасибо, хорошо.

Но молодая женщина прицепилась к одному слову в последней фразе мужа.

— Не упрекаешь... При чем тут упреки?.. Можно подумать, будто ты хочешь на что-то намекнуть.

Он стал оправдываться:

— Да совсем нет. Я просто хотел сказать, что не беспокоился и нисколько не виню тебя за опоздание.

Она решила разыграть обиженную и сказала, ища предлога для ссоры:

— За опоздание? Право, можно подумать, что уже бог знает как поздно и что я где-то пропадаю по ночам.

— Да нет же, милочка. Я сказал «опоздание», потому что не подыскал другого слова. Ты хотела вер-

нуться в половине седьмого, а вернулась в половине девятого. Это и есть опоздание! Я все отлично понял; я... я... я даже не удивляюсь... Но... но... я не знаю... какое другое слово придумать.

— Ты произносишь его так, словно я по ночам дома не бываю.

— Да нет же... нет.

Она поняла, что его не вывести из себя, и уже пошла было в спальню, но вдруг услышала рев Жоржа и встревожилась:

— Что с мальчиком?

— Я же тебе сказал, что Жюли его обидела.

— Что эта дрянь ему сделала?

— Да пустяки, она его толкнула, и он упал.

Она решила сама взглянуть на сына и торопливо вошла в столовую, но остановилась при виде залитого вином стола, разбитых графинов и стаканов, опрокинутых солонок.

— Что за разгром?

— Это Жюли, она...

Но она резко оборвала его:

— В конце концов, это уж слишком! Жюли объявляет, что я потеряла всякий стыд, бьет моего ребенка, колотит мою посуду, переворачивает все в доме вверх дном, а тебе кажется, что так и надо.

— Да нет же... ведь я ее рассчитал.

— Скажите!.. Рассчитал!.. Да ее арестовать надо было. В таких случаях вызывают полицию.

Он промямлил:

— Но, милочка... да как же я мог... на каком основании? Право же, невозможно...

Она пожала плечами с безграничным презрением.

— Знаешь, что я тебе скажу: тряпка ты, тряпка, ничтожный, жалкий человек, безвольный, бесхильный, беспомощный! Уж, верно, приятных вещей наговорила твоя Жюли, раз ты посмел ее выгнать. Хотелось бы мне на это взглянуть, хоть одним глазком взглянуть.

Открыв дверь в гостиную, она подбежала к Жоржу, взяла его на руки, обняла, поцеловала.

— Что с тобой, котик, что с тобой, голубчик мой, цыпонька моя?

Оттого, что мать приласкала его, он успокоился. Она повторила:

— Что с тобой?

Он ответил, все перепутав с испугу:

— Зюли папу побила.

Априетта оглянулась на мужа сначала в недоумении, затем ее глаза заискрились безудержным весельем, нежные щеки дрогнули, верхняя губа приподнялась, ноздри расширились, и громкий смех, серебристый и звонкий, волной радости, как птичья трель, полился из ее уст. Слова, которые она повторяла, взвизгивая, сверкая злым оскалом зубов, так и впивались в сердце Парана:

— Ха... ха... ха! По... по... побила тебя... ха... ха... как смешно... как смешно. Лимузен, слышите, Жюли его побила... побила... Жюли побила моего мужа... ха-ха-ха... как смешно!..

Паран пробормотал:

— Да нет же... нет... неправда... неправда. Совсем наоборот, это я вытолкал ее в столовую, да так, что она опрокинула стол. Мальчик спутал, это я ее побил!

Априетта сказала сыну:

— Повтори, цыпонька, Жюли побила папу?

Он ответил:

— Да, Зюли побила.

Но, внезапно вспомнив о другом, она сказала:

— Да ведь мальчик не обедал? Ты не кушал, мой миленький?

— Нет, мама.

Тогда она накинулась на мужа:

— Да ты что, рехнулся, совсем рехнулся? Половина девятого, а Жорж не обедал!

Он стал оправдываться, сбитый с толку этой сценой, этими объяснениями, подавленный крушением всей своей жизни.

— Но, милочка, мы тебя дожидались. Я не хотел обедать без тебя. Ведь ты всегда опаздываешь, я и думал, что ты вернешься с минуты на минуту.

Она швырнула на стул шляпу, которую до сих пор не сняла, и сказала возмущенным тоном:

— Просто невыносимо иметь дело с людьми, которые ничего не понимают, не догадываются, как посту-

пить, ни до чего не доходят своим умом! Ну, а если бы я в двенадцать ночи вернулась, так ребенок и остался бы непокормленным? Точно ты не мог понять, что, раз я не вернулась к половине восьмого, значит, у меня дела, что-то мне помешало, меня задержали!..

Паран дрожал, чувствуя, как его одолевает гнев; но тут вмешался Лимузен, обратившись к молодой женщине:

— Вы не правы, мой друг. Где же было Парану догадаться, что вы так запоздаете, если обычно с вами этого не случается. А потом, как же вы хотите, чтобы он один со всем справился? Ведь он выгнал Жюли!

Но Анриетта с раздражением ответила:

— Справляться ему так или иначе придется, я помогать не буду. Пусть выпутывается, как хочет!

И она ушла к себе в спальню, уже позабыв, что сын ничего не ел.

Тогда Лимузен бросился помогать своему приятелю. Он просто из кожи лез — подобрал и вынес осколки, покрывавшие стол, расставил приборы и усадил ребенка на высокий стульчик, пока Паран сходил за горничной и велел ей подавать. Та пришла удивленная: она работала в детской и ничего не слышала.

Она принесла суп, пережаренную баранину, картофельное пюре.

Паран сел рядом с сыном, в полном смятении, не в силах собраться с мыслями после постигшей его беды. Он кормил ребенка и сам пытался есть, резал мясо, жевал, но глотал его с трудом, словно горло у него было сдавлено.

И вот мало-помалу в его душе возникло безумное желание взглянуть на Лимузена, сидевшего напротив и катавшего хлебные шарики. Ему хотелось посмотреть, похож ли тот на Жоржа. Но он не смел поднять глаз. Наконец он решился и вдруг пристально посмотрел на это лицо, которое хорошо знал, но тут как будто увидел впервые, настолько оно показалось ему иным, чем он ожидал. Он ежеминутно украдкой взглядывал на это лицо, стараясь вникнуть в малейшую морщинку, в малейшую черточку, в малейший оттенок выражения, потом переводил взгляд на сына, делая вид, будто уговаривает его кушать.

Два слова звенели у него в ушах: «Его отец! его отец! его отец!» Они стучали у него в висках при каждом биении сердца. Да, этот человек, этот спокойный человек, сидевший на другой стороне стола,— быть может, отец его сына, Жоржа, его маленького Жоржа. Паран бросил есть, он больше не мог. Все внутри у него разрывалось от невыносимой боли, той боли, от которой люди воют, катаются по земле, кусают стулья. Ему захотелось взять нож и проткнуть себе живот. Это прекратило бы его страдания, спасло бы его: тогда наступил бы конец всему.

Как может он жить дальше? Как может жить, вставать утром, сидеть за обедом, ходить по улицам, ложиться вечером и спать ночью, раз его непрестанно будет точить одна мысль: «Лимузен — отец Жоржа!..»? Нет, у него не хватит сил сделать хоть шаг, не хватит сил одеваться, о чем-то думать, с кем-то говорить! Ежедневно, ежечасно, ежеминутно он будет задавать себе тот же вопрос, будет стараться узнать, отгадать, раскрыть эту ужасную тайну. И всякий раз, глядя на своего мальчика, на своего дорогого мальчика, он будет страдать от ужасных мук сомнения, его сердце будет обливаться кровью, душу истерзают нечеловеческие пытки. Ему придется жить здесь, оставаться в этом доме, рядом с ребенком, и он будет и любить и ненавидеть его! Да, в конце концов он его непременно возненавидит. Какая пытка! О, если бы твердо знать, что Лимузен — его отец; может быть, тогда ему удастся успокоиться, смириться в своем горе, в своей боли. Но не знать — вот что нестерпимо!

Не знать, вечно допытываться, вечно страдать, целовать этого ребенка, чужого ребенка, гулять с ним по улице, носить на руках, чувствовать на губах нежное прикосновение его мягких волосиков, обожать его и непрестанно думать: «Может быть, это не мой ребенок?» Лучше не видеть его, покинуть, бросить на улице или самому убежать далеко, так далеко, чтобы ни о чем больше не слышать, не слышать никогда!

Он вздрогнул, услыхав, как скрипнула дверь. Вошла жена.

— Я голодна,— сказала она,— а вы, Лимузен?

Лимузен, помедлив, ответил:

— Правду сказать, я тоже.

И она приказала снова подать баранину.

Паран задавал себе вопрос: «Обедали они или нет? Может быть, их задержало любовное свидание?»

Теперь оба они ели с большим аппетитом, Анриетта спокойно смеялась и шутила. Муж следил и за ней, бросал быстрые взгляды и сейчас же отводил глаза. На ней был розовый капот, отделанный белым кружевом; ее белокурая головка, свежая шея, полные руки выступали из этой кокетливой душистой одежды, словно из раковины, обрызганной пеной. Что делали они целый день, она и этот мужчина? Паран представлял себе их в объятиях друг друга, шепчущих страстные слова! Как мог он ничего не узнать, не отгадать правды, видя их вот так, рядом, напротив себя?

Как, должно быть, они смеялись над ним, если с первого дня обманывали его! Мыслимо ли измываться так над человеком, порядочным человеком, только за то, что отец оставил ему кое-какие деньги! Почему нельзя прочесть в душах, что там творится; как это возможно, чтобы ничто не раскрыло чистому сердцем обман вероломных сердец; как возможно тем же голосом и лгать и говорить слова любви; как возможно, чтобы предательский взор ничем не отличался от честного взора?

Он следил за ними, подкарауливал жесты, слова, интонации. Вдруг он подумал: «Сегодня вечером я их поймаю». И сказал:

— Милочка, я рассчитал Жюли, значит, надо сегодня же подыскать новую прислугу. Пойду сейчас же, чтобы найти кого-нибудь уже на завтра, с утра. Может быть, я немного задержусь.

Она ответила:

— Ступай, я уже никуда не уйду. Лимузен посидит со мной. Мы подождем тебя.

Затем она сказала, обращаясь к горничной:

— Уложите спать Жоржа, потом уберете со стола и можете идти.

Паран встал. Он еле держался на ногах, голова кружилась, он шатался. Он пробормотал: «До свидания»— и вышел, держась за стену, так как пол уплывал у него из-под ног.

Горничная унесла Жоржа. Анриетта и Лимузен перешли в гостиную. Как только закрылась дверь, он сказал:

— Ты с ума сошла, зачем ты изводишь мужа?

Она обернулась:

— Ах, знаешь, мне начинает надоедать, что с некоторых пор у тебя появилась манера изображать Парана каким-то мучеником.

Лимузен сел в кресло и, положив ногу на ногу, сказал:

— Я совершенно не изображаю его мучеником, но считаю, что в нашем положении нелепо с утра до вечера делать все наперекор твоему мужу.

Она взяла с камина папироску, закурила и ответила:

— Я совсем не делаю ему все наперекор, просто он раздражает меня своей глупостью... Как он того заслуживает, так я с ним и обращаюсь.

Лимузен перебил нетерпеливым тоном:

— Нелепо так себя вести! Впрочем, женщины все на один лад. Да что же это такое! Отличный человек, добрый и доверчивый до глупости, ни в чем нас не стесняет, ни одной минуты не подозревает, дает нам полную свободу, оставляет в покое, а ты так и стараешься взбесить его и испортить нам жизнь!

Она повернулась к нему.

— Слушай, ты мне надоел! Ты трус, как и все мужчины. Ты боишься этого кретина!

Он в ярости вскочил.

— Хотел бы я знать, чем он тебе досадил и за что ты на него сердишься? Что, он тебя тиранит? Бьет? Обманывает? Нет, это в конце концов невыносимо! Заставлять так страдать человека только за то, что он чересчур добр, и злиться на него только за то, что сама ему изменяешь.

Она подошла к Лимузену и, глядя ему в глаза, сказала:

— И ты меня упрекаешь в том, что я ему изменяю? ты? ты? ты? Ну и подлая же у тебя душа после этого!

Он стал оправдываться, несколько пристыженный:

— Да я тебя ни в чем не упрекаю, дорогая, а толь-

ко прошу тебя немножко бережнее обращаться с мужем, ведь нам обоим важно не возбуждать его подозрений. Мне кажется, следовало бы это понимать.

Они стояли совсем рядом: он — высокий брюнет с бакенбардами, несколько развязный, какими бывают мужчины, довольные своей наружностью; она — миниатюрная, розовая и белокурая, типичная парижанка, полукокотка, полумещаночка, с малых лет привыкшая стрелять глазами в прохожих с порога магазина, где она выросла, и выскочившая замуж за случайно увлеченного ею простодушного фланера, который влюбился в нее, видя ее ежедневно все там же, у дверей лавки, и утром, когда он выходил из дому, и вечером, когда возвращался.

Она говорила:

— Глупый, неужели ты не понимаешь, что ненавижу я его как раз за то, что он на мне женился, за то, что он меня купил; наконец, все, что он говорит, все, что делает, что думает, действует мне на нервы. Ежеминутно он раздражает меня своей глупостью, которую ты называешь добротой, своей недогадливостью, которую ты называешь доверчивостью, а главным образом тем, что он мой муж, он, а не ты! Я чувствую, что он стоит между нами, хотя он нас совсем не стесняет. И потом... потом... надо быть полным идиотом, чтобы ничего не подозревать! Лучше бы уж он ревновал. Бывают минуты, когда мне хочется ему крикнуть: «Осел, да неужели же ты ничего не видишь, неужели не понимаешь, что Поль мой любовник!»

Лимузен расхохотался.

— Но пока что тебе лучше молчать и не нарушать нашего мирного существования.

— О, будь спокоен, не нарушу. С таким дураком бояться нечего. Нет, просто поверить не могу, что ты не понимаешь, как он мне противен, как он меня раздражает! У тебя всегда такой вид, будто ты его любишь, ты ему всегда искренне жмешь руку. Мужчины — странный народ.

— Дорогая моя, надо же уметь притворяться.

— Дело, дорогой мой, не в притворстве, а в чувстве. Вы, мужчины, обманываете друга и как будто от этого еще сильнее его любите; а нам, женщинам,

муж делается ненавистен с той минуты, как мы его обманем.

— Не понимаю, чего ради ненавидеть хорошего человека, у которого отнимаешь жену?!

— Тебе не понятно? Не понятно? Вам всем не хватает чуткости! Что делать! Есть вещи, которые чувствуешь, а растолковать не можешь. Да и не к чему... Ну, да тебе все равно не понять. Нет в вас, в мужчинах, тонкости...

И, улыбаясь ему чуть презрительной улыбкой развращенной женщины, она положила ему на плечи обе руки и протянула губы; он склонил к ней голову, сжал ее в объятиях, и губы их слились. И так как они стояли у камина перед зеркалом, другая, совершенно такая же чета поцеловалась в зеркале за часами.

Они ничего не слышали: ни звука ключа, ни скрипа двери; но вдруг Анриетта пронзительно вскрикнула, обеими руками оттолкнула Лимузена, и они увидели Парана, разутого, в надвинутой на лоб шляпе; он смотрел на них, бледный, сжимая кулаки.

Он смотрел на них, быстро переводя взгляд с нее на него и не поворачивая головы. Он казался сумасшедшим. Затем, не говоря ни слова, он набросился на Лимузена, сгреб его, стиснул, будто хотел задушить, рванул что было мочи, и тот, потеряв равновесие, размахивая руками, отлетел в угол и ударился лбом о стену.

Но Анриетта, поняв, что муж убьет любовника, бросилась на Парана, вонзила ему в шею все свои десять тоненьких розовых пальчиков и сжала ему горло с отчаянной силой обезумевшей женщины, так что кровь брызнула у нее из-под ногтей. Она кусала его в плечо, словно хотела в клочья разорвать его зубами. Задыхаясь, изнемогая, Паран выпустил Лимузена, чтобы стряхнуть жену, вцепившуюся ему в шею, и, схватив ее за талию, отбросил на другой конец гостиной.

Потом он остановился между ними обоими, отдуваясь, обессилев, не зная, что делать, так как был вспыльчив, но отходчив, подобно всем добрякам, и быстро выдыхался, подобно всем слабым людям. Его животная ярость нашла выход в этом порыве — так вырывается пена из откупоренной бутылки шампанского,—

и непривычное для него напряжение разрядилось одышкой. Как только к нему вернулся дар речи, он пробормотал:

— Убирайтесь... убирайтесь оба... Убирайтесь сейчас же...

Лимузен стоял в углу, точно прилипнув к стене, ничего не понимая, так он был озадачен, боясь пошевелить пальцем, так он был перепуган; Анриетта, растрепанная, в расстегнутом лифе, с обнаженной грудью, оперлась обеими руками на столик, вытянула шею, насторожившись, как зверь, приготовившийся к прыжку.

Паран повторил громче:

— Сейчас же убирайтесь вон... Сейчас же!

Видя, что первая вспышка улеглась, жена осмелела, выпрямилась, шагнула к нему и сказала уже наглым тоном:

— Ошалел ты, что ли? Какая муха тебя укусила!.. Что за безобразная выходка?..

Он обернулся к ней, занес руку, чтобы ее ударить, и выкрикнул, заикаясь:

— О... о... это... это... уж слишком! Я... я... я... все слышал... все... все!.. Понимаешь... все! Подлая!.. подлая!.. Оба вы подлые... убирайтесь!.. Оба... сейчас же... Убью!.. Убирайтесь!..

Она поняла, что все кончено, что он знает, что ей не выгородить себя и надо покориться. К ней вернулась ее обычная наглость, а ненависть к этому человеку, дошедшая теперь до предела, подстрекала ее к дерзким выпадам, порождала желание держать себя вызывающе, бравировать своим положением.

Она сказала звонким голосом:

— Идемте, Лимузен. Раз меня гонят, пойду к вам.

Но Лимузен не тронулся с места. Паран в новом порыве гнева закричал:

— Да убирайтесь же!.. убирайтесь! Подлые... Не то... не то...

Он схватил стул и стал вертеть им над головой.

Тогда Анриетта быстро перебежала гостиную, взяла любовника под руку, оторвала его от стены, к которой он будто прирос, и потащила к двери, повторяя:

— Идемте, мой дорогой, идемте... Вы же видите, что это сумасшедший... Идемте!

Уже выходя, она оглянулась на мужа, придумывая, чем бы ему еще досадить, что́ бы еще изобрести такое, что ранило бы его в самое сердце прежде, чем покинуть его дом. И вдруг ей пришла мысль, ядовитая, смертоносная мысль, порожденная женским коварством.

Она сказала решительным тоном:

— Я хочу забрать моего ребенка.

Ошеломленный Паран пролепетал:

— Твоего... твоего... ребенка? Ты смеешь говорить о твоем ребенке?.. Ты смеешь... смеешь требовать твоего ребенка... после... после всего... О, о, это уж слишком! Ты смеешь?.. Убирайся вон, мерзавка, убирайся вон!..

Она подошла к нему вплотную, улыбаясь, чувствуя себя уже почти отомщенной, и прямо в лицо ему вызывающе крикнула:

— Я хочу забрать моего ребенка, и ты не имеешь права не дать мне его, потому что он не от тебя... понимаешь, понимаешь... Он не от тебя... Он от Лимузена...

Паран в отчаянии выкрикнул:

— Лжешь... лжешь... подлая!

Но она не унималась:

— Дурак! Все это знают, только ты не знаешь. Говорю тебе: вот его отец. Достаточно посмотреть...

Паран, шатаясь, отступал перед ней. Потом он вдруг обернулся, схватил свечку и бросился в соседнюю комнату.

Вернулся он почти тут же, неся на руках Жоржа, завернутого в одеяла. Внезапно разбуженный, ребенок напугался и плакал. Паран бросил его на руки жене, затем, не прибавив ни слова, грубо вытолкал ее за дверь на лестницу, где из осторожности дожидался ее Лимузен.

Затем он закрыл дверь, повернул два раза ключ в замке и задвинул засов. Не успел он войти в гостиную, как ничком повалился на пол.

II

Паран стал жить один, совсем один. Первое время после разрыва новизна одинокого существования отвлекала его от дум. Он снова зажил холостяком, вер-

нулся к прежним привычкам, фланировал по улицам, обедал в ресторане. Желая избежать скандала, он выплачивал жене через нотариуса определенную сумму. Но мало-помалу воспоминание о ребенке стало его преследовать. Часто по вечерам, когда он сидел дома один, ему вдруг чудилось, будто Жорж зовет его: «Папа». Сердце у него сейчас же начинало усиленно биться, и он спешил открыть дверь на лестницу и поглядеть, не вернулся ли домой его мальчик. Ведь мог же он вернуться, как возвращаются собаки или голуби. Почему не быть инстинкту у ребенка, раз он есть у животных?

Убедившись в своей ошибке, он снова усаживался в кресло и думал о сыне. Он думал о нем часами, думал целыми днями. Тоска его была не только душевной, это была, пожалуй, даже больше тоска физическая, чувственная, первая потребность целовать сына, обнимать, тискать его, сажать к себе на колено, возиться с ним, подбрасывать его к потолку. Он томился жгучими воспоминаниями о былых радостях. Он ощущал детские ручонки вокруг своей шеи, губки, чмокающие его в бороду, волосики, щекочущие щеку. Жажда этих исчезнувших сладостных ласк, жажда ощутить своими губами мягкую, теплую и нежную кожу сводила его с ума, как тоска о любимой женщине, ушедшей к другому.

На улице он вдруг вспоминал, что сын, что его бутуз Жорж мог бы сейчас быть с ним, семенить рядом детскими своими ножонками, как прежде, когда они ходили гулять, и он принимался плакать. Тогда он возвращался домой и, закрыв лицо руками, рыдал до вечера.

Двадцать раз, сто раз на дню задавал себе Паран все тот же вопрос: чей сын Жорж, его или не его? Нескончаемые думы об этом обступали его главным образом по ночам. Едва он ложился в постель, как снова начинал строить ту же цепь безнадежных доводов.

Вначале, после ухода жены, он совсем не сомневался: конечно, ребенок не его, а Лимузена. Потом им снова овладели колебания. Слова Анриетты, разумеется, не имели никакого значения. Она хотела сделать ему назло, довести его до отчаяния. Здраво обсуждая все доводы «за» и «против», он приходил к выводу, что она могла и солгать. Один только Лимузен, пожалуй,

сказал бы правду. Но как узнать, как спросить его, как склонить к признанию?

И вот иногда Паран вскакивал среди ночи, твердо решив сейчас же пойти к Лимузену, умолить его, дать ему все, чего тот ни пожелает, только бы положить конец ужасным мукам. Потом он снова укладывался в постель, в полном отчаянии, сообразив, что любовник тоже, верно, будет лгать. Даже обязательно будет лгать, чтобы настоящий отец не мог взять к себе сына.

Что же оставалось делать? Ничего!

И он упрекал себя в том, что ускорил события, что не подумал обо всем, не запасся терпением, не сумел выждать, притворяться месяц — другой и во всем удостовериться собственными глазами. Надо было прикинуться, будто ничего не подозреваешь, и предоставить им возможность понемногу выдать себя. Достаточно было бы посмотреть, как Лимузен целует мальчика, чтобы догадаться, чтобы понять. Друг не целует так, как отец. Он мог бы подглядеть за ними в щелочку! Как ему это не пришло в голову? Если Лимузен, оставшись с Жоржем, не схватил бы мальчика, не сжал в объятиях, не покрыл бы страстными поцелуями, а равнодушно смотрел бы, как тот играет,— все сомнения исчезли бы: значит, он не отец, он не считает, не чувствует себя отцом.

Тогда он, Паран, выгнал бы мать, но сохранил бы сына и был бы счастлив, вполне счастлив.

Он ворочался в постели, обливаясь потом, мучительно стараясь припомнить, как вел себя Лимузен с мальчиком. Но он ничего не мог восстановить в памяти, абсолютно ничего: ни подозрительного жеста, ни взгляда, ни слова, ни ласки. Да и мать тоже совсем не занималась ребенком. Будь он от любовника, верно, она любила бы его сильнее.

Значит, его разлучили с сыном из мести, из жестокости, чтобы наказать за то, что он их поймал.

И он собирался чуть свет идти требовать через властей, чтобы ему вернули его Жоржа.

Но как только он принимал такое решение, им снова овладевала уверенность в обратном. Раз Лимузен с первого дня был любовником Анриетты, любимым ею любовником, значит, она отдавалась ему с таким поры-

вом, с таким самозабвением, с такой страстью, что должна была стать матерью. Ведь при той холодной сдержанности, которую она вносила в супружеские отношения с ним, Параном, она вряд ли могла зачать ребенка.

Тогда, значит, он вытребует, будет держать при себе, будет растить и холить чужого ребенка. Каждый раз, как он посмотрит на мальчика, поцелует, услышит, как тот лепечет «папа», его будет точить мысль: «Он не мой сын». И самому обречь себя на эту повседневную пытку, на это вечное мученичество! Нет, лучше остаться одному, жить одному, состариться одному и умереть одному.

И каждый день, каждую ночь одолевали его те же жестокие сомнения и страдания, от которых не было ни отдыха, ни спасения. Особенно не любил он наступающей темноты, печальных сумерек. Тогда на сердце его дождем падала тоска. Он знал, что вместе с мраком нахлынет на него волна отчаяния, затопит, лишит разума. Он страшился своих мыслей, как страшатся злоумышленника, он бежал от них, словно затравленный зверь. Особенно боялся он пустой квартиры, такой темной, такой жуткой, и безлюдных улиц, где горят редкие газовые рожки и где, заслышав издали одинокого прохожего, пугаешься его, как бродяги, и невольно замедляешь или ускоряешь шаг, смотря по тому, идет ли он навстречу или следом за тобой.

И Паран, сам того не замечая, инстинктивно сворачивал на большие улицы, освещенные и многолюдные. Свет и толпа манили его, занимали, помогали ему рассеяться. Затем, когда он уставал бродить, толкаться в людском водовороте, и видел, как понемногу редеет толпа, как на тротуарах становится свободнее, боязнь одиночества и тишины загоняла его куда-нибудь в кафе, полное света и народа. Он шел туда, как мухи летят на огонь, садился за круглый столик и заказывал кружку пива. Он медленно потягивал его, огорчаясь каждый раз, как вставал и уходил кто-нибудь из посетителей. Ему хотелось взять его за рукав, удержать, попросить посидеть еще немного, до того боялся он минуты, когда гарсон, подойдя к нему, сердито скажет: «Пора, сударь, уже закрывают...»

Ведь каждый вечер он уходил последним. Он видел, как сдвигают столики, как гасят один за другим газовые рожки, за исключением двух — над его столиком и над стойкой. Он с сокрушением следил, как кассирша пересчитывает и запирает в ящик дневную выручку, и уходил, подгоняемый шепотом прислуги: «Что он, к месту прирос, что ли? Уж будто ему и переночевать негде!»

А очутившись один, на темной улице, он сейчас же вспоминал о Жорже и снова ломал себе голову, думал и передумывал, отец он ему или нет.

Понемногу он обжился в пивной, где, постоянно толкаясь среди завсегдатаев, привыкаешь к их безмолвному присутствию, где плотный табачный дым убаюкивает тревоги, где от густого пива тяжелеет мысль и успокаивается сердце.

Он, можно сказать, поселился там. С самого утра он шел туда, чтобы поскорее очутиться на людях, чтобы было на ком остановить взгляд и мысль. Затем, облепившись и тяготясь передвижениями, он и столоваться стал там. В полдень стучал блюдцем по мраморному столику, и гарсон быстро приносил тарелку, стакан, салфетку и дежурное блюдо на завтрак. Кончив есть, он медленно пил кофе, созерцая графинчик со спиртным, предвкушая часок полного забвения. Сначала он чуть пригубливал коньяк, как бы желая только отведать его, смакуя вкусную жидкость кончиком языка. Потом, запрокинув голову, по каплям цедил коньяк в рот, медленно ополаскивая крепким напитком небо, десны, всю слизистую оболочку, что вызывало слюну. С благоговейной сосредоточенностью глотал он коньяк, разбавленный слюной, чувствуя, как жгучая влага льется по пищеводу до самого желудка.

После каждой еды он в течение часа выпивал три — четыре рюмки, потягивая их маленькими глоточками, и постепенно впадал в дремотное состояние. Голова клонилась к животу, глаза слипались, и он засыпал. Очнувшись к середине дня, он сейчас же протягивал руку к кружке с пивом, которую гарсон ставил на столик, пока он спал. Выпив, он приподнимался с красной бархатной скамейки, подтягивал брюки, обдергивал жилет, чтобы прикрыть выглянувшую белую полосу сорочки, отряхи-

вал воротник сюртука, вытаскивал из рукавов манжеты и снова принимался за изучение газет, уже прочитанных утром. Он читал их от первой до последней строчки, не пропуская реклам, спроса и предложения труда, объявлений, биржевого бюллетеня и репертуара театров.

От четырех до шести он шел погулять по бульварам, проветриться, как он говорил. Затем опять возвращался на свое место, которое сохранялось за ним, и заказывал абсент.

Он беседовал с завсегдатаями пивной, с которыми познакомился. Они обсуждали новости дня, происшествия, политические события. Так он досиживал до обеда. Вечер проходил так же, как и день, до закрытия пивной. Это был для него самый ужасный момент. Волей-неволей надо было возвращаться в темноту, в пустую спальню, где гнездились страшные воспоминания, мучительные мысли и тревоги. Со старыми друзьями он не видался, не видался и с родными, не видался ни с кем, кто мог бы напомнить прежнюю жизнь.

Квартира стала для него адом, и он снял комнату в хорошей гостинице, прекрасную комнату в бельэтаже, чтобы можно было смотреть на прохожих. Здесь, в этом большом общественном жилище, он был не одинок; он чувствовал, что вокруг него копошатся люди, он слышал голоса за стеной; если же открытая на ночь постель и догорающий камин опять нагоняли на него мучительную тоску, он выходил в просторный коридор и, словно часовой, шагал мимо закрытых дверей, с грустью посматривая на ботинки, по две пары перед каждой дверью, на изящные дамские ботинки, прильнувшие к тяжелым мужским; и он думал, что все эти люди, верно, счастливы и сладко спят, рядышком или обнявшись, в жаркой постели.

Так прошло пять лет. Пять хмурых лет, без всяких событий, если не считать случайной любви, купленной на два часа за два лундора.

И вот как-то, когда он совершал свою обычную прогулку от церкви Мадлен до улицы Друо, он вдруг заметил женщину, походка которой чем-то поразила его. С ней были высокий мужчина и ребенок. Все трое шли впереди него. Он задавал себе вопрос: «Где же я видел

этих людей?» И вдруг по движению руки он узнал ее. Это была его жена, его жена с Лимузеном и его сыном, его маленьким Жоржем.

Он еле переводил дух, так билось у него сердце; но он не остановился, ему хотелось взглянуть на них, и он пошел следом. Казалось, это была семья, добропорядочная буржуазная семья. Анриетта шла под руку с Полем и тихо что-то говорила, временами посматривая на него. Тогда Парану был виден ее профиль. Он узнавал изящные очертания ее лица, движение губ, улыбку, ласковый взгляд. Но особенно волновал его ребенок. Каким он стал большим, крепким! Парану не видно было лица, он видел только длинные белокурые волосы, локонами падающие на шею. Этот высокий мальчуган с голыми икрами, этот маленький мужчина, шагавший рядом с матерью, был Жорж!

Они остановились перед магазином, и он вдруг увидел всех троих разом. Лимузен поседел, постарел, похудел; жена же, наоборот, расцвела и несколько раздобрела; Жоржа нельзя было узнать, так он изменился!

Они пошли дальше. Паран снова двинулся следом за ними. Потом быстро перегнал, вернулся и посмотрел вблизи, прямо им в лицо. Проходя мимо мальчика, он вдруг ощутил желание, безумное желание схватить его на руки и унести. Словно случайно задел он его. Мальчик обернулся и недовольно взглянул на неловкого прохожего. И Паран убежал, пораженный, преследуемый, раненный этим взглядом. Он убежал, как вор, в невероятном страхе, чтобы жена и ее любовник не увидели и не узнали его. Не передохнув, добежал он до своей пивной и, запыхавшись, упал на стул.

В этот вечер он выпил три рюмки абсента.

Четыре месяца не заживала в его сердце рана от этой встречи. Каждую ночь они снились ему все трое: отец, мать и сын, счастливые, спокойные, гуляющие по бульвару перед тем, как идти обедать домой. Эта новая картина заслонила прежнюю. Теперь это было что-то иное, иное видение, а с ним и иная боль. Жорж, его сыночек Жорж, которого он так любил, так лелеял когда-то, исчез в далеком и навсегда ушедшем прошлом. Он видел нового Жоржа, будто брата первого, мальчика с голыми икрами, который не знал его, Парана. Он

ужасно страдал от этой мысли. Любовь мальчика умерла; связь между ними оборвалась; ребенок, увидя его, не протянул к нему рук, а даже сердито покосился на него.

Но мало-помалу сердце Парана снова успокоилось; душевные муки ослабли. Картина, представшая его глазам, преследовавшая его целыми ночами, потускнела, стала возникать реже. Он опять зажил, почти как все, как все бездельники, что пьют пиво за мраморными столиками и до дыр просиживают брюки на скамеечках, обитых потертым бархатом.

Он состарился в дыму трубок, облысел под огнем газовых рожков, стал почитать за событие ванну раз в неделю, стрижку волос два раза в месяц, покупку нового костюма или шляпы. Если он приходил в свою пивную в новой шляпе, то раньше, чем сесть за столик, долго разглядывал себя в зеркале, надевал и снимал ее несколько раз подряд, примерял на все лады, а потом спрашивал свою приятельницу-буфетчицу, которая с интересом смотрела на него: «Как, по-вашему, шляпа мне к лицу?»

Два—три раза в год он бывал в театре; а летом проводил иногда вечер в кафешантане на Елисейских Полях. Неделями потом звучали у него в памяти мотивы, вынесенные оттуда, и, сидя за кружкой пива, он даже напевал их, отбивая такт ногой.

Шли годы, медленные, однообразные и короткие, потому что они ничем не были заполнены.

Он не чувствовал, как они скользили мимо. Он подвигался к смерти, не суетясь, не волнуясь, сидя за столиком в пивной, и только большое зеркало, к которому прислонялась его лысеющая с каждым днем голова, отмечало работу времени, проносящегося, убегающего, пожирающего людей, жалких людей.

О тягостной драме, которая разбила его жизнь, думал он теперь редко, ведь с того страшного вечера прошло двадцать лет.

Но существование, которое он создал себе после этого, подорвало его здоровье, ослабило, истощило его, и хозяин пивной — шестой по счету с тех пор, как он стал там завсегдатаем,— частенько убеждал его: «Вам бы встряхнуться, господин Паран, подышать свежим воз-

духом, проехаться за город; право, за последние месяцы вас узнать нельзя».

И когда посетитель уходил, хозяин делился своими соображениями с кассиршей: «Бедный господин Паран, плохо его дело. Вредно для здоровья вечно сидеть в Париже. Посоветуйте ему съездить разок — другой в деревню, покушать рыбы, ведь вам он верит. Скоро лето, это ему полезно».

И кассирша, благоволившая к постоянному клиенту и жалевшая его, каждый день твердила Парану: «Послушайте, сударь, выберитесь подышать свежим воздухом. В теплую погоду в деревне так хорошо! Ох, будь моя воля, всю бы жизнь там провела!»

И она делилась с ним своими грезами, поэтичными, незатейливыми, как у всех бедных девушек, которые круглый год безвыходно сидят в магазине и сквозь окна наблюдают шумную и искусственную уличную жизнь, а сами мечтают о мирной сельской жизни, среди полей и деревьев, под ярким солнцем, заливающим и луга, и леса, и прозрачные реки, и коров, лежащих на траве, и пестрые цветы, растущие на воле,— голубые, красные, желтые, фиолетовые, лиловые, розовые, белые, такие милые, такие свежие, такие душистые полевые цветы, которые срываешь на прогулке и собираешь в большие букеты.

Ей доставляло удовольствие говорить с ним о давнишней своей мечте, неосуществленной и неосуществимой; а ему, одинокому старику, ничего не ждущему от жизни, доставляло удовольствие ее слушать. Теперь он садился поближе к стойке, чтобы поболтать с мадмуазель Зоэ, потолковать с ней о деревне. И вот понемногу в нем затеплилось смутное желание самому убедиться, правда ли так уж хорошо, как она говорила, за стенами большого города.

— Как вы думаете, где в окрестностях Парижа можно хорошо позавтракать?

Она ответила:

— Поезжайте на «Террасу» в Сен-Жермен, там так красиво!

Когда-то, будучи женихом, он туда ездил. И он решился опять побывать там.

Он выбрал воскресенье, без всякой особой причины,

просто потому, что обычно все ездят за город по воскресеньям, если даже ничем не заняты всю неделю.

Итак, он отправился в воскресенье утром в Сен-Жермен.

Это было в начале июля, день стоял солнечный и жаркий. В вагоне, сидя у окна, он смотрел, как бегут мимо деревья и смешные домишки парижских окраин. Ему было грустно, он досадовал на себя, что поддался соблазну, нарушил свои привычки. Ему наскучил меняющийся, но однообразный пейзаж. Хотелось пить; охотно вышел бы он на любой станции, зашел в кафе, видневшееся позади вокзала, выпил бы кружки две пива и с первым же поездом вернулся в Париж. И дорога казалась ему долгой, очень долгой. Он готов был сидеть целый день, только бы перед глазами были все те же незыблемые предметы, но сидеть, не шевелясь, и в то же время перемещаться, смотреть, как все вокруг движется, а он один неподвижен, казалось ему утомительным, раздражало его.

Правда, его занимала Сена, каждый раз как он пересекал ее. Под мостом Шату он увидел гоночные лодки и гребцов с засученными рукавами, быстро гнавших лодки сильными взмахами весел, и он подумал: «Вот кому, верно, не скучно».

Длинная лента реки, развернувшаяся по обе стороны Пекского моста, пробудила где-то в глубине его сердца желание погулять по берегу, но поезд вошел в туннель перед Сен-Жерменским вокзалом и вскоре остановился у платформы.

Паран вышел и усталой, тяжелой походкой, заложив руки за спину, направился к «Террасе». Там он остановился у железной балюстрады, чтобы полюбоваться пейзажем. Перед ним протянулась широкая, словно море, зеленая равнина, усеянная деревнями, многолюдными, как города. Белые дороги перерезали обширное пространство, кое-где виднелись рощи, блестели серебром пруды Везине, и едва вырисовывались в легкой, синеватой дымке далекие холмы Саннуа и Аржантей. Жгучее солнце заливало ярким светом весь беспредельный простор, еще затянутый утренним туманом, испарениями нагретой земли, подымавшимися чуть заметным маревом, и влажным дыханием Сены, кото-

рая нескончаемой змеей извивается по долине, опоясывает деревни и огибает холмы.

Теплый ветерок, пропитанный запахом зелени и древесных соков, ласкал лицо, проникал в легкие и, казалось, молодил сердце, веселил дух, будоражил кровь.

Паран вдыхал его полной грудью, восхищенный открывавшимися перед ним далями; он пробормотал: «А здесь неплохо».

Затем он сделал несколько шагов и опять остановился, чтобы посмотреть еще. Ему казалось, будто перед ним открывается нечто, незнакомое дотоле, не то, что видели его глаза, но то, что предвосхищала душа: нежданные события, неизведанное счастье, неиспытанные радости, такие горизонты жизни, о которых он не подозревал и которые вдруг явились ему посреди этого безграничного сельского простора.

Беспросветная грусть его существования предстала перед ним, как бы освещенная ярким светом, заливавшим землю. Он увидел эти два десятилетия, проведенные в кафе, серые, однообразные, тоскливые. А ведь он мог путешествовать, как другие,— поехать далеко-далеко, в чужие страны, в неведомые земли, за море, мог заинтересоваться тем, что увлекает других людей, искусством, наукой, мог любить жизнь во всем ее многообразии, таинственную жизнь, чарующую и мучительную, вечно изменчивую, непонятную и захватывающую.

Теперь уже было поздно. Так за кружкой пива и дотянет он до смерти, без семьи, без друзей, без надежды, без интереса к чему бы то ни было. Его охватила безысходная тоска и желание убежать, спрятаться, вернуться в Париж, к себе в пивную, к прежней своей спячке. Все мысли, все мечты, все желания, лениво дремлющие на дне вялых сердец, проснулись в нем: их растревожил этот солнечный свет, льющийся над равниной.

Он почувствовал, что сойдет с ума, если долго простоит здесь один, и поспешил к павильону Генриха IV, чтобы позавтракать, забыться за вином, за спиртными напитками, чтобы перекинуться с кем-нибудь хоть словом.

Он сел за столик под деревьями, откуда открывался вид на всю местность, выбрал меню и попросил подать поскорее.

Подходили другие посетители, садились за соседние столики. Он чувствовал себя лучше: он был не один.

В беседке завтракали трое. Он несколько раз смотрел на них невидящим взглядом, как смотрят на посторонних.

Вдруг он весь вздрогнул от звука женского голоса. Этот голос сказал:

— Жорж, разрежь цыпленка.

И другой голос ответил:

— Сейчас, мама.

Паран поднял глаза; и тут он понял, догадался, кто были эти люди. Он бы, конечно, не узнал их. Жена уже поседела, сильно располнела, стала строгой и почтенной дамой, она ела, вытягивая шею, потому что боялась закапать платье, хотя и прикрыла бюст салфеткой. Жорж стал настоящим мужчиной. У него пробивалась бородка, редкая, почти бесцветная бородка, тот пушок, что вьется на щеках юношей. Он был в цилиндре, в белом пикейном жилете, с моноклем,— верно, для шику. Паран смотрел на него и поражался. Это Жорж, его сын? Нет, он не знал этого молодого человека; между ними не могло быть ничего общего.

Лимузен сидел спиной к нему и ел, слегка сгорбившись.

Итак, эти трое людей казались счастливыми и довольными; они ездили за город, завтракали в известных ресторанах. Спокойно и мирно прожили они жизнь, прожили по-семейному, в удобной квартире, теплой и уютной, уютной от всех тех мелочей, что скрашивают жизнь, от нежных знаков внимания, от ласковых слов, столь частых на устах людей, которые любят друг друга. Прожили они так благодаря ему, Парану, на его деньги после того, как обманули, обокрали, погубили его! Они обрекли его, ни в чем не виноватого, простодушного, кроткого, на тоску одиночества, на гнусное прозябание между улицей и стойкой кафе, на все душевные муки и физические недуги! Они сделали из него никому не нужное существо, затерянное, заблудившееся на свете, жалкого старика, которому нечему радоваться, не на что надеяться, нечего ждать ниоткуда и ни от кого. Для него земля была пустыней, потому что он ничего не любил на земле. Он мог изъездить все стра-

ны, исходить все улицы, войти в любой дом в Париже, открыть все двери, но ни за какой дверью не нашел бы он желанного дорогого лица, лица женщины или ребенка, которое улыбнулось бы ему навстречу. Особенно мучила его эта мысль, мысль о двери, открыв которую увидишь и поцелуешь любимое существо.

И все по вине этих трех подлых людей! По вине недостойной женщины, неверного друга и белокурого юноши, уже усвоившего надменные замашки.

Теперь он сердился не только на них обоих, но и на сына. Ведь это же сын Лимузена. В противном случае, разве стал бы Лимузен воспитывать его, любить? Ведь Лимузен очень скоро бросил бы и мать и ребенка, если бы не был уверен, твердо уверен, что ребенок от него. Кто станет воспитывать чужого ребенка?

Итак, вот они, тут, рядом — эти три злодея, что причинили ему столько страданий.

Паран смотрел на них, закипая гневом, возмущаясь при воспоминании о всех своих муках, тоске, отчаянии. Особенно раздражал его их спокойный, удовлетворенный вид. Ему хотелось их убить, бросить в них бутылкой из-под сельтерской, раскроить голову Лимузену, который ежеминутно наклонялся к тарелке и тут же выпрямлялся.

Что же, они и дальше будут так жить, без забот и тревог? Нет, нет. Довольно! Он отомстит. И отомстит сейчас же, раз они тут, у него под рукой. Но как? Он придумывал, изобретал всякие ужасы вроде тех, что описываются в газетных фельетонах, но не находил ничего мало-мальски осуществимого. И он пил рюмку за рюмкой, чтобы возбудить себя, набраться отваги, чтобы не упустить такого случая, который, конечно, никогда больше не повторится.

Вдруг ему пришла в голову мысль, страшная мысль: он даже перестал пить, чтобы ее обдумать. Улыбка морщила ему губы; он шептал: «Они у меня в руках, у меня в руках. Посмотрим, посмотрим».

Гарсон спросил его:

— Чего еще прикажете?

— Ничего. Кофе и коньяку, самого лучшего.

И он смотрел на них, пропуская рюмку за рюмкой. Здесь, в ресторане, было слишком людно для того, что

он задумал; значит, надо подождать, выйти следом за ними; они, конечно, пойдут гулять на «Террасу» или в лес. Когда они немного отдалятся, он их догонит и отомстит, да, он отомстит! Пора, после двадцати трех лет мучений. О, они не подозревают, что их ждет!

Они неторопливо кончили завтрак и мирно беседовали. Парану не слышно было слов, но он видел их спокойные движения. Особенно раздражало его лицо жены. У нее появилось высокомерное выражение благополучной ханжи, неприступной ханжи, облекшейся в броню принципов, в доспехи добродетели.

Они заплатили по счету и поднялись. Тут он рассмотрел Лимузена. Его можно было принять за дипломата в отставке,— такой важный вид придавали ему холеные седые бакенбарды, концы которых лежали на лацканах сюртука.

Они вышли. Жорж закурил сигару, сдвинув цилиндр на затылок. Паран поспешил за ними следом.

Сперва они обошли террасу, мирно полюбовались пейзажем, как любуются сытые люди, потом направились в лес.

Паран потирал руки; он следовал за ними поодаль, прячась, чтобы не привлечь раньше времени их внимания.

Они шли медленно, упиваясь зеленью и воздухом. Анриетта опиралась на руку Лимузена, величаво выступая рядом с ним, как подобает верной и гордящейся этим супруге, Жорж сбивал тросточкой листья и время от времени легко перепрыгивал через придорожную канаву, как молодой норовистый конь, который вот-вот ускачет в кусты.

Паран потихоньку приближался, задыхаясь от волнения и усталости, так как отвык от ходьбы. Вскоре он догнал их, но его охватил страх, смутный, необъяснимый страх, и он прошел вперед, чтобы вернуться и встретиться с ними лицом к лицу.

Он шел, и сердце у него громко билось, так как они были здесь, позади него; и он мысленно повторял: «Ну, теперь пора; смелей, смелей! Пора».

Он обернулся. Они уселись на земле под большим деревом и продолжали беседовать.

Тогда он решился и быстро зашагал обратно. Остановившись перед ними посреди дороги, он выговорил прерывающимся голосом, заикаясь от волнения:

— Это я! Я! Не ждали?

Все трое смотрели на незнакомого человека, который казался им сумасшедшим.

Он продолжал:

— Можно подумать, что вы меня не узнали. Так посмотрите хорошенько. Я Паран, Анри Паран. Что, не ждали? Думали, все кончено, кончено раз и навсегда, больше вы меня никогда, никогда не увидите? Так вот же нет, вот я и пришел. Теперь мы объяснимся.

Анриетта в ужасе закрыла лицо руками и пролепетала: «Господи боже мой!»

Видя, что посторонний человек угрожает матери, Жорж встал, собираясь схватить его за шиворот.

Лимузен, совсем пришибленный, растерянно глядел на него, как на выходца с того света, а Паран, передохнув минутку, продолжал:

— Ну-с, теперь мы объяснимся. Пора! А-а! вы меня обманули, обрекли на каторжную жизнь и думали, я до вас не доберусь!

Но тут молодой человек взял его за плечи и оттолкнул:

— Вы что, с ума сошли? Что вам нужно? Ступайте своей дорогой, не то я вас изобью!

Паран ответил:

— Что мне нужно? Мне нужно, чтоб ты знал, что это за люди.

Жорж, выведенный из терпения, тряс его за плечи, готов был ударить. Но тот не унимался:

— Отпусти. Я твой отец... Посмотри, узнают ли они меня теперь, эти подлые люди?

Растерявшись, молодой человек разжал руки и оглянулся на мать.

Очутившись на свободе, Паран подошел к ней:

— Ну-ка, скажите ему, кто я! Скажите ему, что меня зовут Анри Паран и что я его отец, раз его зовут Жорж Паран, раз вы моя жена, раз вы все втроем живете на мой счет, на пенсию, в десять тысяч франков, которую я выплачиваю вам с того момента, как выгнал из своего дома. Скажите ему также, за что я вас вы-

гнал из дому. За то, что застал вас с этим мерзавцем, с этим подлецом, с вашим любовником! Скажите ему, что я был порядочным человеком, за которого вы вышли замуж ради денег и которому изменяли с первого же дня. Скажите ему, кто вы и кто я...

От ярости он заикался, с трудом переводил дух.

Женщина крикнула раздирающим душу голосом:

— Поль, Поль, запрети ему говорить такие вещи при моем сыне!

Лимузен тоже встал. Он пробормотал очень тихо:

— Замолчите! Замолчите! Поймите же, что вы делаете!

Паран запальчиво повторил:

— Я отлично знаю, что делаю. И это еще не все. Есть еще одна вещь, которую мне нужно знать; она мучает меня вот уже двадцать лет.

Потом обернулся к потрясенному Жоржу, который стоял, прислонясь к дереву:

— Теперь слушай ты. Уходя от меня, она решила, что мало изменить мне; ей захотелось довести меня до отчаяния. В тебе была вся моя радость; так вот она унесла тебя, поклявшись мне, что я не твой отец, что твой отец — он! Солгала она или сказала правду? Я не знаю. Двадцать лет я задаю себе этот вопрос.

Он подошел вплотную к ней, трагически-грозный, и отдернул руку, которой она закрыла лицо.

— Так вот, теперь я требую, чтобы вы сказали мне, кто из нас двоих отец этого юноши: он или я, муж или любовник? Ну, скорей, говорите!

Лимузен бросился на него. Паран его оттолкнул и злобно захохотал:

— Сейчас ты осмелел, не так труснешь, как в тот день, когда удрал на лестницу, потому что я хотел тебя убить. Ну, если она не отвечает, ответь ты. Ты должен знать не хуже нее. Скажи, ты его отец? Ну, говори же, говори!

Он снова повернулся к жене:

— Если вы не хотите сказать мне, скажите хоть сыну. Он уже взрослый человек. Он вправе знать, кто его отец. Я не знаю этого и никогда не знал, никогда, никогда! И тебе я не могу сказать это, мой мальчик.

Он терял самообладание, в его голосе появились визгливые нотки. Руки дергались, как у припадочного.

— Ну... ну... Отвечайте же... Она не знает... Держу пари, что не знает... Нет... не знает... черт возьми!.. Она спала с нами обоими... ха-ха-ха, никто не знает... никто... Разве это можно знать?.. Ты, мальчик, тоже этого не узнаешь, как и я... никогда... Ну, спроси ее... спроси... увидишь, что не знает. И я не знаю... и он... и ты... Никто не знает... Можешь выбирать... да... можешь выбирать... его или меня... Выбирай. Прощайте... Я кончил... Если она решится тебе сказать, приди сообщить мне в гостиницу Континентов, придешь?.. Мне бы хотелось знать. Прощайте... Счастливо оставаться...

И он ушел, жестикулируя, разговаривая сам с собой под высокими деревьями; свежий прозрачный воздух вокруг был насыщен благоуханием древесных соков. Он ни разу не оглянулся. Он шел, куда глаза глядят, гонимый яростью, неистовым возбуждением, поглощенный одной навязчивой мыслью.

Неожиданно для себя он очутился у вокзала. Как раз уходил поезд. Он сел в него. Дорогой гнев его улегся, он опомнился и, вернувшись в Париж, удивлялся собственной смелости.

Он чувствовал себя разбитым, словно ему переломали все кости. Все же он зашел выпить кружку в своей пивной.

Увидя его, мадмуазель Зоэ спросила в удивлении:

— Уже вернулись? Верно, устали?

Он ответил:

— Да, устал, очень устал!.. Понимаете... с непривычки... Хватит, больше уже не поеду за город. Лучше бы мне оставаться здесь. Больше никуда не двинусь.

И ей не удалось вызвать его на разговор о прогулке, как она ни старалась.

Первый раз в жизни он в этот вечер напился так, что его пришлось отвести домой.

ЗВЕРЬ ДЯДИ БЕЛЬОМА

Из Крикто отправлялся гаврский дилижанс, и пассажиры, собравшись во дворе «Торговой гостиницы» Маландена-сына, ожидали переклички.

Дилижанс был желтый, на желтых колесах, теперь почти серых от накопившейся грязи. Передние колеса были совсем низенькие, на задних, очень высоких и тонких, держался бесформенный кузов, раздутый, как брюхо животного. В эту чудовищную колымагу треугольником запряжены были три белые клячи с огромными головами и толстыми, узловатыми коленями. Они, казалось, успели уже заснуть, стоя перед своим ковчегом.

Кучер Сезэр Орлавиль, коротенький человечек с большим животом, но проворный, оттого что наловчился постоянно вскакивать на колеса и лазить на империал, краснолицый от вольного воздуха, ливней, шквалов и рюмочек, привыкший щурить глаза от града и ветра, показался в дверях гостиницы, вытирая рот ладонью. Его дожидались крестьянки, неподвижно сидевшие перед большими круглыми корзинами с перепуганной птицей. Сезэр Орлавиль брал одну корзину за другой и ставил на крышу рыдвана, потом более осторожно поставил корзины с яйцами и начал швырять снизу мешочки с зерном, бумажные свертки, узелки, завязанные в платки или в холстину. Затем он распахнул заднюю дверцу и, достав из кармана список, стал вызывать:

— Господин кюре из Горжевиля!

Подошел священник, крупный мужчина богатырского сложения, тучный, широкоплечий, с багровым добродушным лицом. Ставя ногу на ступеньку, он подобрал сутану, как женщины подбирают юбку, и влез в ковчег.

— Учитель из Рольбоск-де-Грине!

Длинный, неловкий учитель в сюртуке до колен заторопился и тоже исчез в открытых дверях дилижанса.

— Дядя Пуаре, два места!

Выступил Пуаре, долговязый, сутулый, сгорбленный от хождения за плугом, тощий от недоедания, с давно не мытым морщинистым лицом. За ним шла жена, маленькая и худая, похожая на заморенную козу, ухватив обеими руками большой зеленый зонтик.

— Дядя Рабо, два места!

Рабо, нерешительный по натуре, колебался. Он переспросил:

— Ты меня, что ли, зовешь?

Кучер, которого прозвали «зубоскал», собирался было ответить шуткой, как вдруг Рабо подскочил к дверцам, получив тумака от жены, рослой и плечистой бабы, пузатой, как бочка, с ручищами, широкими, как вальки.

И Рабо юркнул в дилижанс, словно крыса в нору.

— Дядя Каниво!

Плотный и грузный, точно бык, крестьянин, сильно погнув рессоры, ввалился в желтый кузов.

— Дядя Бельом!

Бельом, худой и высокий, с плачущим лицом, подошел, скривив набок шею, прикладывая к уху платок, словно он страдал от зубной боли.

На всех пассажирах были синие блузы поверх старомодных суконных курток странного покроя, черных или зеленоватых — парадной одежды, в которой они покажутся только на улицах Гавра; на голове у каждого башней высилась шелковая фуражка — верх элегантности в нормандской деревне. Сезэр Орлавиль закрыл дверцы своей колымаги, влез на козлы и щелкнул кнутом.

Три клячи, видимо, проснулись и тряхнули гривами; послышался нестройный звон бубенцов.

Кучер гаркнул во весь голос: «Но!» — и с размаху хлестнул лошадей. Лошади зашевелились, налегли на постромки и тронули с места неровной, мелкой рысцой. А за ними оглушительно загромыхал экипаж, дребезжа расшатанными окнами и железом рессор, и два ряда пассажиров заколыхались, как на волнах, подпрыгивая и качаясь от толчков на каждой рытвине.

Сначала все молчали из почтения к кюре, стесняясь при нем разговаривать. Однако, будучи человеком словоохотливым и общительным, он заговорил первый.

— Ну, дядя Каниво,— сказал он,— как дела?

Дюжий крестьянин, питавший симпатию к священнику, на которого он походил ростом, дородностью и объемистым животом, ответил улыбаясь:

— Помаленьку, господин кюре, помаленьку, а у вас как?

— О, у меня-то всегда все благополучно. А у вас как, дядя Пуаре? — осведомился аббат.

— Все было бы ничего, да вот сурепка в нынешнем году совсем не уродилась; а дела нынче такие, что только на ней и выезжаешь.

— Что поделаешь, тяжелые времена.

— Да, да, уж тяжелее некуда,— подтвердила зычным басом жена Рабо.

Она была из соседней деревни, и кюре знал ее только по имени.

— Вы, кажется, дочка Блонделя? — спросил он.

— Ну да, это я вышла за Рабо.

Рабо, хилый, застенчивый и довольный, низко поклонился, ухмыляясь и подавшись вперед, словно говоря: «Это я и есть тот самый Рабо, за которого вышла дочка Блонделя».

Вдруг дядя Бельом, не отнимавший платка от уха, принялся жалобно стонать. Он мычал: «Мня... мня... мня...» — и притопывал ногой от нестерпимой боли.

— У вас зубы болят? — спросил кюре.

Крестьянин на минуту перестал стонать и ответил:

— Да нет, господин кюре... какие там зубы... это от уха, там, в самой середке...

— Что же такое у вас в ухе? Пробка?

— Уж не знаю, пробка или не пробка, знаю только,

что там зверь, большущий зверь, он туда забрался, когда я спал на сеновале.

— Зверь? Да верно ли это?

— Еще бы не верно! Верней верного, господин кюре, ведь он у меня в ухе скребется. Он мне голову прогрызет, говорю вам — прогрызет. Ой, мня... мня... мня...— И Бельом опять принялся притопывать ногой.

Все очень заинтересовались. Каждый высказал свое мнение. Пуаре предполагал, что это паук, учитель — что это гусеница. Ему пришлось наблюдать такой случай в Кампмюре, в департаменте Орн, где он прожил шесть лет; вот так же гусеница забралась в ухо и выползла через нос. Но человек оглох на это ухо, потому что барабанная перепонка у него была продырявлена.

— Скорее всего это червяк,— заявил кюре.

Дядя Бельом все стонал, склонив голову набок и прислонившись к дверцам,— садился он последним.

— Ох! Мня... мня... мня... А верно, это муравей, большущий муравей, уже очень больно кусается... Вот, вот, вот, господин кюре... бегает... бегает... Ох! мня... мня... мня... до чего больно!..

— К доктору ты ходил? — спросил Канпво.

— Ну, уж нет!

— А почему?

Страх перед доктором, казалось, исцелил Бельома. Он выпрямился, не отнимая, однако, руки от уха.

— Как «почему»? У тебя, видно, есть для них деньги, для этих лодырей? Он придет и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и всякий раз подавай ему деньги. Это выйдет два экю по сто су, два экю! Как пить дать!.. А какая от него польза, от этого лодыря, какая от него польза? Ну-ка скажи, если знаешь?

Канпво засмеялся.

— Почем мне знать! А куда же ты все-таки едешь?

— Еду в Гавр к Шамбрелану.

— К какому это Шамбрелану?

— Да к знахарю.

— К какому знахарю?

— К знахарю, который моего отца вылечил.

— Твоего отца?

— Ну да, отца, еще давным-давно.

— А что у него было, у твоего отца?

— Прострел в пояснице, не мог ни рукой, ни ногой пошевельнуть.

— И что же с ним сделал твой Шамбрелан?

— Он мял ему спину, как тесто месят, обеими руками! И через два часа все прошло!

Бельом был уверен, что Шамбрелан, кроме того, заговорил болезнь, но при кюре он постеснялся сказать об этом.

Каниво спросил смеясь:

— Уж не кролик ли туда забрался? Верно, принял дырку в ухе за нору,— видит, кругом колючки растут. Постой, сейчас я тебе его спугну.

И Каниво, сложив руки рупором, начал подражать лаю гончих, бегущих по следу. Он тявкал, выл, подвизгивал, лаял. Все в дилижансе расхохотались, даже учитель, который никогда не смеялся. Но так как Бельома, по-видимому, рассердило, что над ним смеются, кюре переменил разговор и сказал, обращаясь к дюжей жене Рабо:

— У вас, говорят, большая семья?

— Еще бы, господин кюре... Нелегко детей растить!

Рабо закивал головой, как бы говоря: «Да, да, нелегко их растить!»

— Сколько же у вас детей?

Она объявила с гордостью, громко и уверенно:

— Шестнадцать человек, господин кюре! Пятнадцать от мужа!

Рабо заулыбался и еще усиленнее закивал головой. Он сделал пятнадцать человек ребят, один он, Рабо! Жена сама в этом призналась. Значит, и сомневаться нечего. Черт возьми, ему есть чем гордиться!

А шестнадцатый от кого? Она не сказала. Это, конечно, первый ребенок? Все, должно быть, знали, потому что никто не удивился. Даже сам Каниво оставался невозмутимым. Бельом снова принялся стонать:

— Ох! м-м... м-м... м-м... ох, как ухо свербит внутри... Ох, больно!

Дилижанс остановился перед кафе Полита.

Кюре сказал:

— А что, если пустить в ухо немного воды? Может быть, он выскочит. Хотите, попробуем?

— Еще бы! Понятно, хочу.

И все вылезли из дилижанса, чтобы присутствовать при операции.

Священник спросил миску, салфетку и стакан воды, велел учителю держать голову пациента пониже, наклонив ее набок, и, как только вода проникнет в ухо, сразу опрокинуть ее в другую сторону.

Но Каниво, который уже заглядывал в ухо Бельома в надежде увидеть зверя простым глазом, воскликнул:

— Прах тебя побери, вот так мармелад! Сначала надо прочистить, старик. Твоему кролику никак не выбраться из этого варенья. Увязнет в нем всеми четырьмя лапами.

Кюре тоже исследовал проход и нашел его слишком узким и грязным для того, чтобы приступить к изгнанию зверя. Тогда учитель прочистил ухо тряпочкой, навернутой на спичку. Среди общего волнения священник влил в канал полстакана воды, и она потекла по лицу Бельома, по его волосам и за шиворот. Потом учитель так резко повернул голову Бельома в другую сторону, словно хотел совсем ее отвертеть. Несколько капель воды вылилось в белую миску. Все бросились глядеть. Никакого зверя не было видно. Однако Бельом объявил:

— Я больше ничего не чувствую.

И священник, торжествуя, воскликнул:

— Ну, разумеется, зверь утонул!

Все опять уселись в дилижанс, очень довольные. Но едва дилижанс тронулся, как Бельом поднял страшный крик. Зверь очнулся и рассвирепел. Бельом утверждал даже, что зверь теперь пробрался к нему в голову и гложет мозг. Он так выл и дергался, что жена Пуаре, приняв его за бесноватого, начала креститься, заливаясь слезами. Потом боль немного утихла, и страдалец сообщил, что «он» ползает в ухе «кругом, кругом...». Бельом пальцами изображал движение зверя и, казалось, видел его, следил за ним взглядом.

— Вот он опять ползет кверху... м-м... м-м... м-м... ой, больно!

Каниво не выдержал:

— Это он от воды взбесился, твой зверь. Он, может, больше к вину привык.

Все рассмеялись. Каниво продолжал:

— Как доедем до кафе Бурбе, ты поднеси ему водки, он и не пошевельнется, право слово.

Но Бельом себя не помнил от боли. Он кричал так, будто у него душа с телом расставалась. Кюре пришлось поддерживать ему голову. Сезэра попросили остановиться у первого попавшегося дома.

Первой попалась навстречу ферма у самой дороги. Бельома перенесли на руках в дом и положили на кухонный стол, чтобы снова приступить к операции. Каниво советовал все-таки прибавить водки к воде, чтобы оглушить, а то и совсем убить зверя. Но кюре предпочел уксус.

На этот раз, смеясь, вливали по капле, чтобы она дошла до самого дна, и оставили ее на несколько минут в ухе.

Опять принесли таз, и два великана, кюре и Каниво, перевернули Бельома, а учитель принялся постукивать пальцами по здоровому уху, чтобы вода скорее вылилась.

Даже сам Сезэр Орлавиль, с кнутом в руках, вошел поглядеть.

И вдруг все увидели на дне таза маленькую темную точку, чуть побольше макового зернышка. Однако она шевелилась. Это была блоха! Поднялся крик, потом оглушительный хохот. Блоха! Вот так штука! Каниво хлопал себя по ляжке, Сезэр Орлавиль щелкал кнутом. Кюре фыркал и ревел, как осел, учитель смеялся, будто чихал. Обе женщины радостно кудахтали.

Бельом уселся на столе и, держа на коленях таз, сосредоточенно и злорадно смотрел на побежденную блоху, барахтавшуюся в капле воды. Он проворчал:

— Попалась, стерва! — и плюнул на нее.

Кучер, еле живой от смеха, приговаривал:

— Блоха, блоха, ах, чтоб тебе! Попалась-таки, проклятая, попалась, попалась!

Потом, успокоившись немного, крикнул:

— Ну, по местам! И так много времени потеряли.

И пассажиры, все еще смеясь, потянулись к дилижансу.

Вдруг Бельом, который шел позади всех, заявил:

— А я пойду обратно в Крикто. Теперь мне в Гавре делать нечего.

Кучер ответил:

— Все равно плати за место!

— Заплачу, да только половину, я и полдороги не проехал.

— Нет, плати сполна, место все равно за тобой.

И начался спор, очень скоро перешедший в ожесточенную ссору. Бельом божился, что больше двадцати су не заплатит, Орлавиль твердил, что меньше сорока не возьмет.

Они кричали, уставившись друг на друга, нос к носу.

Каниво вылез из дилижанса.

— Во-первых, ты отдашь сорок су господину кюре. Понятно? Потом всем поднесешь по рюмочке, это будет пятьдесят пять, да Сезэру заплатишь двадцать. Идет, что ли, зубоскал?

Кучер, очень довольный тем, что у Бельома вылетит из кармана почти четыре франка, ответил:

— Идет!

— Ну, так плати!

— Не заплачу! Во-первых, кюре не доктор.

— Не заплатишь, так я тебя посажу обратно в дилижанс и отвезу в Гавр.

И великан, схватив Бельома в охапку, поднял его на воздух, как ребенка.

Бельом понял, что придется уступить. Он вынул кошелек и заплатил.

Дилижанс двинулся по направлению к Гавру, а Бельом пошел обратно в Крикто, и примолкшие пассажиры долго еще видели на белой дороге синюю крестьянскую блузу, развевавшуюся над длинными ногами Бельома.

ПРОДАЕТСЯ

Какое наслаждение выйти на восходе солнца и шагать по росе вдоль полей, берегом спокойного моря!

Какое наслаждение! Его впитываешь глазами вместе со светом, ноздрями вместе с легким воздухом, всеми порами вместе с дуновением ветра.

Почему храним мы такое светлое, такое нежное, такое яркое воспоминание о некоторых минутах слияния с Землей, о сладостном и мимолетном ощущении, словно о ласке какого-нибудь пейзажа, возникшего за поворотом дороги, при входе в долину, на берегу реки, совсем такое же воспоминание, как о встрече с приветливой красоткой?

Мне особенно памятен один день. Я шел вдоль бретонского побережья океана, к мысу Финистер. Я шел быстрым шагом, у самой воды, не думая ни о чем. Это было в окрестностях Кэмперлэ, в самой тихой и самой прекрасной части Бретани.

Стояло весеннее утро, такое утро, которое молодит человека на двадцать лет, вновь рождает надежды и возвращает юношеские грезы.

Я шел по едва заметной тропинке между колосьями ржи и волнами моря. Колосья совсем не колыхались, а волны колыхались слегка. Веяло сладким ароматом зрелых нив и ароматом морских водорослей. Я шел вперед, не думая ни о чем, продолжая начатое две недели назад путешествие вдоль берегов Бретани. Я чувствовал себя сильным, ловким, счастливым и веселым. Я шел вперед.

Я не думал ни о чем. Зачем думать в эти часы бессознательной радости, глубокой, плотской,— радости животного, резвящегося в траве, или птицы, парящей в голубом эфире под солнцем? Издалека ко мне долетали звуки духовных песнопений. Возможно, это проходила какая-нибудь процессия,— день был воскресный. Но я обогнул мысок и остановился в восхищении. Я увидел пять громадных рыбачьих баркасов, полных людей — мужчин, женщин, детей, направлявшихся на храмовой праздник в Плуневен.

Они медленно плыли вдоль берега под слабым, словно утомленным, ветерком, который слегка надувал бурые паруса и тотчас же, обессилев, спадал, и паруса беспомощно повисали на мачтах.

Тяжелые лодки тихо скользили, нагруженные людьми. А люди все пели. Мужчины в широкополых шляпах, стоя у бортов, сотрясали воздух басовыми нотами, женщины выкрикивали визгливые ноты, а тонкие голоса детей врезались в этот благочестивый и нестройный хор, подобно звукам фальшивых флейт.

На всех пяти лодках пели один и тот же псалом, мерные звуки его разливались в спокойном небе, и все пять лодок плыли одна за другой, близко одна от другой.

Они прошли передо мной, мимо меня, и я видел, как они удалялись, я слышал, как слабел и затихал напев гимна.

И я принялся мечтать, как мечтают совсем незрелые юноши, по-детски восторженно.

Как быстро проносятся эти годы мечтаний, единственно счастливые годы жизни! Можно ли быть одиноким, можно ли грустить, можно ли быть мрачным и безутешным, когда обладаешь божественной способностью, оставшись наедине с самим собой, отуманивать себя надеждами? О, волшебная страна мечтаний, где все возможно в обольщениях своевольной мысли! Как прекрасна жизнь под золотым налетом грез!

Увы! С этим покончено навсегда!

Я предался мечтам. О чем? О том, чего ждешь неустанно, о том, чего желаешь, о богатстве, о славе, о женщине.

И я шел крупным, размашистым шагом, лаская рукой золотистые макушки колосьев, которые склонялись под моими пальцами и щекотали мне ладонь, словно я прикасался к чьим-то волосам.

Я обогнул еще один мысок и вдруг увидел в глубине узкого, изогнутого дугой песчаного берега белый дом, стоявший над тремя уступами, которые спускались к самому морю.

Почему при виде этого дома я затрепетал от радости? Не знаю.

Иной раз на пути попадаются уголки настолько милые и близкие сердцу, что кажется, будто знаешь их давным-давно. Не верится, что никогда их не видел, что никогда не жил тут. Все в них влечет и пленяет — и мягкая линия горизонта, и расположение деревьев, и цвет песка!

О чудесный дом на высоких уступах! Пышные плодовые деревья росли по краям трех террас, которые спускались к морю, как гигантские ступени. И каждую венчал, точно золотая корона, большой куст испанского дрока в цвету!

Я остановился, охваченный нежностью к этой обители. Как бы мне хотелось быть ее владельцем, жить в ней постоянно!

Когда я подходил к воротам, сердце у меня щемило от зависти, и вдруг я заметил на одном из столбиков ограды дощечку с надписью: «Продается».

Я вздрогнул от радости, как будто мне отдали, подарили его, этот дом. Почему, собственно, почему? Сам не знаю!

Продается! Значит, он уже почти ничей, он может стать чьим угодно, даже моим, моим! Откуда эта радость, это ощущение торжества, глубокого и необъяснимого? Ведь знал же я, что не куплю его! Чем бы я за него заплатил? Неважно, он продается! Птица в клетке принадлежит своему хозяину, птица на воле моя, потому что она ничья.

И я вошел в сад. О этот прекрасный сад со ступенчатыми террасами, со шпалерами деревьев, ветви которых простерты, как длинные руки распятых мучеников, с купами золотого дрока и двумя старыми смоковницами на конце каждой террасы!

Поднявшись на самую верхнюю, я огляделся. У ног моих расстилался маленький пляж, полукруглый и песчаный, отделенный от морского простора тремя массивными бурыми скалами, которые закрывали доступ к нему, а в непогоду принимали на себя натиск воды.

Прямо напротив, на самом краю мыса, я увидел два огромных камня — один стоял, другой лежал в траве — менгир и долмен, страшные, похожие на двух супругов, превращенных в камень силою злых чар, они, казалось, неотступно смотрели на маленький домик, видели, как он строился на этом берегу, который столетиями на их памяти был пустынным, и увидят потом, как маленький домик разрушится, раскрошится, рассеется по ветру, увидят, как исчезнет маленький домик, что теперь продается.

О древний долмен и древний менгир, как вы дороги мне!

И я позвонил так, как будто звонил у своей двери. Мне открыла женщина, старенькая, сухонькая служанка в черном платье и белом чепце, похожая на монашенку. Мне показалось, что и женщину эту я знал раньше.

Я спросил:

— Вы не бретонка?

Она ответила:

— Нет, сударь, я из Лотарингии.— И прибавила: — Вы хотите осмотреть дом?

— Ну да, конечно.

И я вошел.

Мне казалось, я узнаю все — комнаты, обстановку. Я готов был удивиться, что не вижу в передней своих тростей.

Я очутился в гостиной, увешанной циновками нарядной комнате с тремя широкими окнами на море. На камине стояли китайские вазы и большая фотография женщины. Я тотчас же направился к ней, уверенный, что узнаю ее. И я узнал ее, хотя убежден, что никогда с ней не встречался.

Это была она, она, та самая, кого я ждал, желал, призывал, чье лицо преследовало меня во сне. Это была она, та, кого ищешь всегда, везде, та, кого еже-

минутно надеешься увидеть на улице, встретить на деревенской дороге, чуть мелькнет над хлебами красный зонтик, та, что, верно, ждет меня в гостинице, где я остановлюсь проездом, или в вагоне, куда я войду, в зале, где передо мной распахнется дверь.

Это была она, бесспорно, несомненно, она! Я узнал ее по глазам, глядевшим на меня, по волосам, завитым в длинные локоны, а особенно — по губам, по улыбке, которую давно угадал.

Я тотчас же спросил:

— Кто эта женщина?

Старуха с обличьем монашенки сухо ответила:

— Это мадам.

Я переспросил:

— Ваша хозяйка?

Она возразила тоном суровой ханжи:

— О нет, сударь!

Я сел и сказал:

— Расскажите-ка мне о ней.

Старуха застыла на месте от удивления, не находя слов.

Я настаивал:

— Она владелица этого дома?

— О нет, сударь!

— Чей же это дом?

— Моего хозяина, господина Турнеля.

Я указал пальцем на портрет:

— А эта женщина, кто же она?

— Это мадам.

— Жена вашего хозяина?

— О нет, сударь!

— Значит, его любовница?

Монашенка не ответила. Я продолжал спрашивать, охваченный смутной ревностью, безотчетной злобой против человека, встретившего эту женщину:

— Где же она теперь?

Старуха пробормотала:

— Хозяин в Париже, а где мадам, не знаю, право.

Я встрепенулся:

— Ах, они не вместе?

— Нет, сударь.

Я схитрил и убедительным тоном произнес:

— Расскажите мне, что случилось: возможно, мне удастся оказать услугу вашему хозяину. Я знаю ее, это дурная женщина.

Старая служанка посмотрела на меня, и мой искренний, простодушный вид внушил ей доверие.

— Ах, сударь, и сколько же горя она принесла моему хозяину! Он познакомился с ней в Италии и привез ее с собой, все равно как жену. Уж очень хорошо она пела. А он до того любил ее, сударь, что жалость брала смотреть. Прошлым летом они путешествовали по здешним местам и набрели на этот дом, а выстроил его, верно, сумасшедший,— разве в здравом уме станешь жить в двух лье от деревни! Мадам сразу пожелала купить дом и поселиться в нем с моим хозяином. Вот он и купил этот дом ей в угоду.

Они прожили в нем все прошлое лето, сударь, и почти всю зиму.

Но только как-то утром, перед самым завтраком, хозяин зовет меня:

— Сезарина, мадам вернулась?

— Да нет, сударь.

Мы прождали целый день. Хозяин ходил как помешанный. Искали повсюду, но не нашли ее. Она уехала, сударь, а куда и как уехала, мы так и не узнали.

О! Какая радость овладела мной! Мне захотелось расцеловать монашенку, схватить ее за талию и закружиться с ней по гостиной.

Вот как! Она уехала, убежала, он надоел, опротивел ей!

Я был счастлив!

Старуха заговорила снова:

— Хозяин чуть не зачах с горя, потом вернулся в Париж, а нас с мужем оставил продавать дом. Мы хотим за него двадцать тысяч франков.

Но я больше не слушал! Я думал о ней! И вдруг мне показалось, что стоит только снова пуститься в путь, и я найду ее: ведь она неминуемо должна этой весной вернуться сюда, поглядеть на домик, на свой прелестный домик, который без него был бы ей так мил.

Я сунул десять франков в руки старой служанки, схватил портрет и бросился бежать, страстно целуя милое лицо, запечатленное на картоне.

Я добежал до дороги и зашагал дальше, все глядя на нее. Какое счастье, что она ушла от него, что она свободна! Без сомнения, я встречу ее не сегодня, так завтра, не на этой, так на будущей неделе, раз она покинула его. Она покинула его, потому что пробил мой час!

Она свободна, она живет где-то на белом свете! Раз я узнал ее, мне остается только ее найти.

И я опять ласкал податливые макушки спелой ржи, я полной грудью пил морской воздух, я ощущал на лице поцелуи солнца. Я все шел и шел, обезумев от счастья, опьянев от надежды. Я шел, уверенный, что скоро встречу ее и вернусь с ней сюда, и тогда мы вдвоем будем жить в милом домике с надписью: «Продается». Как ей будет хорошо здесь на этот раз!

НЕЗНАКОМКА

Говорили об удачах в любви, и каждый рассказывал что-нибудь необыкновенное об удивительных и чарующих встречах в вагоне, в гостинице, за границей или где-нибудь на пляже. Пляжи, по словам Роже дез-Аннет, особенно благоприятствуют любви.

Спросили мнение молчавшего до сих пор Гонтрана.

— Париж и тут на первом месте,— сказал он.— Женщины — как драгоценные безделушки: мы их больше всего ценим там, где вовсе не рассчитываем встретить; но настоящую-то редкость можно встретить только в Париже.

Он помолчал несколько секунд, затем продолжал:

— Какая прелесть, ей-богу. Пройдитесь-ка весенним утром по нашим улицам; милые нарядные женщины прогуливаются по тротуарам, и кажется, будто это распускающиеся цветы. О чудное, чудное, чудное зрелище! В воздухе пахнет фиалками, теми фиалками, что цветочницы медленно везут в тележках вдоль тротуаров.

В городе весело, и взоры обращены на женщин. Право, до чего они соблазнительны в своих светлых платьях, в легких платьях, сквозь которые просвечивает тело. И вот бродишь, возбужденный, настороженный, бродишь, вынюхиваешь, выслеживаешь. До чего же хорошо в такое утро!

Ту, которая понравится вблизи, замечаешь еще издали; ее выделяешь и узнаешь за сотню шагов. Угадываешь по цветку на шляпе, повороту головы,

походке. Она приближается. «Внимание,— говоришь себе,— вот она!» И идешь ей навстречу, пожирая ее глазами.

Кто она — девчонка ли на посылках из какого-нибудь магазина, молодая ли дама, которая возвращается из церкви или идет на любовное свидание? Не все ли равно? Под прозрачным корсажем выдается округлость груди. О, если бы можно было коснуться ее рукой!.. рукой или губами! Застенчив или смел ее взгляд, брюнетка она или блондинка? Не все ли равно? От легкого прикосновения к этой проходящей мимо женщине по спине пробегает дрожь. И как желаешь ее до самого вечера, ту, с которой встретился случайно! О, я сохранил воспоминание не меньше чем о двадцати женщинах, которых видел раз или десять раз таким вот образом и в которых мог бы безумно влюбиться, если бы узнал их поближе.

Но вот беда: с теми, кого мы могли бы страстно любить, мы никогда не знакомы! Вы это замечали? Это очень странно. Порою мелькнет женщина, от одного вида которой загораешься желанием. Но таких только встречаешь лишь на миг! Когда я начинаю думать о всех пленительных существах, которых мне случалось задевать локтем на парижских улицах, я испытываю такое бешенство, что готов повеситься. Где они? Кто они? Где можно вновь встретить, вновь увидеть их? Пословица говорит, что часто проходишь мимо счастья, и я убежден, что не раз проходил мимо той, которая могла бы изловить в сети меня, как коноплянку, заманив свежестью своего тела.

Роже дез-Аннет слушал с улыбкой, потом ответил:

— Мне знакомо это так же, как и тебе. Вот что случилось со мной самим. Лет пять тому назад я впервые встретился на мосту Согласия с одной высокой, несколько полной молодой женщиной, которая произвела на меня впечатление... огромное впечатление!.. Представьте себе: брюнетка, пышная брюнетка, блестящие волосы, прикрывающие весь лоб, широкие дуги сросшихся бровей, идущие от виска к виску. Маленькие усики на губах заставляли мечтать и мечтать... ну, как мечтаешь о любимых лесах, увидев на столе

букет цветов. У нее была стройная талия и очень высокая грудь, которая словно бросала вызов, манила, искушала. Глаза напоминали чернильные пятна на белой эмали. Это были не глаза, а сияющая черная бездна, глубокая бездна, через которую можно было заглянуть, проникнуть в душу этой женщины. О странный взгляд, загадочный и пустой, лишенный мысли, но такой прекрасный!

Мне показалось, что она еврейка. Я пошел за ней следом. Многие мужчины оглядывались на нее. Она шла, немного раскачиваясь, не совсем грациозной, но волнующей походкой. На площади Согласия она наняла фиакр. А я стоял, как дурак, у Обелиска, стоял, потрясенный таким сильным порывом желания, какого мне не случалось испытывать.

Я думал о ней по крайней мере три недели, потом позабыл ее.

Через полгода я снова встретился с ней на улице Мира и, увидев ее, почувствовал, что сердце мое дрогнуло, как при встрече с любовницей, когда-то любимой до безумия. Я остановился, чтобы лучше видеть, как она приближается. Когда она прошла мимо, почти коснувшись меня, мне показалось, что меня обдало жаром, как из печи. А когда она удалилась, у меня было такое ощущение, словно свежий ветер овеял мне лицо. Я не пошел за ней. Я боялся наделать каких-нибудь глупостей, боялся самого себя.

Она часто являлась мне во сне. Ты знаешь, что это за наваждение.

Я не видел ее целый год. Но как-то вечером, при заходе солнца, приблизительно в мае, я шел по Елисейским Полям и узнал впереди ее фигуру.

На огненной завесе неба вырисовывалась арка Звезды. Воздух был наполнен золотистой пылью, подернут огненной дымкой. Это был один из чудеснейших вечеров, которые являются как бы апофеозом Парижа.

Я пошел за ней, обуреваемый бешеным желанием заговорить, броситься на колени, рассказать ей о душивших меня чувствах.

Два раза я обгонял ее и опять возвращался. Два раза я вновь испытал, проходя мимо нее, то ощуще-

ние палящего жара, которое потрясло меня на улице Мира.

Она посмотрела на меня. Потом я увидел, как она вошла в один дом на улице Пресбур. Я прождал у подъезда два часа. Она не вышла. Тогда я решился спросить консьержа. Тот поглядел на меня с недоумением.

— Вероятно, она пришла к кому-нибудь в гости,— сказал он.

Я не видел ее еще восемь месяцев.

Но вот как-то январским утром, когда стоял сибирский холод, я бежал, чтобы согреться, по бульвару Мальзерб и вдруг на углу одной из улиц так сильно толкнул какую-то женщину, что она выронила из рук маленький сверток.

Я хотел извиниться. Это была она!

Сперва я совершенно остолбенел, затем, подавая ей упавший сверток, сказал неожиданно для самого себя:

— Сударыня, я огорчен и в то же время восхищен, что так неловко толкнул вас. Вот уже более двух лет, как я знаю вас, очарован вами и жажду быть вам представленным; но никак не мог узнать, кто вы и где вы живете. Простите мне эти слова и отнесите их к моему страстному желанию быть в числе тех, кто имеет право вам кланяться. Не правда ли, такого рода чувство не может оскорбить вас? Вы меня совсем не знаете. Меня зовут барон Роже дез-Аннет. Наведите справки, и вам скажут, что я человек, достойный быть принятым. Если же вы откажете в моей просьбе, то сделаете меня бесконечно несчастным. Итак, будьте великодушны, дайте мне возможность, укажите способ вас видеть.

Она пристально посмотрела на меня своим страшным мертвым взглядом и ответила с улыбкой:

— Дайте ваш адрес. Я приду к вам.

Я был настолько поражен, что, вероятно, она это заметила. Но так как я всегда довольно скоро оправляюсь от подобных неожиданностей, то поспешил вручить ей свою визитную карточку, которую она быстрым жестом сунула в карман; рука ее, видимо, привыкла ловко припрятывать такие записки.

Осмелев, я пролепетал:

— Когда же я вас увижу?

Она призадумалась, словно делая сложный расчет, наверно, стараясь вспомнить, как распределено ее время час за часом, затем шепнула:

— Хотите в воскресенье утром?

— Конечно, хочу!

И она удалилась, осмотрев меня с ног до головы, оценив, взвесив, изучив меня своим тяжелым блуждающим взглядом, как будто оставлявшим на коже след чего-то липкого, похожего на густую жидкость, которую выпускает спрут, чтобы замутить воду и усыпить жертву.

До самого воскресенья я напрягал свой мозг, стараясь угадать, кто же она, и решить, как вести себя с нею.

Надо ли ей заплатить? И как это сделать?

В конце концов я купил драгоценность — колечко, которое и положил в футляре на камин.

Плохо проспав ночь, я стал дожидаться ее прихода.

Она пришла около десяти часов, совершенно спокойная, совершенно невозмутимая и протянула мне руку, как старому знакомому. Я усадил ее, взял у нее шляпу, вуаль, горжетку и муфту. Затем я начал, не без некоторого смущения, усиленно ухаживать за нею, так как не желал терять время.

Впрочем, она не заставила себя просить, и мы не обменялись и двадцатью словами, как я уже начал раздевать ее. Она продолжала это трудное дело одна, так как мне никогда не удается довести его до конца. Я постоянно колю себе руки булавками, затягиваю тесемки в безнадежные узлы, вместо того, чтобы развязать их; я все путаю, со всем опаздываю и теряю голову.

Ах, милый друг, знаешь ли ты в жизни что-нибудь прелестнее минуты, когда, отойдя из скромности в сторону, чтобы не тревожить свойственной им всем стыдливости страуса, ты глядишь, как та, которая раздевается для тебя, сбрасывает все свои шелестящие одежды, и они, одна за другой, ложатся кольцами у ее ног?

И что может быть красивее движений, которыми она расстегивает эти милые одежды, и они падают на

пол, пустые и вялые, словно вдруг лишенные жизни? Что за прекрасное и захватывающее зрелище, когда снят корсет и показываются нагие плечи и грудь, до чего волнуют очертания тела, угадываемые под последним покровом!

Но тут, когда она повернулась ко мне спиной, я заметил нечто поразившее меня — черное пятно между плечами, большое, выпуклое, совсем черное пятно. А я еще обещал не смотреть на нее.

Что же это было? Ошибиться я не мог, а воспоминание о ясно проступающих усиках, о сросшихся бровях, о копне волос, покрывавшей, как шлем, ее голову, должно было подготовить меня к такому сюрпризу.

И все-таки я оторопел, и внезапно мной овладели какие-то странные видения и воспоминания. Мне казалось, что я вижу волшебницу из *Тысячи и одной ночи,* одно из тех опасных и коварных созданий, чье назначение — увлекать людей в неведомые бездны. Я подумал о царе Соломоне, который заставил царицу Савскую пройти по зеркалу, чтобы убедиться, что у нее нет копыт.

И... и, когда настало время пропеть ей песнь любви, я обнаружил, что у меня пропал голос, что не осталось, дорогой мой, даже самого слабенького голоска. Виноват, у меня оказался голос папского певчего, что ее вначале удивило, а потом чрезвычайно разгневало, и она сказала, торопливо одеваясь:

— Бесполезно было беспокоить меня.

Я хотел было заставить ее принять купленное для нее кольцо, но она произнесла с таким высокомерием: «За кого вы меня принимаете, сударь?»— что я покраснел до ушей от этого нового унижения. И она ушла, не сказав больше ни слова.

Вот и все мое приключение. Но хуже всего то, что теперь я влюблен в нее, влюблен до безумия.

Я больше не могу видеть ни одной женщины, чтобы не подумать о ней.

Все другие мне противны, отвратительны, особенно те, которые ничем ее не напоминают. Я не могу поцеловать щеки, чтобы не видеть рядом ее щеку и не почувствовать жестокой муки неутоленного желания.

Она присутствует на всех моих любовных свидани-

ях, она отравляет все мои ласки, делая их ненавистными мне. Одетая или нагая, она всегда подле меня, как самая желанная любовница; видимая мне, но неосязаемая, она стоит или лежит тут же, рядом с другой. И я теперь думаю, что она действительно была колдунья с таинственным талисманом между плечами.

Кто она? Я до сих пор этого не знаю. Я встретил ее еще два раза. Я поклонился ей. Но она не ответила на поклон, притворившись, что не знает меня. Кто она? Быть может, какая-нибудь азиатка? Вероятно, еврейка с Востока! Да, еврейка! Но почему я это решил? Почему? Да, почему? Не знаю!

ПРИЗНАНИЕ

Молодая баронесса де Гранжери дремала на кушетке, когда ее приятельница маркиза де Реннеду в сильном возбуждении влетела к ней. Корсаж у маркизы был примят, шляпа надета вкось; она бросилась на стул и воскликнула:

— Уф! Дело сделано!

Подруга, привыкшая к ее ровному, спокойному нраву, привскочила от изумления.

— Что такое? Что ты сделала? — спросила она.

Маркизе явно не сиделось на месте, она вскочила, прошлась по комнате, потом опустилась в ногах кушетки и схватила руки приятельницы.

— Слушай, милочка, я тебе что-то расскажу, только ты поклянись, что никому не перескажешь.

— Клянусь.

— Вечным спасением?

— Вечным спасением.

— Так вот! Я отомстила Симону.

— И хорошо сделала! — воскликнула баронесса.

— Правда? Знаешь, ведь он за последние полгода стал совсем несносным — несносней не придумаешь. Я, конечно, видела, что он некрасив, когда выходила за него, но я думала, что он хоть добрый. И как же я ошиблась! Он, верно, вообразил, что я влюблена в него, в его толстый живот, в его красный нос, и принялся ворковать, точно голубок. Понимаешь, меня это смешило, потому я и прозвала его «воркун». Удивительное самомнение у мужчин! Когда мой супруг по-

нял, что я питаю к нему только дружеские чувства, он стал подозрителен, стал то и дело говорить мне колкости, называть меня кокеткой, безнравственной и еще бог весть какой. А дальше пошло и того хуже, потому что... потому... как бы удобней выразиться? Ну, словом, он был влюблен в меня... очень влюблен... и часто, слишком часто... доказывал мне это. Ах, милая, что за пытка, когда тебя... любит смешной мужчина. Право же, я больше не могла, ну, не могла терпеть... как будто мне каждый вечер выдергивали зуб... нет, хуже, много хуже! Ну, припомни среди знакомых какого-нибудь урода, очень смешного, очень противного, с толстым животом — это ужасней всего — и с толстыми мохнатыми икрами. Представляешь себе? Так вот, вообрази, что это твой муж... и что... каждый вечер... ну, ты понимаешь. Нет, это нестерпимо, нестерпимо! Меня просто тошнило... по-настоящему тошнило, до рвоты. Право же, я не могла терпеть. Отчего нет закона, чтобы ограждать женщин в таких случаях? Да ты только представь себе, ведь каждый вечер... Фу! Какая гадость!

Не думай, что я мечтала о какой-то возвышенной любви, нет, ничуть. Такой сейчас не бывает. В нашем кругу все мужчины либо конюхи, либо дельцы. Они любят только лошадей и деньги, а женщин любят тоже, как лошадей, любят щегольнуть ими в гостиной, как щеголяют парой рысаков в Булонском лесу. Только и всего. В теперешней жизни нет места чувству.

Будем же рассудительными, хладнокровными женщинами. Что значат теперь отношения между людьми? Это встречи по расписанию, и всегда одни и те же разговоры. Впрочем, кто может внушить хоть немного симпатии или привязанности? Мужчины нашего круга по большей части вылощенные манекены—ни искорки ума, ни капли чуткости. Когда мы ищем немножко остроумия, как ищут воды в пустыне, мы зовем к себе людей искусства, и к нам являются либо невыносимые позеры, либо невоспитанная богема. А я, я, как Диоген, ищу человека, одного-единственного человека во всем парижском обществе; но я уже отчаялась найти его, и скоро мне придется задуть мой фонарь. Но вернемся к

мужу — меня буквально всю переворачивало, когда он являлся ко мне в сорочке и кальсонах, и я решила употребить все средства, слышишь, все, лишь бы отдалить и... отвратить его от себя. Сначала он злился, а потом стал ревновать, вообразил, что я изменяю ему. Первое время он только следил за мною. Тигром смотрел на всех знакомых мужчин, а потом начался уже настоящий шпионаж. Он ходил за мной по пятам. Он не гнушался самыми подлыми средствами, чтобы поймать меня. Ни с кем не давал мне слова сказать. На балах он торчал позади моего кресла, и стоило мне заговорить, как он уже, словно гончая, вытягивал свою большую голову. Он таскался за мной в буфет, запрещал мне танцевать то с одним, то с другим, увозил меня среди котильона, ставил меня в глупое и смешное положение, создавал мне бог знает какую репутацию. После этого я совсем перестала бывать в свете. А в интимных отношениях все пошло еще хуже. Ты только подумай, этот негодяй обращался со мной, как... как... даже выговорить трудно... как со шлюхой...

Подумай, милочка! Он спрашивал каждый вечер: «С кем ты спала сегодня?» Ну я, конечно, плакала, а он снял.

А дальше стало совсем нестерпимо. На той неделе он повез меня обедать на Елисейские Поля. Случайно за соседним столиком оказался Бобиньяк. И Симон со злости как наступит мне на ногу да как зарычит из-за вазы с дыней: «Грязная тварь, ты назначила ему свидание. Ну, постой же!» И тут, ты даже не поверишь, милочка, что он тут сделал: потихоньку вытянул у меня из шляпы булавку и всадил мне в плечо. Я закричала. Все сбежались. А он изобразил ужасное огорчение. Ну, что ты скажешь?

В эту минуту я решила: отомщу и как можно скорей. А ты как бы поступила, а?

— Конечно, отомстила бы!..

— Ну так вот. Дело уже сделано.

— Как?

— Как? Ты не понимаешь?

— Но все-таки, душенька, конечно...

— Что — конечно? Да ты только вспомни, какой

он: лицо толстое, нос красный, а бакенбарды висят, как собачьи уши.

— Ну, да.

— Вспомни при этом, что он ревнив, как тигр.

— Ну, да.

— Вот я и решила: отомщу ради себя самой и ради Мари — ведь я непременно собиралась рассказать тебе, но, понятно, тебе одной. Подумай, какой он, и подумай, что теперь он... что теперь у него...

— Как, ты ему...

— О, милочка, только ни слова никому; поклявшись, что не скажешь. Но, подумай, до чего это смешно! Подумай!.. У него теперь совсем другой вид, и мне самой до того смешно, до того смешно... Подумай, что́ у него теперь на голове!..

Баронесса взглянула на подругу, и безудержный смех, подступавший ей к горлу, прорвался наружу, она засмеялась, захохотала, как в истерике; прижав руки к груди, сморщившись, задыхаясь, она вся перегнулась, и казалось, вот-вот упадет на пол.

Маркиза не выдержала и залилась тоже. Взвизгивая от смеха, она повторяла:

— Подумай... подумай, до чего смешно... ты только подумай, какие... у него бакенбарды!.. какой нос!.. А на голове... подумай... до чего смешно!.. Только... никому... не рассказывай... никогда!

Они задыхались, не могли говорить, хохотали буквально до слез

Первой пришла в себя баронесса и спросила, вся еще дрожа от смеха:

— Расскажи... как же ты это сделала... расскажи... ах, это так смешно!.. так смешно!..

Но подруга еще не могла говорить и только лепетала:

— Когда я решилась... я думала... скорее, как можно скорее... немедленно!.. И вот... сделала... сегодня!..

— Сегодня!..

— Ну, да... только что... а Симону велела заехать сюда за мной, чтобы мы повеселились... Он приедет... скоро... сейчас. Когда будешь смотреть на него — подумай... подумай, что́ у него на голове!..

Баронесса немного успокоилась, только переводила дух, как после долгого бега.

— Ну, скажи, как ты это сделала... скажи же! — настаивала она.

— Да очень просто... Я решила: он ревнует к Бобиньяку,—ну что ж, Бобиньяк так Бобиньяк. Ума у него с мизинец, но он человек порядочный и болтать не будет. Вот я и поехала к нему после завтрака.

— Поехала к нему? Под каким предлогом?

— Сбор пожертвований... на сирот...

— Рассказывай же... рассказывай!..

— У него язык отнялся от удивления, когда он увидел меня. Но он все-таки дал два луидора на моих сирот. А когда я собралась уходить, спросил, как поживает мой муж; тут я сделала вид, что не в силах больше таить свои обиды, и открыла ему душу. Ну, понятно, я сгустила краски! Бобиньяк совсем расчувствовался и стал придумывать, чем бы мне помочь... а я расплакалась... знаешь, как плачут по заказу... Он меня усадил, принялся утешать... а я все плакала. Тогда он поцеловал меня. Я твердила: «Ах, мой добрый друг, мой добрый друг!..» А он вторил мне: «Мой бедный друг... мой бедный друг!..» — и все целовал меня... все целовал... и так до самого финала. Вот и все.

После я закатила сцену безумного отчаяния и упреков. Обзывала его бог знает какими именами... А самой ужасно хотелось смеяться. Мне все представлялся Симон: бакенбарды висят... а на голове!.. Ты пойми!.. на голове! По дороге сюда я еле удерживалась от хохота... Ты пойми!.. дело сделано... Что бы ни случилось дальше — дело сделано! А он так этого боялся!.. Пусть теперь будут войны, землетрясения, эпидемии, пусть все мы умрем — все равно... дело сделано! И этого уж никак не изменишь!.. Да ты представь себе, что́ у него на голове... и скажи: ведь дело-то сделано!!!

Баронесса спросила, захлебываясь от смеха:

— А с Бобиньяком ты будешь встречаться?

— Нет. Чего ради... хватит с меня... он не лучше моего супруга.

И обе вновь захохотали так неистово, что их трясло, точно припадочных.

Послышался звонок, и смех их оборвался.

Маркиза прошептала:

— Это он... посмотри на него...

Дверь распахнулась, появился грузный мужчина, краснолицый, грузный мужчина с толстыми губами и висячими бакенбардами; он сердито поводил глазами.

Подруги секунду смотрели на него, и обе вдруг повалились на кушетку в пароксизме такого исступленного хохота, что даже стонали, как стонут от мучительной боли.

А он повторял сиплым басом:

— Что такое? С ума вы сошли?.. С ума сошли, что ли?..

КРЕСТИНЫ

— Ну-ка, доктор, коньячку!

— С удовольствием.

И старый морской врач, протянув рюмку, смотрел, как она наполнялась до краев красивой жидкостью с золотистым отблеском.

Затем он поднял рюмку до уровня глаз, посмотрел ее на свет лампы, понюхал, пригубил, медленно смакуя первые капли языком, влажной и нежной оболочкой нёба, и сказал:

— О чудесный яд! Или скорее обольстительный убийца, пленительный губитель целых народов!

Никто из вас не знает его. Вы, правда, читали замечательную книгу, озаглавленную *Западня,* но вы не видели, подобно мне, как алкоголь истребил целое племя дикарей, маленькое негритянское царство,— тот самый алкоголь, который привозили в пузатых бочонках и невозмутимо выгружали рыжебородые английские матросы.

А кроме того, на моих глазах по вине алкоголя произошла необычайная и потрясающая драма, разыгравшаяся совсем близко отсюда, в Бретани, в одной деревушке близ Пон л'Аббе.

Взяв отпуск на год, я жил тогда в деревенском домике, унаследованном мной от отца. Вы знаете эти плоские берега, где в кустах терновника день и ночь воет ветер, где нередко видишь стоячие или лежачие огромные камни, которые были когда-то богами и до сих пор сохранили в своем положении, очертаниях и

форме что-то внушающее трепет. Мне всегда казалось, что они вот-вот оживут, и я увижу, как они двинутся по полям медленной, тяжелой поступью, поступью гранитных великанов, или же, взмахнув огромными крыльями, каменными крыльями, улетят в рай друидов.

Море замыкает горизонт, возвышаясь над ним, бурлит и кипит вокруг черноголовых рифов, всегда окаймленных пеной и похожих на псов, подстерегающих рыбака.

И люди пускаются в это страшное море, которое одним движением своей могучей зеленоватой спины опрокидывает баркасы и глотает их, как пилюли. Смелые, буйные и пьяные, люди днем и ночью выходят в море на своих суденышках. Пьяны же они очень часто.

«Когда бутылка полна,— говорят они,— то и риф заметишь, а пуста, ничего не увидишь».

Войдите в их лачуги. Вы никогда не увидите там отца семейства. А если вы спросите женщину, что стало с ее мужем, она укажет рукой на мрачное ревущее море, брызжущее на берег белой слюной. Как-нибудь вечером он хватил лишнего и не вернулся оттуда. И старший сын тоже. У нее еще четверо сыновей, четверо рослых и сильных белокурых молодцов. Скоро настанет их черед.

Итак, я жил в своем деревенском домике близ Пон л'Аббе. Я жил там со слугою, бывалым моряком, и с одной бретонской семьей, сторожившей усадьбу в мое отсутствие. Эта семья состояла из трех человек: двух сестер и мужа одной из них, работавшего у меня садовником.

И вот в том году, на святках, жена моего садовника родила мальчика.

Супруг явился звать меня в крестные. Я не мог отказать ему, и он занял у меня десять франков — на церковные расходы, по его словам.

Крестины были назначены на второе января. Уже целую неделю земля была одета снегом, огромным, мертвенным и твердым покровом, которому словно конца не было на этой плоской низменной местности. Море же вдали, за белой равниной, казалось черным;

видно было, как оно бушевало, выгибало спину и катило свои волны, будто хотело броситься на свою бледную соседку, напоминавшую покойницу,— так она была тиха, уныла и холодна.

В девять часов утра дядюшка Керандек появился у моих дверей в сопровождении свояченицы, высокой тетки Кермаган, и повитухи, которая несла завернутого в одеяло ребенка.

И вот мы отправились в церковь. Стоял такой зверский холод, что трескалась кожа, а ледяные ожоги причиняли отчаянную боль. Такой мороз, что, казалось, могли расколоться даже долмены. Я думал о бедном малыше, которого несли впереди, и говорил себе, что эти бретонцы действительно железное племя, если их дети с самого рождения способны выносить такие прогулки.

Мы подошли к церкви, но дверь была заперта. Господин кюре запаздывал.

Тогда повитуха, усевшись на тумбу около паперти, принялась раздевать младенца. Сначала я решил, что он намочил пеленки, но увидел, что его просто раздевают донага, да, донага, раздевают бедняжку совсем донага на таком морозе! Я подошел, возмущенный таким безумием:

— Да вы с ума сошли! Вы же убьете его!

Женщина ответила благодушным тоном:

— Нет, сударь, надо, чтоб он ждал господа бога голеньким.

Отец и тетка глядели на это совершенно спокойно. Таков был обычай. Если его не исполнить, с новорожденным может случиться несчастье.

Я рассердился, изругал отца, грозил, что уйду, хотел насильно прикрыть хрупкое существо. Все было напрасно. Повитуха увертывалась от меня, бегая по снегу, а тело крошки становилось лиловым.

Я уже хотел было уйти от этих зверей, когда увидел кюре, шагавшего по полю в сопровождении пономаря и мальчика-служки.

Я побежал навстречу и с яростью высказал ему свое возмущение. Он нисколько не удивился, не стал спешить, не прибавил шагу. Он ответил:

— Что ж поделаешь, сударь? Это обычай. Они все так поступают, и мы не в силах бороться с этим.

— Так поторопитесь, по крайней мере! — закричал я.

Он возразил:

— Не могу же я бежать.

И он вошел в ризницу, а мы все остались на паперти, где я страдал, наверно, гораздо больше, чем бедный, раскричавшийся малютка, исжаленный морозом.

Наконец дверь открылась. Мы вошли. Но ребенок должен был оставаться голым во время всей церемонии.

Длилась она бесконечно. Кюре мямлил латинские слоги, которые, падая из его уст, соединялись в бессмысленные слова. Двигался он медленно, с неторопливостью священной черепахи, и его белая риза леденила мне сердце, словно это был тоже снежный покров, в который он облачился, чтобы именем жестокого, немилосердного бога мучить эту корчившуюся от холода человекоподобную личинку.

Наконец крещение было завершено по всем правилам, и я увидел, что повитуха закутывает в большое одеяло окоченевшего младенца, кричавшего жалобно и пронзительно.

Кюре сказал мне:

— Прошу вас подписать метрику.

Я повернулся к садовнику:

— Поскорее возвращайтесь домой и немедленно отогрейте ребенка.

И я дал ему несколько советов, как предотвратить воспаление легких, если еще не поздно.

Он обещал мне выполнить все мои указания и удалился вместе со свояченицей и с повитухой. Я пошел за священником в ризницу.

Когда я расписался, он потребовал с меня пять франков за совершение обряда.

Так как я уже дал отцу десять франков на эти расходы, то отказался платить вторично. Кюре пригрозил, что разорвет бумагу и признает обряд недействительным. Я, в свою очередь, угрожал ему прокурором Республики.

Ссора затянулась; в конце концов мне пришлось заплатить.

Возвратившись домой, я поспешил узнать, не случилось ли какой беды. Я побежал к Керандекам, но оказалось, что отец, свояченица и повитуха еще не возвращались.

Роженица, оставшись совсем одна, дрожала от холода в постели и была голодна, так как со вчерашнего дня ничего не ела.

— Куда же их черти занесли? — спросил я.

Она ответила, не удивляясь и не сердясь:

— Пошли, верно, вспрыснуть крестины.

Таков был обычай. Тогда я вспомнил о своих десяти франках, предназначенных для оплаты священника; наверное, их истратили на выпивку.

Я послал матери бульону и приказал, чтобы у нее пожарче натопили комнату. Я был встревожен, взбешен, давал себе слово выгнать этих дикарей и с ужасом спрашивал себя, что будет с несчастным малышом.

В шесть часов вечера они еще не возвращались.

Я приказал слуге ждать их, а сам лег спать.

Заснул я сразу, потому что сплю, как настоящий матрос.

На рассвете слуга разбудил меня, явившись с горячей водой для бритья.

Едва открыв глаза, я спросил:

— А Керандек?

Слуга заколебался, потом пробормотал:

— Ох, сударь, он вернулся поздней ночью, пьяный, как стелька, и тетка Кермаган тоже, и повитуха тоже. Они, верно, дрыхли где-нибудь в канаве. Ребенок-то помер, а они и не заметили.

Я одним прыжком вскочил с постели и воскликнул:

— Ребенок умер?

— Да, сударь, они принесли его тетке Керандек. Она, как увидела его, начала плакать; ну, они и ее напоили, чтобы утешить.

— Как, ее тоже напоили?

— Да, сударь. Но я-то узнал обо всем этом только сейчас, утром. У Керандека не осталось ни водки, ни денег, так они взяли спирт для той лампы, которую вы им подарили, и вчетвером допили все, что оставалось от литра. Так что тетке Керандек очень плохо.

Я наспех оделся, схватил палку, решив избить всех этих двуногих зверей, и побежал к садовнику.

Роженица, напившаяся древесного спирта, лежала уже в агонии возле посиневшего трупа своего младенца. Керандек, повитуха и тетка Кермаган храпели на полу. Мне пришлось ухаживать за больной, а к полудню она умерла.

Старый доктор замолчал. Он снова взял бутылку и налил себе еще одну рюмку коньяку. И, снова посмотрев золотистую жидкость на свет лампы, превращавший ее в расплавленный топаз, он залпом выпил этот вероломный жгучий напиток.

НЕОСТОРОЖНОСТЬ

До свадьбы они любили друг друга целомудренной небесной любовью. Все началось с очаровательной встречи на берегу океана. Ему показалась прелестной эта розовая девушка в светлых нарядах с яркими зонтиками — на фоне широкого морского горизонта. Он полюбил ее, белокурую и хрупкую, в обрамлении голубых волн и беспредельного неба. Нежность к этой едва расцветшей женщине сливалась у него с неопределенным, но сильным волнением, которое пробуждали в его сердце, душе и крови терпкий, соленый воздух, необъятный простор, солнце и море.

Она же полюбила его потому, что он ухаживал за ней, потому, что он был молод, достаточно богат, любезен и воспитан. Она полюбила его потому, что для девушек естественно любить молодых людей, которые говорят им нежные слова.

После этого они три месяца прожили бок о бок, не разнимая рук и глядя друг другу в глаза. Утреннее приветствие: «Добрый день»,— которым они обменивались в прохладе начинающегося дня, перед купанием, и вечернее: «Спокойной ночи»,— когда они прощались на песчаном пляже, под звездным небом, в теплом воздухе безмятежной ночи,— эти слова, произносимые чуть слышно, уже имели привкус поцелуев, хотя их губы еще не встречались ни разу.

Едва задремав, они видели друг друга во сне, а проснувшись, тотчас же вспоминали друг о друге; между ними еще ничего не было сказано, но каждый из

них призывал и желал другого всей душой и всем телом.

После свадьбы они стали обожать друг друга уже по-земному. Сперва это было какое-то неутомимое чувственное исступление; затем оно сменилось восторженной нежностью, поэзией ласк более изощренных, милыми и вольными шалостями. Каждый их взгляд означал что-то нескромное, каждый жест напоминал о горячей интимности ночей.

Теперь же, еще не признаваясь себе в этом и, может быть, еще не понимая этого, они почувствовали пресыщение. Правда, они любили по-прежнему, но уже не могли дать друг другу ничего нового, ничего не могли сделать, чего не делали уже много раз, ничему уже не могли научить друг друга,— ни новому ласкательному прозвищу, ни неизведанному наслаждению, ни какой-нибудь интонации, от которой стали бы пламеннее все знакомые, столько раз повторенные слова.

Однако они прилагали все усилия, чтобы снова разжечь ослабевшее пламя первых объятий. Они каждый день придумывали какие-нибудь любовные ухищрения, наивные или утонченные забавы, отчаянно пытаясь возродить в своих сердцах ненасытную страсть первых дней, а в крови — пылкость медового месяца.

Время от времени, подхлестывая таким образом желание, они вновь добивались искусственного подъема на час, но за этим обычно следовали усталость и отвращение.

Они прибегали и к лунному свету, и к прогулкам теплыми вечерами под сенью листвы, и к поэзии берегов, окутанных туманом, и к возбуждению народных праздников.

Как-то утром Анриетта сказала Полю:

— Не сведешь ли ты меня пообедать в кабачок?

— Хорошо, милочка.

— Но только в очень известный кабачок.

— Хорошо.

Он вопросительно смотрел на нее, видя, что она не хочет сказать все, что у нее на уме

Она продолжала:

— Знаешь, в такой кабачок... как бы тебе объяс-

нить... в такой... кабачок... В кабачок, где назначают друг другу свидания.

Он улыбнулся:

— Ага, понимаю. В отдельный кабинет большого ресторана?

— Да, да! Но только такого ресторана, где тебя хорошо знают, где ты уже бывал, ужинал... нет... обедал... Словом, знаешь... словом... я хотела бы... Нет, не могу этого сказать.

— Скажи, милочка, мы ведь все можем говорить друг другу. Нам нечего таиться.

— Нет, не могу.

— Ну, не притворяйся невинностью, говори.

— Так вот... Так вот... я хотела бы... хотела бы, чтобы меня приняли за твою любовницу... и чтобы лакеи, которые не знают, что ты женился, тоже смотрели на меня, как на твою любовницу, и чтобы ты сам... ты сам тоже считал меня своей любовницей на этот час, в этом месте, где у тебя, наверно, немало воспоминаний... Вот!.. И я сама буду считать себя твоей любовницей... Я совершу большой грех... Я тебя обману... обману с тобой же... Вот!.. Это очень гадко... Но мне так хотелось бы... Не заставляй меня краснеть... Я чувствую, что краснею... Ты не можешь себе представить, как меня... меня... взволнует, если я пообедаю с тобой там, где это считается не совсем приличным... в отдельном кабинете, где предаются любви каждый вечер... каждый вечер... Это очень гадко... Я чувствую, что покраснела, как пион. Не смотри на меня.

Все это крайне позабавило его, и он ответил, смеясь:

— Хорошо, пойдем сегодня вечером в шикарный ресторан, где меня знают.

Около семи часов они поднимались по лестнице большого кафе на Бульварах. Он торжествующе улыбался, а она пряталась под вуалью в смущении и восторге. Как только они очутились в отдельном кабинете, обстановка которого состояла из четырех кресел и широкого дивана, обитого красным бархатом, к ним вошел метрдотель в черном фраке и подал меню. Поль протянул его жене.

— Что ты хочешь заказать?

— Но я не знаю, что здесь едят.

Сняв пальто и передавая его лакею, он просмотрел длинный список блюд и сказал:

— Меню изысканное: раковый суп, цыплята а ла диабль, заячье филе, омар по-американски, острый салат из овощей и десерт. Пить будем шампанское.

Метрдотель, улыбаясь, смотрел на молодую женщину.

Взяв обратно меню, он спросил:

— Легкого шампанского, господин Поль, или сухого?

— Самого сухого.

Анриетте было приятно слышать, что этот человек знает имя ее мужа.

Они сели рядом на диван и принялись за еду.

В кабинете горело десять свечей, и огни их отражались в большом зеркале, которое было исцарапано множеством имен, написанных алмазом и затянувших прозрачное стекло как бы огромной паутиной.

Анриетта много пила, чтобы взвинтить себя, хотя уже после первых бокалов почувствовала опьянение. Разгоряченный воспоминаниями, Поль ежеминутно целовал руку жены. Его глаза блестели.

Она чувствовала себя странно взволнованной и немножко замаранной в этом подозрительном месте, хотя и была возбуждена, довольна и вся трепетала. Два лакея, важные, безмолвные, привыкшие все видеть и все забывать, входить только в случае необходимости и выходить в моменты излияний чувств, подавали быстро и бесшумно.

К середине обеда Анриетта была пьяна, совершенно пьяна, а Поль, тоже навеселе, изо всех сил жал ей колено. Осмелев, она теперь болтала без умолку, щеки ее раскраснелись, а глаза затуманились и горели.

— Слушай, Поль, признайся мне! Я хотела бы все знать!

— Что именно, милочка?

— Не могу сказать тебе.

— Скажи все-таки...

— У тебя были любовницы? До меня?.. Много?..

Он колебался, немного растерявшись и не зная,

скрывать ли ему свои любовные приключения или, наоборот, похвастаться ими.

Она продолжала:

— О, пожалуйста, скажи, много их у тебя было?

— Да, было несколько.

— Сколько?

— Да не знаю... Разве их считают?

— Так ты их не считал?..

— Конечно, нет.

— О! Значит, их у тебя было много?

— Да, много.

— Ну, сколько же приблизительно?.. Хотя бы приблизительно.

— Да я совсем не знаю, милочка. Иногда бывало много, иногда меньше.

— Ну, а сколько в год? Ну, скажи!

— Иногда двадцать или тридцать, а иногда только четыре или пять.

— О! Значит, всего у тебя было больше ста женщин!

— Ну да, приблизительно.

— О! Какая мерзость!

— Почему мерзость?

— Да потому, что это мерзость, противно даже подумать... столько женщин... все голые... и всегда... всегда одно и то же... Нет, все-таки мерзость — иметь больше ста женщин!

Он был обижен тем, что она находила это мерзостью, и ответил снисходительным тоном мужчины, который дает понять женщине, что она говорит глупости:

— Странно ты рассуждаешь! Почему же мерзость — иметь сто женщин? Тогда, значит, мерзость — иметь и одну женщину.

— О, нет, совсем нет.

— Почему же нет?

— Потому что, когда у тебя одна женщина, это связь, это любовь, это настоящая близость. А сто женщин — это грязь, разврат! Я не понимаю, как может мужчина касаться всех этих девок, которые так грязны...

— Да нет же, они очень опрятные.

— Нельзя быть опрятной, занимаясь таким ремеслом.

— Как раз наоборот, именно из-за своего ремесла они и бывают опрятными.

— Фу! Подумать только, что накануне они проделывали то же самое с другими! Это отвратительно!

— Не более отвратительно, чем то, что ты пьешь из этого стакана, не зная, кто из него пил сегодня утром. Да еще будь уверена, что стакан этот вымыт гораздо хуже, чем...

— Замолчи! Ты меня возмущаешь...

— Тогда зачем же ты расспрашиваешь о моих любовницах?

— А скажи: все твои любовницы были публичными женщинами? Все?.. Все сто?..

— Да нет же, нет...

— А кто же они были?

— Были актрисы... были... работницы... и несколько... светских женщин...

— Сколько же было светских женщин?

— Шесть.

— Только шесть?

— Да.

— Они были красивы?

— Конечно.

— Красивее, чем проститутки?

— Нет.

— А кого ты предпочитал: проституток или женщин из общества?

— Проституток.

— До чего ты гадок! Почему же проституток?

— Потому что вообще не люблю дилетантов.

— О, какой ужас! Знаешь, ты просто отвратителен! Скажи, пожалуйста, и тебе нравилось все время менять их?

— Конечно.

— Очень нравилось?

— Очень.

— Что же тут может нравиться? Разве они не похожи одна на другую?

— Нисколько.

— Как? Женщины не похожи одна на другую?

— Совершенно не похожи.
— Ни в чем?
— Ни в чем.
— Вот странно! Ну, а чем же они отличаются?
— Да всем.
— Телом?
— Ну да... и телом.
— Всем телом?
— Да.
— А еще чем?
— Ну... тем, как они... целуют, как разговаривают, как произносят любое слово.
— Так! Значит, это очень интересно — все время менять!
— Ну да.
— А мужчины тоже все разные?
— Этого я не знаю.
— Не знаешь?
— Нет.
— Они тоже, должно быть, разные.
— Да... Наверно...

Она сидела в задумчивости с бокалом шампанского в руке. Бокал был полон, она выпила его залпом, поставила на стол и, обвив шею мужа обеими руками, шепнула ему в самые губы:

— О милый, как я тебя люблю!..

Он порывисто сжал ее в объятиях... Входивший лакей попятился назад и закрыл дверь; минут пять им не подавали.

Когда вновь появился метрдотель, с важностью и достоинством неся фрукты, она уже опять держала в руках полный бокал и смотрела в прозрачную золотистую жидкость, словно хотела увидеть то неизвестное, что ей пригрезилось, и задумчиво говорила:

— О, да! Должно быть, это все же очень интересно!..

СУМАСШЕДШИЙ

Умер глава одного из высших судебных учреждений, неподкупный представитель юстиции, о безупречной жизни которого много говорили во всех французских судах. Адвокаты, молодые судейские чиновники, судьи низко кланялись в знак глубокого почтения, завидев его важное, бледное и худое лицо, озаренное сверкающими глубокими глазами.

Всю свою жизнь он преследовал преступления и защищал слабых. Он был самым грозным врагом мошенников и убийц, потому что, казалось, читал в глубине их душ, читал их сокровенные мысли и в мгновение ока разоблачал все их тайные намерения.

Он скончался восьмидесяти двух лет, всеми уважаемый и сопутствуемый сожалением целой нации. Солдаты в красных шароварах провожали его прах до могилы, а люди в белых галстуках изливались над его гробом в скорбных речах и в слезах, казавшихся искренними.

Но вот какой странный документ был найден ошеломленным нотариусом в письменном столе, где покойный обычно хранил особо важные уголовные дела.

Он был озаглавлен:

ПОЧЕМУ?

20 июня 1851 г. Только что вернулся из суда. Я добился того, что Блонделя приговорили к смерти! Но почему все же этот человек убил своих пятерых детей? Почему? Часто встречаешь людей, одержимых

страстью к уничтожению жизни. Да, да, это, вероятно, страсть, и, может быть, величайшая из всех страстей; разве акт убийства не походит более всего на акт созидания? Творить и уничтожать! В этих двух словах заключена история вселенной, вся история миров, всего сущего, всего! Почему в убийстве есть что-то пьянящее?

25 июня. Подумать, что есть какое-то существо, которое живет, ходит, бегает... Живое существо? Что такое живое существо? Одушевленный предмет, воплощающий в себе закон движения и волю, которая управляет этим движением! Существо это ни с чем не связано. Ноги его не соединены с почвой. Это зерно жизни, передвигающееся по земле; и оно — это неизвестно откуда явившееся зерно жизни — может быть уничтожено по твоей воле. И тогда — ничего, больше ничего. Все сгниет, и конец.

26 июня. Почему все-таки убийство — преступление? Да, почему? Напротив, это закон природы. Назначение всякого живого существа — убивать: оно убивает, чтобы жить самому, и убивает, чтобы убивать.

Убийство — это свойство нашего темперамента; убивать необходимо! Зверь убивает беспрестанно, каждый день, в каждый момент своего существования. Человек постоянно убивает ради пропитания, но так как у него есть потребность убивать также ради удовольствия, то он изобрел охоту. Ребенок убивает насекомых, каких он находит, птичек и всех мелких животных, какие попадаются ему в руки. Но этого недостаточно для заложенной в нас непреодолимой потребности убийства. Мало убивать животных,— в нас есть потребность убивать людей. Когда-то эту потребность утоляли человеческими жертвоприношениями. В наше время, в силу необходимости жить общественной жизнью, убийство признано преступлением. Убийц осуждают и наказывают. Но так как мы не можем жить, не отдаваясь естественному и властному инстинкту умерщвления, то тешим себя время от времени войнами, в которых один народ истребляет другой народ. Тогда это безудержный кровавый разгул, тот разгул, что сводит с ума целые армии и, мало

того, одурманивает буржуа, женщин и детей, когда они читают по вечерам при свете лампы восторженные рассказы о войне.

Можно подумать, что те, кому предназначено устраивать эту человеческую бойню, окружены презрением. Нет. Их осыпают почестями! Их одевают в золото и сверкающие мундиры; они носят перья на шляпах и украшения на груди; им дают кресты, награды, всякого рода чины. Они надменны, их уважают, их любят женщины, их приветствует толпа; и все это единственно потому, что их назначение — проливать человеческую кровь! Они волочат по улицам свои орудия смерти, а прохожие, одетые в штатское платье, смотрят на них с завистью. Ибо убийство — великий закон, заложенный природой в сердце живого существа! Нет ничего прекраснее и почетнее, чем убивать!

30 июня. Убивать — это закон, ибо природа любит вечную юность. Во всех бессознательных ее проявлениях как будто слышится крик: «Скорей! Скорей! Скорей!» Чем больше она уничтожает, тем больше обновляется.

2 июля. Живое существо? Что такое живое существо? Все и ничего. Благодаря своей мысли оно отражает все. Благодаря своей памяти и знанию оно является как бы уменьшенной копией мира и несет в себе всю его историю. Зеркало вещей и зеркало событий, каждое человеческое существо становится своего рода маленькой вселенной внутри вселенной.

Однако попутешествуйте-ка, посмотрите, как копошатся народы, и окажется, что человек — это ничто, ничто, ничто! Сядьте в лодку, отплывите от берега, покрытого людской толпой, и скоро, кроме береговой полосы, вы уже не увидите ничего. Ничтожное существо исчезнет из глаз — так оно мало и незаметно. Пересеките Европу в скором поезде и посмотрите из окна вагона. Повсюду люди, люди, бесчисленные неведомые люди кишат на полях, кишат на улицах; тупые крестьяне, только и умеющие, что пахать землю, безобразные женщины, только и умеющие, что стряпать похлебку своим самцам и рожать детей. Поезжайте в Индию, поезжайте в Китай, и вы увиди-

те, что и там суетятся миллиарды людей, которые рождаются, живут и умирают, оставляя после себя не больше следа, чем муравей, раздавленный на дороге. Поезжайте к чернокожим, живущим в глинобитных хижинах, или к арабам, ютящимся в палатках, под темным холстом, колеблемым ветром,— и вы поймете, что отдельное изолированное существо ничего не значит, ничего. Человеческий род — все! А что такое человек, отдельный человек какого-нибудь племени, кочующего в пустыне? И эти люди, как истые мудрецы, не беспокоятся о смерти. Жизнь человеческая не имеет у них никакой цены. Врага убивают: это война. Некогда война шла между замками, между провинциями.

Да, попутешествуйте по свету и поглядите, как копошатся эти бессчетные и безвестные люди. Безвестные? Ага, вот в чем суть дела! Убийство — это преступление лишь потому, что мы перенумеровали человеческие существа! Когда они рождаются, их заносят в списки, им дают имя, их крестят. Закон берет их под свою защиту! В этом все! Человек же, нигде не зарегистрированный, не принимается в расчет; убейте его в пустыне или в степи, убейте его в горах или на равнине — какое это имеет значение? Природа любит смерть, и она-то уж не карает!

Священно лишь гражданское состояние. Вот именно! Только оно защищает человека. Человеческая личность священна, потому что занесена в акты гражданского состояния. Чтите же гражданское состояние, это бог законов! На колени!

Государство может убивать, потому что имеет право изменять акты гражданского состояния. Когда оно уничтожает на войне двести тысяч человек, оно исключает их из актов гражданского состояния, оно вычеркивает их рукою своих чиновников. И тогда все кончено. Но мы не смеем ничего менять в этих записях мэрий, и мы должны уважать жизнь. Приветствую тебя, гражданское состояние, славное божество, царствующее в храмах муниципалитетов! Ты могущественнее самой Природы. Ха-ха!

3 июля. Какая, должно быть, странная и сладкая забава убивать! Чувствовать рядом, возле себя, жи-

вое, мыслящее существо, проделать в нем дырочку, маленькую дырочку, увидеть, как брызнет красная жидкость, которая называется кровью и от которой зависит жизнь, а потом возле тебя — только дряблая, холодная, недвижная и лишенная мысли плоть!

5 августа. Я провел всю свою жизнь в том, что осуждал, приговаривал, убивал словами обвинительного приговора, убивал гильотиною тех, кто убивал ножом. А что если бы я, лично я, что если бы сам я поступил так, как поступали осужденные мною убийцы? Кто узнал бы об этом?

10 августа. Кто и когда узнал бы об этом? Разве заподозрят меня, меня,— особенно, если я выберу человеческое существо, в убийстве которого нисколько не буду заинтересован?

15 августа. О искушение, искушение! Оно вползло в меня, как червяк. Оно ползет, оно движется, оно бродит во всем моем теле, в моем мозгу, занятом только одною мыслью — убить; оно маячит перед моими глазами, жаждущими посмотреть на кровь, на смерть; оно у меня в ушах, где непрестанно звучит что-то неведомое мне, страшное, раздирающее душу, сводящее с ума — точно последний крик живого существа; оно у меня в ногах, которые дрожат от желания бежать к месту, где должно произойти убийство; оно у меня в руках, которые трепещут от потребности убивать. До чего же это, должно быть, хорошо, необычайно, достойно свободного человека, господина своих чувств, который стоит выше других и ищет утонченных ощущений!

22 августа. Я не мог устоять. Я убил птицу, чтобы попробовать, чтобы начать.

У моего слуги Жана был щегленок в клетке, висевшей у окна канцелярии. Я послал Жана по какому-то делу, а сам взял птичку в руку, и рука моя чувствовала биение ее сердца. Тельце ее было теплое. Я отправился в свою комнату. Время от времени я сжимал птицу сильнее, и сердце ее билось еще чаще; это было ужасно и упоительно. Я чуть не задушил щегленка. Но тогда я не увидел бы крови.

И вот я взял ножницы, короткие ножницы для ногтей, и медленно-медленно, в три приема, перерезал

ему горло. Он раскрывал клюв, пытался вырваться, но я крепко держал его, о, я крепко держал его; я способен был бы удержать даже взбесившегося дога; и вот я увидел, как потекла кровь. До чего же она красива, красна, ярка, чиста! Мне захотелось ее выпить! Я попробовал немного на кончик языка. Хорошо! Но ее было так мало у бедной птички! Я не успел как следует насладиться этим зрелищем. Какое, должно быть, великолепное зрелище, когда истекает кровью бык.

Потом я проделал все то, что делают настоящие убийцы. Я обмыл ножницы, вымыл руки, вылил воду и отнес тельце птицы, ее труп, в сад, чтобы похоронить его там. Я зарыл его в грядке клубники. Тут его никогда не найдут. А я каждый день буду есть ягоды с этого куста клубники. О, как можно при умении наслаждаться жизнью!

Мой слуга заплакал; он решил, что птица улетела. Мог ли он заподозрить меня? Ха-ха!

25 августа. Мне необходимо убить человека. Необходимо!

30 августа. Я сделал это. Какие это пустяки!

Я пошел гулять в Вернский лес. Я ни о чем не думал, решительно ни о чем. И вдруг по дороге мне навстречу ребенок, маленький мальчик; он шел и жевал хлеб с маслом.

Мальчик остановился, увидев меня, и сказал:

— Здравствуйте, господин председатель.

И мне пришла в голову мысль: «А что, если я убью его?»

Я сказал ему:

— Ты здесь один, мальчик?

— Да, сударь.

— Совсем один в лесу?

— Да.

Жажда убийства пьянила меня, как алкоголь. Я приближался к ребенку медленно, думая, что он убежит... И вот я схватил его за горло... и стал душить, стал душить изо всей силы! Он смотрел на меня глазами, полными ужаса. Какие это были глаза! Круглые, совсем круглые, глубокие, прозрачные, страшные! Я никогда не испытывал такого острого

ощущения... и такого краткого! Мальчик вцепился ручонками в мои руки, и тело его извивалось, словно перо на огне. Потом он остался недвижим.

Сердце мое билось, ха-ха, как сердце той птицы. Я бросил труп в канаву и завалил его сухими листьями.

Возвратившись домой, я отлично пообедал. Какие это были пустяки! Вечером в гостях у префекта я был очень весел, беспечен, я как будто помолодел. Все нашли, что я в ударе.

Но я не видел крови! Я спокоен.

30 августа. Труп обнаружили. Ищут убийцу. Ха-ха!

1 сентября. Арестовали двух бродяг. Улик никаких.

2 сентября. Родители пришли поговорить со мной. Они плакали!.. Ха-ха!

6 октября. Ничего не обнаружено. Очевидно, преступление совершил какой-нибудь бродяга. Ха-ха! Если бы я видел, как течет кровь, то, наверно, был бы сейчас спокоен.

10 октября. Жажда убийства пронизывает меня до мозга костей. Это похоже на безумие любви, терзающее нас в двадцать лет.

20 октября. Еще один. После завтрака я гулял по берегу реки. Я увидел рыбака, заснувшего под ивой. Был полдень. Словно нарочно, на соседнем картофельном поле торчал заступ.

Я взял заступ, вернулся, взмахнул им, как дубиной, и с одного удара рассек острием голову рыбака. О, как много вылилось крови! Розовой крови, смешанной с мозгом! Она стекала в воду — очень медленно. Я удалился величественным шагом. На меня стоило посмотреть! Ха-ха! Превосходный вышел бы из меня убийца!

25 октября. Дело рыбака вызвало много шума. В убийстве обвиняют его племянника, рыбачившего вместе с ним.

26 октября. Следователь утверждает, что племянник виноват. Весь город также уверен в этом. Ха-ха!

27 октября. Племянник защищается весьма неудачно. Утверждает, что ходил в деревню покупать

хлеб и сыр. Клянется, что дядю убили во время его отсутствия. Кто этому поверит?

28 октября. Племянник чуть было не сознался в убийстве — до такого состояния его довели. Ха-ха! Правосудие!

15 ноября. Отягчающие улики против племянника, который должен был наследовать покойному. В заседании суда председательствовать буду я.

25 января. Смерть ему! Смерть ему! Смерть ему! Я заставил присудить его к смертной казни. Ха-ха! Товарищ прокурора говорил, как бог. Ха-ха! Еще один! Пойду смотреть на казнь!

10 марта. Кончено. Сегодня утром его гильотинировали. Он очень хорошо умирал, очень хорошо! Это доставило мне удовольствие! Какое прекрасное зрелище, когда человеку отрубают голову! Кровь хлынула волной, настоящей волной! О, если бы можно было выкупаться в ней! Какое наслаждение окунуться в нее, смочить ею волосы и лицо и подняться красным, красным с головы до ног! О, если бы кто-нибудь знал!

Теперь я подожду, я могу ждать. Ведь так мало нужно, чтобы попасться.

Рукопись содержала еще много страниц, но ни о каких новых преступлениях там больше не говорилось.

Врачи-психиатры, которых ознакомили с рукописью, утверждают, что на свете много никому неведомых сумасшедших, таких же коварных и таких же страшных, как этот чудовищный безумец.

В ДЕРЕВЕНСКОМ СУДЕ

Зал мирового суда в Горжевиле полон крестьян; неподвижно сидя у стен, они ожидают начала заседания.

Среди них есть рослые и невысокие, краснощекие толстяки и худые, словно выточенные из ствола яблони. Они поставили корзины на пол и молчаливо, спокойно ждут, озабоченные своими делами. Они принесли с собой запах хлева и пота, прокисшего молока и навоза. Под белым потолком жужжат мухи. За открытой дверью слышно пение петухов.

Длинный стол, покрытый зеленым сукном, установлен на чем-то вроде помоста. Слева, у края стола, сидит и пишет старый, морщинистый человек. У правого края стола, вытянувшись на стуле по-военному и устремив глаза в потолок,— жандарм. На голой стене — большое деревянное распятие, где Христос, изогнувшийся в страдальческой позе, как бы вновь претерпевает свою извечную муку за этих дикарей, пропитанных вонью скотного двора.

Наконец появляется господин мировой судья. Пузатый и краснолицый, он входит торопливыми грузными шагами, отчего колышется его длинная черная судейская тога; усевшись, он кладет головной убор на стол и окидывает присутствие взглядом глубокого презрения.

Это провинциальный знаток литературы, окружной острослов, один из тех, кто переводит Горация,

смакует стишки Вольтера, знает наизусть *Вер-Вер* и скабрезную лирику Парни.

Он произносит:

— Ну, господин Потель, давайте вызывать.

И, улыбаясь, бормочет:

— Quidquid tentabam dicere versus erat [1].

Письмоводитель, поднимая облысевшую голову, бубнит невнятным голосом:

— Госпожа Виктория Баскюль против Изидора Патюрона.

Выходит огромная женщина. Это провинциальная дама, сельская дама в шляпе, украшенной лентами, с узорчатой золотой цепочкой на животе, с кольцами на пальцах и серьгами в ушах, сверкающими, точно зажженные свечи.

Мировой судья бегло кланяется ей, как знакомой, во взгляде его сквозит усмешка; он говорит:

— Госпожа Баскюль, изложите вашу жалобу.

Противная сторона стоит у другого края стола. Ее представляют трое. Посредине молодой крестьянский парень лет двадцати пяти, толстощекий и красный, как мак. По правую руку от него — жена, совсем еще молоденькая, худенькая, щупленькая, похожая на кайенскую курочку: на ее маленькой и плоской головке, словно гребешок, сидит розовый чепчик. Глаза ее, круглые, удивленные и сердитые, смотрят вбок, как у домашней птицы. Слева от парня стоит его отец, сгорбленный старик, скрюченное тело которого исчезает под накрахмаленной блузой, точно под колоколом.

Г-жа Баскюль излагает свое дело:

— Господин мировой судья, пятнадцать лет назад я взяла на воспитание этого юношу. Я его воспитывала и любила, как мать, я делала для него все возможное, я сделала из него настоящего мужчину. Он обещал, поклялся никогда не покидать меня и даже дал мне такую бумагу; на этом условии я подарила ему маленькое именьице, мою землю в Бек-де-Мортен, которая сто́ит не меньше шести тысяч франков.

---

[1] «Что ни начну говорить, все получается стих» *(лат.)*.

Но тут эта дрянь, это ничтожество, эта сопливая девчонка...

Мировой судья. Выбирайте ваши выражения, госпожа Баскюль.

Г-жа Баскюль. Эта... эта... ну, вы понимаете, вскружила ему голову, сделала с ним что-то такое, уж не знаю, что... И вот этот дурак, этот болван женился на ней и собирается принести ей в приданое мое имение в Бек-де-Мортен... Ну, нет! ну, нет!.. У меня есть бумага, вот она... Раз так, пусть отдаст имение обратно. Мы составили дарственную запись у нотариуса на предмет земли, а кроме того, частное соглашение на предмет дружбы. Одно другого стоит. У каждого свои права, не так ли?

Она протягивает мировому судье развернутый лист гербовой бумаги.

Изидор Патюрон. Это неправда.

Мировой судья. Молчите. Вы будете говорить потом. *(Читает.)*

«Я, нижеподписавшийся, Изидор Патюрон, настоящим обещаю моей благодетельнице, госпоже Баскюль, что не покину ее до конца своей жизни и буду преданно служить ей. Горжевиль, 5 августа 1883 года».

Мировой судья. Вместо подписи стоит крест. Вы, стало быть, неграмотный?

Изидор. Да, неграмотный.

Судья. Но крест-то вы поставили?

Изидор. Нет, не я.

Судья. А кто же его поставил?

Изидор. Она сама.

Судья. Вы можете присягнуть, что не ставили этого креста?

Изидор *(скороговоркой)*. Клянусь батюшкой, матушкой, дедушкой, бабушкой и господом богом, который слышит меня,— не ставил. *(Он поднимает руку и сплевывает в сторону, чтобы подкрепить свою клятву.)*

Мировой судья *(смеясь)*. В каких вы были отношениях с госпожой Баскюль, здесь присутствующей?

Изидор. Она со мной спала. *(В публике смех.)*

Судья. Умерьте ваши выражения. Вы хотите сказать, что ваши отношения не были такими целомудренными, как утверждает госпожа Баскюль?

Патюрон-отец *(берет слово)*. Ему еще пятнадцати лет не было, господин судья, пятнадцати не было, когда она мне его сворotила.

Судья. Вы хотите сказать: совратила?

Отец. Ну, уж не знаю, как там по-вашему. Ему еще пятнадцати лет не было. А она уже года четыре растила его, как для вертела, откармливала, точно цыпленка, да так, что он, с позволения сказать, прямо лопался от еды. А потом, как приспело время и ей показалось, что он готов, она его и разворотила.

Судья. Развратила... И вы позволили ей это сделать?

Отец. Она ли, другая ли, все равно когда-нибудь же надо!

Судья. Тогда на что же вы жалуетесь?

Отец. Ни на что. Я-то ни на что не жалуюсь, а вот он уже больше не хочет, он от нее освободиться хочет. Я и прошу защиты у закона.

Г-жа Баскюль. Эти люди хотят оболгать меня, господин судья. Я сделала из него настоящего мужчину.

Судья. Еще бы.

Г-жа Баскюль. А он отказывается от меня, бросает меня, обворовывает меня.

Изидор. Это неправда, господин судья. Я еще лет пять, как хотел ее бросить, потому что она очень уж толстая стала, и мне это не по вкусу. Опротивела она мне, вот что. Я и сказал ей, что ухожу. Тогда она заревела в три ручья и пообещала мне свое имение в Бек-де-Мортен, чтобы только я остался с ней еще несколько лет, года четыре, пять, не больше. Ну, я сказал: «Ладно!» Что бы вы стали делать на моем месте?

Вот я и пробыл у нее пять лет, день в день, час в час. Я с нею сквитался. Значит, каждый свое получил. Работа стоила того!

Жена Изидора *(не говорившая до сих пор ни слова, пронзительно кричит)*. Вы гляньте на нее, гос-

подин судья, гляньте на эту копну и скажите-ка, стоила его работа того или не стоила?

Отец *(убежденно качая головой, повторяет)*. Провалиться мне, понятно, работа того стоила! *(Г-жа Баскюль опускается на скамейку и плачет.)*

Мировой судья *(отечески)*. Ничего не могу сделать для вас, сударыня, ничего не могу. Вы ему подарили вашу землю в Бек-де-Мортен, закрепив это неоспоримым актом. Она принадлежит ему, и только ему. Он, безусловно, был вправе поступить так, как поступил, и принести эту землю в приданое своей жене. А входить в вопросы... в такие щекотливые вопросы... не мое дело... Я могу рассматривать факты только с точки зрения закона. Ничем не могу вам помочь.

Патюрон-отец *(горделиво)*. Значит, нам можно домой уходить?

Судья. Конечно. *(Они уходят, крестьяне провожают их сочувственными взглядами, как людей, которые выиграли дело; г-жа Баскюль сидит на скамейке и рыдает.)*

Судья *(улыбаясь)*. Успокойтесь, сударыня. Да ну же, успокойтесь... и... если позволите дать вам совет, поищите другого... другого воспитанника...

Г-жа Баскюль *(сквозь слезы)*. Я не найду... больше не найду.

Судья. Сожалею, что не могу вам никого указать. *(Она бросает полный отчаяния взгляд на страдальческую фигуру Христа, изогнувшуюся на кресте, потом поднимается и уходит мелкими шажками, горестно всхлипывая и закрывая лицо платком.)*

Судья *(повернувшись к письмоводителю, насмешливо)*. Калипсо не могла утешиться, когда ее покинул Одиссей. *(Затем продолжает важным тоном.)* Вызывайте следующих.

Письмоводитель *(бубнит)*. Селестен-Полит Лекашер, Проспер-Маглуар Дьеляфе.

ШПИЛЬКА

Не назову ни местности, ни имени героя. Это случилось далеко, очень далеко отсюда, на цветущем и знойном морском побережье. Я шел с утра по берегу, покрытому зелеными всходами, у голубого моря, залитого солнцем. Цветы росли почти у самых волн — легких, тихих, баюкающих волн. Стояла жара, но знойный воздух был мягок и пропитан ароматом тучной, сырой и плодородной земли; казалось, что вдыхаешь испарения прорастающих зерен.

Мне сказали, что на ночь я найду себе приют в доме одного француза, живущего на конце мыса в апельсиновой роще. Кто был он? Этого я не знал. Он появился в одно прекрасное утро, десять лет назад, купил участок земли, насадил виноградники, посеял хлеб; этот человек работал со страстью, с каким-то неистовством. Из месяца в месяц, из года в год расширял он свое владение, непрерывно оплодотворяя могучую и девственную почву, и успел неустанными трудами скопить себе порядочное состояние.

Тем не менее он, как говорили, продолжал работать по-прежнему. Вставая на заре, он до поздней ночи обходил поля и сам надзирал за всем; казалось, его преследует неотступная мысль, мучит ненасытная жажда богатства, которую ничто не может утолить, ничто не может успокоить.

Говорили, что теперь он очень богат.

Солнце уже заходило, когда я добрался до его жилища. Дом действительно находился на конце мыса среди апельсиновых деревьев. Это было обширное и очень простое по архитектуре квадратное здание, возвышающееся над морем.

Когда я подошел к дому, на пороге появился человек с большой бородой. Поздоровавшись, я попросил у него разрешения переночевать. Он с улыбкой протянул мне руку:

— Входите, сударь, и располагайтесь, как дома.

С полной непринужденностью, с привычной любезностью светского человека он провел меня в одну из комнат, предоставил в мое распоряжение слугу и покинул меня, сказав:

— Обедать мы будем, как только вы спуститесь вниз.

И мы действительно пообедали с ним вдвоем на террасе, выходившей на море. Вначале я говорил об этом крае, столь богатом, столь далеком, столь неизведанном. Он улыбался и отвечал мне рассеянно:

— Да, это прекрасная страна. Но ни одна страна не может нравиться вдали от любимых мест.

— Вы скучаете по Франции?

— Я скучаю по Парижу.

— Почему же вы не вернетесь туда?

— О, я еще вернусь!

И разговор незаметно перешел на французское общество, на жизнь парижских бульваров и вообще на парижские темы. Он расспрашивал меня с видом человека, которому все это было близко знакомо, называл имена, хорошо известные завсегдатаям Водевиля.

— Кого теперь можно встретить у Тортони?

— Да все тех же, исключая умерших.

Я внимательно приглядывался к нему, преследуемый смутным воспоминанием. Конечно, я где-то видел это лицо! Но где? Но когда? Казалось, он был измучен, несмотря на крепкое здоровье, и печален, несмотря на бодрый вид. Пышная белокурая борода спадала ему на грудь; время от времени он забирал ее в руку у подбородка и, сжав, пропускал сквозь пальцы. У него была

небольшая лысина, густые брови и длинные усы, сливавшиеся с растительностью на щеках.

Позади нас солнце опускалось в море, озаряя огненной дымкой прибрежные скалы. Цветущие апельсиновые деревья струили в вечернем воздухе резкий и восхитительный аромат. Но он не замечал ничего, кроме меня, и, напряженно всматриваясь, казалось, видел в моих глазах, в глубине моей души далекую картину — знакомый и любимый тенистый тротуар от церкви Мадлен до улицы Друо.

— Вы знаете Бутреля?

— Да, конечно.

— Он очень изменился?

— Да, совсем поседел.

— А Ла Ридами?

— Все такой же.

— А женщины? Расскажите мне о женщинах. Вы знаете Сюзанну Верне?

— Да, она очень располнела, ее песенка спета.

— Да? А Софи Астье?

— Умерла.

— Бедняжка! А скажите... вы... вы знаете...

Но тут он внезапно замолчал. Затем, сразу побледнев, продолжал дрогнувшим голосом:

— Нет, я лучше не буду говорить об этом. Это слишком волнует меня.

И он встал, как бы желая переменить ход мыслей.

— Хотите, вернемся в дом?

— Ничего не имею против.

Он пошел впереди меня.

Комнаты нижнего этажа были огромные, голые, угрюмые и казались заброшенными. На столах в беспорядке стояли тарелки и стаканы, оставленные там смуглолицыми слугами, непрерывно сновавшими по этому обширному жилищу. На стене висели два ружья, а по углам виднелись сухие пальмовые листья, лопаты, удочки и всякие другие вещи, которые как попало бросают, приходя домой, чтобы в случае нужды иметь их под рукой, уходя.

Мой хозяин улыбнулся.

— Это — жилище, или, вернее, конура, изгнании-

ка,— сказал он. — Но в моей спальне все-таки чище. Пройдемте туда.

Войдя в эту комнату, я подумал, что попал в лавку старьевщика,— столько в ней было странных нескладных, разношерстных вещей, которые можно хранить только ради воспоминаний. На стенах висели два прекрасных рисунка известных художников, ткани, оружие, шпаги, пистолеты и на самом виду посреди главного панно — кусок белого атласа, вставленный в золотую раму.

Я с удивлением приблизился и увидел, что в самом центре блестящего квадрата воткнута шпилька.

Мой хозяин положил мне руку на плечо.

— Вот единственная вещь,— проговорил он с улыбкой,— на которую я здесь смотрю, и единственная, которую я замечаю здесь в течение десяти лет. Прюдом сказал: «Эта сабля — лучший день моей жизни». Я же могу сказать: «Эта шпилька — вся моя жизнь».

Я искал банальных слов для ответа и в конце концов произнес:

— Вы пострадали из-за женщины?

Он перебил меня:

— Скажите лучше, что страдаю непрерывно... Но пойдемте на балкон. У меня за обедом чуть не сорвалось с языка имя, которое я не решился назвать, потому что если бы вы ответили мне, как про Софи Астье, «умерла», я сегодня же покончил бы с собой.

Мы вышли на широкий балкон, с которого были видны два обрамленных высокими серыми скалами залива,— один направо, другой налево. Был сумеречный час, когда солнце, опустившись за горизонт, освещает землю только отсветами неба.

Он продолжал:

— Жанна де Лимур жива?

И его взгляд устремился на меня с трепетной тревогой.

Я улыбнулся.

— Черт возьми!.. Она стала еще красивее, чем раньше.

— Вы ее знаете?

— Да.

Он колебался.

— Очень близко?

— Нет.

Он взял меня за руку.

— Расскажите о ней.

— Но мне нечего рассказывать; она одна из самых очаровательных парижских женщин, или, вернее, «девиц», и весьма высоко котируется. Она живет роскошно, прямо-таки по-княжески. Вот и все.

Он пробормотал: «Я люблю ее», как сказал бы «Я умираю», и внезапно у него прорвалось:

— Да, три года длилась моя страшная и чудесная жизнь с нею. Пять или шесть раз я чуть не убил ее, она же чуть не выколола мне глаза шпилькой, которую вы только что видели. Вот взгляните на это белое пятнышко у меня на левом глазу. Мы любили друг друга! Как объяснить вам эту страсть? Боюсь, что вы не поймете ее.

Вероятно, существует простая любовь, взаимное влечение двух душ и двух сердец, но существует, конечно, и жестокая, неумолимо мучительная любовь — нерасторжимое слияние двух непохожих людей, которые обожают и в то же время ненавидят друг друга.

Эта женщина в три года разорила меня. У меня было четыре миллиона, которые она съела спокойно и безмятежно, проглотила с неизменной улыбкой глаз и губ.

Вы знакомы с ней? В ней есть что-то неотразимое! Что именно? Не знаю. Может быть, ее серые глаза, взгляд которых впивается в вас, как бурав, и застревает, как острие стрелы? Нет, вернее, ее нежная, равнодушная и соблазняющая улыбка, которая, как маска, не сходит у нее с лица. Ее медлительная грация постепенно пленяет вас, струясь, подобно аромату, от ее стройного стана, чуть покачивающегося при ходьбе,— потому, что она не идет, а словно скользит,— от ее красивого, слегка певучего голоса, который кажется музыкой, от ее улыбки и от ее жестов, всегда размеренных, всегда точных и опьяняющих — до того они гармоничны. Три года я ничего не видел на свете, кроме нее! Как я стра-

дал! Ведь она обманывала меня с кем угодно! Для чего? Ни для чего — просто, чтобы обмануть! А когда я узнавал об этом, когда я ругал ее уличной девкой и потаскухой, она спокойно признавалась во всем. «Разве мы обвенчаны?» — спрашивала она.

С тех пор, как я живу здесь, я столько думал о ней, что в конце концов понял ее: эта девушка — возродившаяся Манон Леско. Это Манон, которая не может любить, не обманывая, это Манон, для которой любовь, наслаждение и деньги всегда слиты воедино.

Он помолчал несколько минут, затем продолжал:

— Когда я истратил на нее последнее су, она откровенно сказала мне: «Ну, милый мой, я не могу питаться воздухом. Я вас очень люблю, люблю больше, чем кого бы то ни было, но ведь жить-то нужно. А нищета и я не можем ужиться вместе».

Я ведь уже говорил вам, какое ужасное существование вел с нею! Когда я глядел на нее, мне одинаково хотелось и убить ее и поцеловать. Глядя на нее... я чувствовал бешеную потребность раскрыть объятия, стиснуть и задушить ее. В глубине ее глаз было что-то вероломное и неуловимое, внушавшее мне отвращение; и за это, может быть, я так и любил ее. Женственное начало, отталкивающее и сводящее с ума, женственное начало было в ней сильнее, чем в какой-либо другой женщине. Она была полна, переполнена им, и оно исходило из нее пьянящим и ядовитым флюидом. Она была Женщиной более, чем кто-либо и когда-либо.

И знаете, когда я выходил с нею, она смотрела на всех встречных мужчин такими глазами, как будто взглядом отдавалась каждому из них. Это приводило меня в отчаяние, но еще больше привязывало к ней. Когда эта тварь шла по улице, она уже принадлежала всем, вопреки моему и вопреки ее собственному желанию, ибо такова была ее природа, хотя с виду она была скромна и кротка. Понятно ли вам это?

Какая это была мука! В театре, в ресторане — всюду мне казалось, что ею обладали на моих глазах. И действительно, как только я оставлял ее одну, другие обладали ею.

И вот: я не видел ее десять лет, но люблю ее больше, чем когда-либо раньше!

Ночь опустилась на землю. Воздух был напитан запахом апельсиновых деревьев.

Я спросил:

— Вы еще увидитесь с нею?

Он ответил:

— Черт возьми, конечно! У меня здесь сейчас наличными и в недвижимом имуществе от семисот до восьмисот тысяч франков. Когда мой капитал округлится до миллиона, я все продам и уеду. Этого вполне хватит на год жизни с нею — на целый год! А там прощай. Моя жизнь будет кончена!

Я спросил:

— Ну, а потом?

— Потом? Не знаю. Все будет кончено! Может быть, я попрошусь к ней в лакеи.

ВАЛЬДШНЕПЫ

Вы спрашиваете, дорогая, почему я не возвращаюсь в Париж; вы удивляетесь и почти сердитесь. Довод, который я вам приведу, возмутит вас, конечно: разве может охотник вернуться в Париж в дни перелета вальдшнепов?

Разумеется, я понимаю и даже люблю городскую жизнь, которую проводишь в четырех стенах или на улице, но я предпочитаю жизнь свободную — суровую, жизнь охотника осенью.

Мне кажется, что в Париже я никогда не бываю на воздухе: парижские улицы, в сущности, те же большие общественные залы, только без потолка. Разве можно считать, что дышишь воздухом, когда с двух сторон тянутся стены, когда ноги ступают по деревянной или каменной мостовой, а взгляд повсюду ограничен зданиями и лишен зеленого простора равнин или лесов? Тысячи прохожих задевают, толкают вас, кланяются вам, разговаривают с вами; а если идет дождь и на зонтик льется вода, этого еще далеко не достаточно, чтобы создать впечатление и ощущение природы.

Здесь же я очень ясно и радостно воспринимаю разницу между жизнью в доме и жизнью на воздухе... Но не об этом я хочу с вами говорить...

Итак, вальдшнепы летят.

Надо вам сказать, что я живу в большом нормандском доме, в долине, на берегу речки, и хожу на охоту почти каждый день.

Бывают дни, когда я читаю, и притом читаю такую книгу, которой парижанам некогда заинтересоваться:

это серьезная, глубокая, интересная книга, написанная гениальным ученым-иностранцем, который потратил всю жизнь на исследование одного вопроса и наблюдение одних и тех же явлений, свидетельствующих о воздействии работы наших органов на развитие нашего ума.

Но я все-таки хочу говорить с вами о вальдшнепах. Итак, двое моих друзей, братья д'Оржемоль, и я, мы останемся здесь на весь охотничий сезон вплоть до первых холодов. Потом, как только начнутся заморозки, мы переселимся на их ферму Каннето, около Фекана, потому что там есть восхитительная рощица, божественная рощица, где при перелете останавливаются все вальдшнепы.

Вы знаете д'Оржемолей: это два великана, два первобытных нормандца, два самца старого могучего племени завоевателей, которое когда-то заполонило Францию, захватило и удержало за собой Англию, расселилось по всем берегам Старого света, всюду понастроило городов, пронеслось ураганом над Сицилией, создав там замечательное искусство, победило всех королей, разгромило самые гордые города, перехитрило поповские козни пап, оказавшись лукавее итальянских первосвященников, и зачало детей в постелях всех стран. Д'Оржемоли — нормандцы высшей марки. В них все нормандское: голос, акцент, склад ума, белокурые волосы и глаза цвета моря.

Когда мы вместе, мы говорим на местном наречии, живем, думаем и поступаем по-нормандски, становимся нормандскими землевладельцами и в бо́льшей степени крестьянами, чем сами наши фермеры.

Итак, мы целых две недели ждали вальдшнепов.

Каждое утро старший из братьев, Симон, говорил мне:

— Ну вот, потянуло ветром с востока, скоро начнет подмораживать. Через два дня они прилетят.

А младший, Гаспар, более положительный, нежели брат, прежде чем говорить о заморозках, ждал, чтобы они наступили.

И вот в прошлый четверг он вошел ко мне в комнату на самой заре и закричал:

— Готово! Вся земля побелела. Еще два таких денечка, и мы отправимся в Каннето.

И действительно, через два дня мы отправились в Каннето. Вы, конечно, расхохотались бы, увидев нас. Мы передвигаемся в странном охотничьем экипаже, воздвигнутом когда-то по заказу моего отца. «Воздвигнуть»,— по-моему, единственное слово, подходящее к этому странствующему монументу, вернее — к этому катящемуся землетрясению. Чего только нет там внутри: ящики для провизии, ящики для оружия, ящики для чемоданов, ящики с решетками — для собак. Все может там укрыться, за исключением людей, которые должны торчать на скамейках с перильцами, высоких, как четырехэтажный дом, и установленных на четырех гигантских колесах. Влезают туда, как придется, с помощью ног, рук, а при случае даже зубов, так как нет никакой подножки, чтобы облегчить доступ на это сооружение.

Итак, оба д'Оржемоля и я, облачившись в лапландские одеяния, взбираемся на эту гору. Одеты мы в бараньи тулупы, огромные шерстяные чулки, натянутые поверх панталон, и гетры, поверх шерстяных чулок; на нас черные меховые шапки и белые меховые перчатки. После того как мы устроились, мой слуга, Жан, бросает нам трех пинчеров — Пифа, Пафа и Мусташа. Пиф принадлежит Симону, Паф — Гаспару, а Мусташ — мне. Они напоминают маленьких крокодилов, покрытых шерстью. Они длинные, низкорослые, нескладные, лапы у них вывернутые, и сами они до того мохнатые, что напоминают заросли желтого кустарника. Черные глаза их едва видны под нависшими бровями, а белые клыки скрыты бородою. Их никогда не запирают в конурки, сделанные внутри повозки. Мы оставляем их у себя в ногах, чтобы нам было теплее.

Итак, мы поехали, трясло нас отчаянно. Стоял мороз, крепкий мороз. Мы были довольны. К пяти часам прибыли на место. Фермер, дядюшка Пико, ожидал нас на пороге. Это тоже замечательный тип: невысокого роста, но плотный, коренастый, сильный, как дог, хитрый, как лисица, он всегда улыбается, всегда доволен и умеет все что угодно превращать в деньги.

Пора вальдшнепов и для него бывает большим праздником.

Ферма — старое, обширное строение; она стоит посреди двора, обсаженного яблонями и окруженного

четырьмя рядами буков, которые весь год сражаются с морским ветром.

Мы входим в кухню; там в честь нашего приезда пылает славный огонь.

Стол для нас накрыт около высокого очага, где над ярким пламенем жарится на вертеле жирный цыпленок, истекающий соком в подставленное для него глиняное блюдо.

Нас приветствует фермерша, высокая молчаливая женщина, очень учтивая, целиком поглощенная домашними заботами; голова ее забита делами и цифрами — ценами на хлеб, на птицу, на баранов, на быков. Это женщина, любящая порядок, аккуратная, строгая и пользующаяся уважением в округе.

На другом конце кухни стоит большой стол, за который скоро усядутся все батраки фермы: возчики, пахари, конюхи, поденщицы, пастухи; все эти люди будут есть молча под бдительным оком хозяйки и глядеть, как мы обедаем вместе с дядюшкой Пико, который будет сыпать шутками, чтобы рассмешить нас. Затем, когда все работники насытятся, г-жа Пико быстро и скромно поест одна на уголке стола, присматривая за служанкой.

В обычные дни она обедает со всеми вместе.

Спим мы все трое, д'Оржемоли и я, в совершенно пустой комнате, стены которой выбелены известью; там только три кровати, три стула и три умывальных таза.

Гаспар всегда просыпается первым и звонко играет на рожке утреннюю зорю. Через полчаса все готовы, и мы трогаемся в путь вместе с дядюшкой Пико, который тоже охотится с нами.

Дядюшка Пико предпочитает меня своим хозяевам. Почему? Наверно, потому, что я ему не хозяин. И вот мы вдвоем с ним вступаем в рощу с правой стороны, в то время как оба брата атакуют ее слева. Собаками ведает Симон, он держит их всех трех на одной своркe.

Ведь охотимся мы не на вальдшнепов, а на кроликов. Мы убеждены, что вальдшнепов надо не искать, а находить. На вальдшнепа натыкаются и убивают его, вот и все. Если же вы задались целью напасть на его след, он никогда вам не встретится. Как радостно и занятно слышать в свежем утреннем воздухе короткий

звук ружейного выстрела, а затем громовой рев Гаспара, заполняющий все пространство!

— Вальдшнеп! Готов!

Но я хитер. Когда я убиваю вальдшнепа, я кричу: «Кролик!» — и неистово торжествую, когда мы в полдень, во время завтрака вынимаем из сумок добычу.

Итак, мы вошли, дядюшка Пико и я, в рощицу, где листья, мертвые листья падают с нежным и непрерывным шелестом, сухим и немного печальным шелестом. Стоит мороз, легкий мороз; он щиплет глаза, нос, уши; он запорошил белым инеем верхушки трав и черную пашню. Но под толстым бараньим тулупом по всему телу разлито тепло. Солнце весело сияет в голубом воздухе, оно не греет, но оно веселое. Хорошо охотиться в роще свежим зимним утром.

Вот пронзительно залаяла собака. Это Пиф. Я знаю его тонкий голос. Потом все стихает. Но вот другой лай: это наступила очередь Пафа. Что же делает Мусташ? А, вот и он визжит, как курица, которую душат! Они подняли кролика. Внимание, дядюшка Пико!

Они удаляются, приближаются, расходятся в разные стороны, потом возвращаются снова: мы следуем по непредвиденным зигзагам их пути и бежим узкими тропинками, насторожившись, держа палец на курке.

Они возвращаются в сторону луга, и мы возвращаемся за ними. Вдруг тропинку, словно тень, пересекает серое пятно. Я прицеливаюсь и стреляю. Легкий дымок рассеивается в голубом воздухе, и я замечаю на траве шевелящийся комок белой шерсти. Тогда я кричу изо всех сил: «Кролик, кролик! Готов!» И показываю его собакам, трем мохнатым крокодилам, которые поздравляют меня, виляя хвостами, и затем отправляются искать другого.

Дядюшка Пико догнал меня. Снова затявкал Мусташ. Фермер произнес:

— Это, может быть, и заяц, пойдемте на опушку.

Выходя из рощи, я заметил, что шагах в десяти от меня стоит пастух дядюшки Пико, немой Гарган, завернувшись в огромный бурый плащ, в шерстяном колпаке, и, не отрываясь, вяжет чулок, по обычаю наших пастухов. Я сказал ему, как принято:

— Бог в помощь, пастух!

Он поднял руку для привета, хотя и не слышал моего голоса,— он уловил движение губ.

Я знал этого пастуха целых пятнадцать лет. Пятнадцать лет подряд каждую осень я видел, как он стоит на опушке или посреди поля, стоит неподвижно, и только руки его всегда заняты вязаньем. Стадо следовало за ним, как свора охотничьих собак, послушное одному его взгляду.

Дядюшка Пико сжал мне руку:

— А вы знаете, что пастух убил свою жену?

Я остолбенел:

— Гарган? Глухонемой?

— Да, прошлой зимою. Его судили в Руане. Я вам расскажу об этом.

И он увлек меня в кусты, потому что пастух умел различать слова на губах своего хозяина, словно слышал их. Он понимал только его и при нем не был глухим. Хозяин, со своей стороны, тоже, как колдун, угадывал смысл жестикуляции немого, все движения его пальцев, игру складок на его щеках и мерцание его глаз.

Вот эта простая история из мрачной хроники происшествий, какие разыгрываются иногда и среди полей.

Гарган был сыном мергельщика — одного из тех людей, что работают в каменоломнях, добывая мергель, мягкий, белый, рассыпающийся камень, которым удобряют землю. Он родился глухонемым и с детства был приставлен пасти коров у придорожных канав.

Затем его взял к себе отец дядюшки Пико, и он стал пастухом на ферме. Это был великолепный пастух, преданный, честный да вдобавок и костоправ, хотя его никогда ничему не учили.

Когда хозяином фермы стал, в свой черед, дядюшка Пико, Гаргану минуло тридцать лет, а на вид ему можно было дать все сорок. Он был высокий и худой, с бородой библейского патриарха.

И вот около этого времени местная крестьянка по имени Мартель, очень бедная, умерла, оставив пятнадцатилетнюю девочку, которую прозвали Капелькой за ее неумеренную любовь к водке.

Пико приютил эту нищенку, поручал ей мелкие работы и платил ей за труд только харчами. Она спала в

риге, в хлеву или в конюшне, на соломе или навозе, вообще, где придется, потому что такой голи не отводят постели. Она спала, стало быть, где придется и с кем придется — то с возчиком, то с конюхом. Но случилось так, что вскоре она сошлась с глухим, и сошлась надолго. Что соединило этих убогих? Как они поняли друг друга? Знал ли он женщину до этой амбарной потаскухи, если никогда не перемолвился ни с кем словом? Сама ли она, эта Ева с навозной кучи, явилась в его передвижную хижину или соблазнила его где-нибудь на краю дороги? Неизвестно. Просто в один прекрасный день узнали, что они живут вместе как муж и жена.

Никто этому не удивился. Пико даже нашел эту связь вполне естественной.

Но вот об этом союзе, не освященном церковью, узнал кюре и страшно рассердился. Он начал упрекать г-жу Пико, взывал к ее совести, угрожал ей небесными карами. Что было делать? Вопрос разрешился очень просто: их поженили в церкви и в мэрии. У них обоих не было ничего: у него ни одной целой пары штанов, у нее — ни одной юбчонки без заплат. Стало быть, ничто не мешало удовлетворить требования закона и религии. В течение часа их соединили у мэра и священника и порешили, что все устроилось как нельзя лучше.

Но вскоре во всей округе не стало другой забавы, как наставлять рога бедному Гаргану (простите мне это скверное выражение). Пока он не был женат, никто и не думал спать с Капелькой, а теперь каждый ждал, когда наступит его очередь — хотя бы смеха ради. За спиною мужа у нее побывали решительно все,— стоило лишь поднести ей стаканчик водки. Молва об этом прогремела по всей округе так, что даже господа из Годервиля приезжали полюбопытствовать.

За пол-литра Капелька давала им представление с кем угодно, где-нибудь в канаве или под забором, а всего в сотне шагов от места действия виднелся неподвижный силуэт Гаргана, вязавшего чулок около своего блеющего стада. Во всех местных кафе хохотали до упаду: по вечерам, греясь около огня, только об этом и говорили, а когда люди встречались на дорогах, они задавали друг другу вопрос:

— А ты поднес Капельке капельку?..

Все знали, что это значит.

Пастух, казалось, ничего не замечал. Но вот однажды Пуаро, парень из Сасвиля, знаком подозвал жену Гаргана из-за стога сена, показывая ей полную бутылку. Она поняла и со смехом прибежала к нему, но едва только они начали свое преступное дело, как пастух обрушился на них, словно с облаков. Пуаро убежал вприпрыжку, волоча за собой штаны, а немой, рыча, как зверь, схватил жену за горло.

Люди, работавшие в поле, сбежались. Но уже было поздно: у нее почернел язык, глаза выкатились из орбит, и кровь текла через нос. Она была мертва.

Пастух предстал перед руанским судом. Так как он был немой, Пико вызвали в качестве переводчика. Подробности дела очень забавляли публику. Но у фермера была только одна мысль: добиться оправдания своего пастуха, и он ловко вел к этому.

Сперва он рассказал всю историю глухого и обстоятельства, при которых тот женился, затем, дойдя до преступления, сам начал допрос убийцы.

Все судебное присутствие сидело молча.

Пико медленно спрашивал:

— Ты знал, что она тебя обманывает?

И в то же самое время повторял вопрос глазами.

Гарган отрицательно покачал головою.

— Ты лежал на стогу, когда увидел все?

И он сделал жест человека, который видит нечто отвратительное.

Гарган кивнул утвердительно.

Тогда фермер, подражая жестам мэра, который сочетает гражданским браком, и священника, который соединяет во имя бога, спросил у своего батрака, потому ли он убил жену, что она была связана с ним перед людьми и перед небом.

Пастух утвердительно кивнул головой.

Пико сказал ему:

— Так покажи нам, как это случилось.

Тогда глухой изобразил целую пантомиму. Он показал, как он спал на стоге, как проснулся, почувствовав, что солома шевелится, как потихоньку посмотрел и увидел все происходившее.

Он поднялся и, стоя между двумя жандармами, неожиданно изобразил мимикой все непристойные движения преступной четы, обнимавшейся на его глазах.

Громовой хохот, поднявшийся в зале, вдруг резко оборвался, потому что пастух, поводя безумными глазами, двигая челюстью и длинной бородою, словно кусая что-то, вытянул руки вперед, пригнул голову и начал повторять страшные движения убийцы, который душит живое существо.

Он дико рычал в таком припадке ярости, точно все еще сжимал руками ее горло, так что жандармы были вынуждены схватить его и силой посадить на место, чтобы он успокоился.

Всех охватила дрожь ужаса. Тогда дядюшка Пико, положив руку на плечо своего слуги, сказал просто:

— У этого человека есть честь.

Пастух был оправдан.

Что касается меня, дорогая, я с большим волнением слушал конец этой истории, которую поведал вам, сохранив все грубые слова, чтобы не менять ни в чем рассказа фермера, как вдруг посреди леса раздался ружейный выстрел, и могучий голос Гаспара прогремел в воздухе, как пушечный залп:

— Вальдшнеп! Готов!

Вот как я провожу время, выслеживая мелькающих мимо вальдшнепов, между тем как вы тоже отправляетесь в Булонский лес смотреть на мелькающие мимо вас новые зимние туалеты.

В ВАГОНЕ

Солнце собиралось скрыться за длинным кряжем, над которым возвышался гигантский Пюи-де-Дом, и тень горных вершин уже ложилась на глубокую долину Руайя.

В парке вокруг павильона для музыки прогуливалось несколько человек. Другие все еще сидели группами, несмотря на вечернюю сырость.

В одной из этих групп шел оживленный разговор: беседовали о важном деле, сильно беспокоившем г-жу де Саркань, г-жу де Воласелль и г-жу де Бридуа. Через несколько дней начинались каникулы, и нужно было доставить сюда их сыновей, воспитывавшихся у иезуитов и у доминиканцев.

Предпринять путешествие и привезти лично своих отпрысков ни у одной из этих дам не было ни малейшей охоты, но вместе с тем они не знали ни одного подходящего человека, на которого можно было бы возложить это деликатное поручение. Стояли последние дни июля. Париж уже опустел. Они напрягали память, но не могли вспомнить ни одного имени, которое обеспечило бы им желательные гарантии.

Их беспокойство усугублялось тем, что, несколько дней назад в железнодорожном вагоне было совершено преступление против нравственности. И дамы были уверены, что все проститутки столицы проводят свою жизнь в скорых поездах между Лионским вокзалом и Овернью. К тому же, по словам г-на де Бридуа, в хронике *Жиль Блас* указывалось на присутствие множе-

ства широко известных и вовсе неизвестных «девиц» в Виши, Мон-Дор и Бурбуль. Попасть туда они могли только по железной дороге и возвращаться должны были не иначе, как по железной дороге; мало того, чтобы бывать там каждый день, они, наверно, только и делали, что катались взад и вперед. Значит, порочные женщины облюбовали эту злополучную линию для своих непрерывных поездок. Все три дамы выражали сожаление, что подозрительным женщинам не запрещен доступ на вокзалы.

Роже де Саркань было пятнадцать лет, Гонтрану де Воласелль — тринадцать, а Ролану де Бридуа — одиннадцать. Что делать? Не могли же матери подвергать своих милых детей опасности общения с подобными тварями. Чего бы только дети не наслушались, не насмотрелись, чему бы не научились, проведи они целый день или ночь в купе, где могли оказаться одна или две из этих распутниц да еще вдобавок со своими друзьями?

Положение казалось безвыходным, но в эту минуту мимо проходила г-жа де Мартенсек. Она остановилась поздороваться с приятельницами, а те рассказали ей о своих тревогах.

— Но это все очень просто! — воскликнула она.— Я вам уступлю своего аббата. Я вполне могу обойтись без него двое суток. Воспитание Родольфа от этого не пострадает. Он съездит за вашими детьми и привезет их.

Так и было решено, что молодой и образованный аббат Лекюир, воспитатель Родольфа де Мартенсек, отправится на будущей неделе в Париж за тремя юнцами.

Аббат выехал в пятницу, а в воскресенье утром уже находился на Лионском вокзале вместе с тремя мальчиками, собираясь сесть в восьмичасовой курьерский поезд прямого сообщения, всего несколько дней назад введенный в расписание по общему требованию всех, кто ездит на оверньские курорты.

Аббат прогуливался со своими школьниками по дебаркадеру, как наседка с цыплятами, и подыскивал пустое или же занятое почтенными на вид людьми ку-

пе, так как голова его была набита подробнейшими наставлениями г-жи де Саркань, г-жи де Воласелль и г-жи де Бридуа.

Вдруг он заметил, что перед одной дверцей стоят пожилой господин и пожилая седовласая дама, разговаривая с другой дамой, уже расположившейся в купе. У старика был офицерский орден Почетного легиона, и вообще эти люди казались в высшей степени порядочными. «Это-то мне и нужно»,— подумал аббат. Он велел своим трем питомцам войти и последовал за ними.

Пожилая дама говорила:

— Главное, береги себя, дитя мое.

Молодая отвечала:

— Да, да, мама, не беспокойся.

— Как только почувствуешь себя плохо, вызывай врача.

— Да, да, мама.

— Ну так прощай, детка.

— Прощай, мама.

Начались долгие объятия, потом кондуктор захлопнул все дверцы, и поезд тронулся.

Других пассажиров в купе не оказалось. Аббат был очень доволен, горд своей расторопностью и тут же начал разговор с юношами, вверенными его попечению. В день его отъезда было условлено, что он, с согласия г-жи де Мартенсек, будет репетировать всех трех мальчиков в продолжение вакаций, и ему хотелось ознакомиться со степенью развития и с характерами своих новых воспитанников.

Роже де Саркань, самый старший, был одним из тех худых, бледных и нескладных школьников, которые вытягиваются слишком быстро. Говорил он медленно и с наивными интонациями.

Гонтран де Воласелль, напротив, был еще мал ростом, коренаст, а по натуре хитрый, скрытный, испорченный мальчишка. Он над всем потешался, употреблял в разговоре выражения, заимствованные у взрослых, и любил двусмысленные словечки, повергавшие в беспокойство его родителей.

Самый младший, Ролан де Бридуа, казалось, не имел ни к чему особых склонностей; это был ма-

ленький, добродушный зверек, похожий на своего папашу.

Аббат предупредил их, что они поступают в его распоряжение на оба каникулярных месяца, и прочел им прочувствованную проповедь об их обязанностях по отношению к нему, о правилах, в которых он будет их воспитывать, и педагогических приемах, которые он применит к ним.

Это был честный и простодушный аббат, немного фразер, начиненный всевозможными системами.

Его речь была прервана глубоким вздохом их спутницы. Он обернулся. Она сидела в углу, уставившись глазами в одну точку; щеки ее слегка побледнели. Аббат снова обратился к своим воспитанникам.

Поезд мчался на всех парах, пересекал равнины и леса, пробегал по мостам и под мостами, непрерывно сотрясая ряды пассажиров, запертых в его вагонах.

Гонтран де Воласелль расспрашивал теперь аббата Лекюира, какие развлечения возможны в Руайя. Есть ли там река? Можно ли удить рыбу? Будет ли у него лошадь, как в прошлом году? И так далее.

Вдруг молодая женщина как-то странно вскрикнула или охнула, словно от подавленной боли.

Обеспокоенный священник обратился к ней:

— Вы себя плохо чувствуете, сударыня?

Она ответила:

— Нет, нет, господин аббат, пустяки, мне было немножко больно, но теперь ничего. Я не совсем здорова последнее время, и тряска беспокоит меня.

Лицо ее действительно стало мертвенно-бледным.

Аббат настаивал:

— Может быть, вам что-нибудь нужно, сударыня?..

— О, нет, мне ничего не нужно, господин аббат. Благодарю вас.

Священник возобновил беседу с учениками, подготовляя их к будущим занятиям.

Время бежало. Поезд останавливался на станциях и мчался дальше. Теперь молодая женщина, казалось, спала и не шевелилась, забившись в угол. Хотя прошло уже больше половины дня, она ни разу ничего не съела. «Эта особа, наверно, серьезно больна»,— подумал аббат.

Когда до Клермон-Феррана оставалось только два часа пути, пассажирка внезапно начала стонать. Она почти повалилась на скамью, опираясь всем телом на руки; глаза ее блуждали, черты лица исказились, она повторяла:

— О господи! О господи!

Аббат бросился к ней:

— Сударыня... сударыня... сударыня, что с вами?

Она пролепетала:

— Мне... мне кажется... что... что я... что у меня... начинаются роды...

И тотчас же принялась отчаянно кричать. Она кричала, как сумасшедшая, протяжный вопль, казалось, раздирал ей горло; это был пронзительный, жуткий вопль, и в его зловещих интонациях слышались душевное смятение и телесная мука.

Бедный священник стоял перед нею, растерявшись, не зная, что делать, что сказать, что предпринять, и лишь шептал:

— Господи, если б я только знал... Господи, если б я только знал!

Он был красен до корней волос, а три его воспитанника в полном недоумении смотрели на эту растянувшуюся на диване, кричащую женщину.

Вдруг она скорчилась, схватившись руками за голову, живот ее как-то странно дрогнул, а по всему телу пробежала конвульсия.

Аббат подумал, что она умирает, что она умрет сейчас на его глазах, лишенная помощи и ухода, по его вине. Тогда он сказал решительным голосом:

— Я помогу вам, сударыня. Не знаю, как.. но помогу вам, чем сумею. Я обязан помогать каждому страждущему созданию божьему.

И, повернувшись к трем мальчикам, он крикнул:

— А вы извольте высунуть головы в окошко. Кто обернется, тот перепишет мне тысячу стихов Вергилия.

Он сам опустил три стекла, всунул в окна три детских головы и прикрыл затылки синими занавесками, повторяя:

— Если вы только пошевельнетесь, вы целое лето будете лишены прогулок. И знайте, я никогда не прощаю.

И он повернулся к молодой женщине, засучивая рукава сутаны.

Она стонала по-прежнему, а временами вопила. Аббат, весь побагровев, старался помочь ей, увещевал и утешал ее и в то же время непрерывно бросал взгляды на трех ребят, которые норовили тайком взглянуть на загадочное занятие своего нового воспитателя и быстро отворачивались снова.

— Господин де Воласелль, вы перепишете двадцать раз глагол «ослушаться»! — кричал он.

— Господин де Бридуа, вы останетесь без сладкого на целый месяц!

Непрерывные стоны молодой женщины вдруг прекратились, и почти в ту же секунду странный слабый крик, похожий не то на лай, не то на мяуканье, заставил всех трех школьников разом повернуться: они были убеждены, что это новорожденный щенок.

Аббат держал на руках совершенно голого ребенка и смотрел на него испуганными глазами. Он, казалось, был и доволен и огорчен, не знал, смеяться ему или плакать; лицо его быстрой игрой глаз, губ и щек выражало столько переживаний, что его можно было принять за сумасшедшего.

Он заявил, словно сообщая воспитанникам важную новость:

— Это мальчик!

И тут же продолжал:

— Господин де Саркань, передайте мне бутылку с водой, которая лежит в сетке. Так. Откупорьте ее. Очень хорошо! Налейте мне несколько капель на ладонь, только несколько капель! Великолепно!

И он вылил эту воду на голый лобик маленького существа, которое держал в руках, произнося:

— Крещу тебя во имя отца и сына и святого духа! Аминь!

Поезд входил под своды Клермонского вокзала. В окне показалось лицо г-жи де Бридуа. Тогда аббат, совсем потеряв голову, протянул ей хрупкое человеческое существо, которое он только что принял, и пробормотал:

— Тут с дамой случилось в дороге маленькое происшествие.

По его виду можно было подумать, что он подобрал этого ребенка в сточной канаве; волосы аббата слиплись от пота, белое жабо съехало на плечо, сутана была вся в пятнах. Он непрерывно повторял:

— Они ничего не видели. Ровно ничего. Я ручаюсь за это. Они все время смотрели в окно! Я ручаюсь! Они ничего не видели!

И он вышел из купе с четырьмя мальчиками вместо трех, за которыми его послали, а г-жа де Бридуа, г-жа де Воласелль и г-жа де Саркань, бледные, растерянно переглядывались и не знали, что сказать.

Вечером все три семейства обедали вместе, чтобы отпраздновать приезд школьников на каникулы. Но разговор не клеился: у отцов, у матерей и даже у детей был озабоченный вид.

Вдруг самый младший из мальчиков, Ролан де Бридуа, спросил:

— Мама, а где же аббат нашел этого ребеночка?

Мать уклонилась от ответа:

— Ешь и оставь нас в покое с твоими расспросами!

Он помолчал несколько минут, затем продолжал:

— В вагоне ведь никого не было, кроме той дамы, у которой болел живот. Значит, аббат — фокусник, как Робер Уден, который достал банку с рыбками из-под ковра.

— Замолчи! Это господь бог послал ребенка.

— А куда же господь бог положил его? Я ничего не видал. Он влетел в другое окошко? Скажи!

— Довольно об этом! Замолчи! Он лежал под кочаном капусты, как все маленькие дети. Ты же это хорошо знаешь.

— Но в вагоне не было капусты!

Тогда Гонтран де Воласелль, слушавший с лукавым видом, улыбнулся и сказал:

— Нет, один кочан там был. Но видел его только господин аббат.

СА-ИРА

Я вышел в Барвиле только потому, что прочел в каком-то путеводителе (в каком, уже не помню): прекрасный музей, два Рубенса, один Тенирс, один Рибейра.

Я подумал: «Надо это посмотреть. Пообедаю в «Европейской гостинице»,— по утверждению путеводителя, гостиница превосходная,— а на следующий день поеду дальше».

Музей был закрыт: его открывали только по просьбе путешественников. Открыли его и по моему требованию, и я мог полюбоваться несколькими полотнами мазни, которую хранитель музея, как видно фантазер, приписал величайшим мастерам живописи.

Совершенно не зная, что делать дальше, я очутился в полном одиночестве на длинной улице маленького, незнакомого мне городка, стоявшего посреди бесконечных равнин. Я прошел всю эту «главную улицу», осмотрел несколько жалких магазинов, и так как было всего четыре часа, меня охватил один из тех приступов отчаяния, которые могут довести до сумасшествия самых сильных людей.

Что делать? Господи, что делать? Я готов был заплатить пятьсот франков тому, кто подал бы мне мысль о каком-нибудь развлечении. Ничего не придумав, я решил хотя бы выкурить хорошую сигару и стал искать табачную лавку. Я скоро отыскал ее по красному фонарю и вошел. Продавщица предложила мне на выбор несколько коробок; посмотрев на сига-

ры, я увидел, что они отвратительны, и случайно взглянул на лавочницу.

Это была дородная седеющая женщина лет сорока пяти. Ее полная почтенная физиономия показалась мне знакомой. Однако я совершенно не знал этой дамы! Нет, конечно, не знал! Но, может быть, я где-нибудь встречался с нею? Да, возможно! Мне, вероятно, когда-то давно было знакомо это лицо, а потом я потерял его из виду; да и, несомненно, оно изменилось и непомерно расплылось.

Я пробормотал:

— Простите, сударыня, что я так разглядываю вас, но мне кажется, я когда-то был с вами знаком.

Она ответила, покраснев:

— Странно... Мне тоже это кажется.

Я вскрикнул:

— Ах! Са-Ира!

Она всплеснула руками с комическим отчаянием, в ужасе от этого прозвища, и залепетала:

— О-о, вас могут услышать!

Затем вдруг воскликнула сама:

— Да это ты, Жорж!

И огляделась испуганно, не слышит ли нас кто-нибудь. Но мы были одни, совершенно одни.

Са-Ира! И как только мог я узнать Са-Ира, бедную Са-Ира, худенькую Са-Ира, печальную Са-Ира в этой спокойной и раздобревшей продавщице казенного магазина?

Са-Ира! Сколько воспоминаний внезапно пробудилось во мне: Буживаль, Лягушатня, Шату, ресторан Фурнез, целые дни в ялике, на воде, десять лет моей жизни, прошедших в этом уголке, на этих очаровательных берегах Сены.

Мы составляли тогда банду человек в двенадцать, жили в доме Галупуа, в Шату, и вели довольно забавное существование — всегда полуголые и полупьяные. Нравы любителей гребного спорта с тех пор очень изменились. Теперь эти господа носят монокли.

У нашей банды было около двадцати подруг, постоянных или случайных. В иные воскресные дни у нас их бывало четыре, в другие — все двадцать. Некоторые из них, если можно так выразиться, проживали при нас

неотлучно, другие же приходили, когда не подвертывалось ничего интересней. Пять или шесть из них жили на общий счет — на счет мужчин, не имевших постоянных любовниц; среди них была и Са-Ира́.

Это была жалкая, худая девушка, к тому же хромая, что делало ее похожей на кузнечика. Она была застенчива, неуклюжа и неловка во всех своих поступках. Она боязливо цеплялась за того из нас, кто был всех незначительнее, всех незаметнее, всех беднее, и тот жил с нею иногда день, иногда месяц — смотря по средствам. Как она очутилась в нашей компании, никто не знал. Попалась ли она нам на какой-нибудь вечерней попойке или на балу гребцов-любителей, когда мы устраивали нечто вроде облав на женщин? Или мы просто пригласили ее к завтраку, видя, что она одиноко сидит в углу за маленьким столиком? Никто из нас не мог бы это сказать, но она была членом нашей банды.

Мы окрестили ее именем Са-Ира́, потому что она постоянно жаловалась на свою судьбу, на свои неудачи, на свои огорчения. Каждое воскресенье ее спрашивали:

— Ну, как дела, Са-Ира́?

И она всегда отвечала одно и то же:

— Неважно, но надо надеяться, когда-нибудь все пойдет на лад.

Каким образом это жалкое, угловатое и нескладное существо начало заниматься ремеслом, требующим наибольшего изящества, ловкости, хитрости и красоты? Это оставалось тайной. Впрочем, Париж полон жриц любви настолько некрасивых, что они не прельстят и жандарма.

Что же делала она в течение остальных шести дней недели? Несколько раз она говорила нам, что работает. Но чем она занимается, этого мы не знали, ее повседневная жизнь нас не интересовала.

Затем я почти потерял ее из виду. Наш кружок понемногу распался, уступив место новому поколению, которому осталась в наследство и Са-Ира́. Я слышал об этом, так как продолжал изредка завтракать в ресторане Фурнеза.

Наши преемники, не зная, почему мы так ее окрестили, решили, что это — восточное имя, и стали на-

зывать ее Заирой; потом и они оставили свои лодки вместе с несколькими подругами следующему поколению (поколение любителей гребного спорта живет на воде три года, а затем покидает Сену и вступает в магистратуру, в сословие врачей или в политическую жизнь).

Тогда Заира стала Зарой, а затем, еще позже, Зара изменилась в Сару. И ее стали считать дочерью Палестины.

Последние, те, которые носили монокль, уже называли ее просто «Еврейкой».

Затем она исчезла.

И вот я вновь встретил ее в Барвиле за прилавком табачного магазина.

Я спросил:

— Ну, теперь дела лучше?

Она ответила:

— Немного лучше.

Меня охватило любопытство, мне захотелось узнать жизнь этой женщины. В прежние времена я бы и не подумал расспрашивать ее, но теперь я был заинтересован, полон любопытства и настоящего интереса. Я спросил ее:

— Как же ты сумела добиться удачи?

— Не знаю. Она пришла оттуда, откуда я ее меньше всего ожидала.

— Так она выпала на твою долю в Шату?

— О, нет!

— А где же?

— В Париже, в меблированных комнатах, где я жила.

— Да? Ты, кажется, работала в Париже?

— Да, у мадам Равле.

— Кто это мадам Равле?

— Как, ты не знаешь мадам Равле?

— Да нет же.

— Это модистка. Известная модистка на улице Риволи.

И она стала вспоминать всякие подробности своего прежнего существования, раскрывая множество тайн парижской жизни, закулисный быт модного магазина, нравы его продавщиц, их приключения, мечты, целую

историю сердечной жизни работницы — этого ястреба тротуаров, который охотится на улице и утром, идя на работу, и в полдень, слоняясь с непокрытой головой во время обеденного перерыва, и вечером, возвращаясь домой.

Радуясь возможности поболтать о старине, она говорила:

— Если бы ты знал, какие мы были бестии... какие штуки откалывали! Каждый день рассказывали друг другу о новых проделках. До чего же можно издеваться над мужчинами! Ты и понятия не имеешь.

Сама я смошенничала в первый раз из-за дождевого зонта. У меня был старый-престарый зонтик, из альпага, такой, что стыдно было смотреть. Однажды в дождливый день, когда я вошла в мастерскую и начала его закрывать, большая Луиза и говорит мне: «Как ты можешь ходить с таким зонтиком?»

«Другого нет, а с финансами у меня сейчас плохо».

С финансами у меня всегда было плохо!

Она отвечает мне: «Сходи за новым в церковь Мадлен».

Я удивилась. А она говорит: «Мы все их берем там, их там сколько хочешь».

И она объяснила мне, как это делается. Оказалось, очень просто.

Я отправилась вместе с Ирмой в Мадлен. Находим причетника и объясняем ему, что забыли зонтик на прошлой неделе. Тогда он спрашивает нас, какая у него ручка, и я описываю ручку с агатовым шариком. Он вводит нас в комнату, где стоит штук пятьдесят потерянных зонтиков, мы перебираем их все, но моего не находим. Зато я присматриваю очень красивый, с резной ручкой из слоновой кости. Луиза отправляется за ним несколько дней спустя. Она описывает его, не видя, и ей отдают зонтик без малейшего колебания.

Для таких проделок мы одевались очень шикарно...

Она смеялась, открывая и закрывая большой табачный ящик с крышкой на шарнирах.

Она продолжала:

— Да, разные бывали проделки, и еще какие смешные! В мастерской нас работало пятеро: четыре так себе, а одна очень красивая — Ирма, красавица Ирма.

Она отлично умела держать себя, и у нее был любовник из Государственного совета. Это не мешало ей здорово надувать его. Вот как-то зимой она и говорит нам: «Знаете, мы с вами сейчас разыграем замечательную штуку».

И она рассказала нам свой замысел.

Ирма, знаешь ли, была так сложена, что у мужчин голова шла кругом: какая талия, а бедра,— у всех прямо слюнки текли! Вот она и придумала, как нам заработать по сто франков на кольца, и подстроила такую штуку.

Ты знаешь, что я тогда была небогата, да и другие были немногим богаче меня; дела шли плохо, мы зарабатывали в магазине сто франков в месяц, и ничего больше. Нужно было изворачиваться. Конечно, у каждой из нас было два — три постоянных любовника, и они кое-что давали, но немного. В полдень на прогулке удавалось иногда залучить какого-нибудь господина, который возвращался и на следующий день; его держали недели две, а потом отпускали. Но от таких мужчин никогда не бывает большого дохода. А Шату — это было только для удовольствия. Ах, если бы ты знал, на какие уловки мы пускались; право, можно лопнуть от хохота. Так вот, когда Ирма предложила нам заработать по сто франков, мы прямо загорелись. То, что я тебе собираюсь рассказать, очень скверно, но ничего, ты ведь знаешь жизнь, да и потом, кто провел четыре года в Шату...

Так вот, Ирма сказала: «Мы подцепим на балу в Опере самых лучших парижских кавалеров, самых изысканных и самых богатых. Я их знаю».

Мы сперва не поверили, потому что такие кавалеры не для модисток,— для Ирмы еще туда-сюда, но не для нас. Ах, до чего же она была шикарна, эта Ирма! Знаешь, мы говорили между собою в мастерской, что, если бы император знал нашу Ирму, он обязательно женился бы на ней.

На этот раз она велела нам одеться получше и сказала: «На бал вы не пойдете, а каждая из вас будет ждать в фиакре, на улице по соседству. Придет господин и сядет к вам в карету. Лишь только он усядется, поцелуйте его как можно нежнее, а затем вскрикните

от удивления, будто вы ошиблись и ждали другого. Голубок наш увидит, что забрался на чужое место, это его разожжет, и он захочет занять это место силой: вы начнете сопротивляться, сделаете вид, будто гоните его... а потом... поедете с ним ужинать... И тогда ему придется основательно раскошелиться, чтобы утешить вас».

Ты еще ничего не понимаешь, не правда ли? Ну, так вот что она сделала, разбойница.

Она рассадила всех нас четверых в четыре кареты, вполне приличные кареты, и разместила на улицах рядом с Оперой. Затем пошла на бал — совершенно одна. Она знала по именам самых известных мужчин в Париже, потому что хозяйка была поставщицей их жен; так вот она выбрала сперва одного кавалера и стала интриговать его. Чего только она ему не наговорила,— ведь она к тому же была и неглупа. Увидев, что достаточно вскружила ему голову, она сняла маску, и он сразу попался в силки. Ему, конечно, захотелось увести ее с собой сию же минуту, но она назначила свидание через полчаса в карете, которая будет стоять против дома № 20 по улице Тетбу. А в этой карете сидела я! Я была хорошо закутана и лицо закрыла вуалью. И вот вдруг какой-то господин просовывает голову в окошко и спрашивает: «Это вы?». Я отвечаю чуть слышно: «Да, я, входите скорее».

Он входит, я бросаюсь к нему на шею и целую, да так целую, что у него дух захватывает. Тогда я говорю: «О, как я счастлива, как я счастлива!»

И вдруг вскрикиваю: «Да это не ты! О боже мой, о боже мой!»

И начинаю плакать.

Представляешь себе, в каком замешательстве он оказался! Сперва он пытался утешить меня, просил извинения, уверял, что тоже ошибся!

А я все плакала, но уже не так сильно, а главное, тяжело вздыхала. Тогда он начал говорить мне нежные слова. Это был человек благовоспитанный, и, кроме того, его уже забавляло, что я понемногу перестаю плакать.

Короче говоря, дело кончилось тем, что он предложил мне поужинать. Я отказалась, я хотела выскочить

из кареты, но он удержал меня за талию, а потом стал целовать меня, как я целовала его, когда он вошел.

А потом... А потом... мы... поужинали... понимаешь... и он дал мне... Ну, угадай, сколько... Он дал мне пятьсот франков!.. Бывают же такие щедрые люди!

Словом, шутка всем нам удалась.. Только Луиза получила меньше других, всего двести франков. Но, право, Луиза уж очень была худа!

Женщина продолжала рассказывать, спеша выложить все воспоминания, какие накопились за долгие годы в замкнувшемся сердце почтенной продавщицы казенного киоска. Все это убогое и нелепое прошлое волновало ей душу. Она жалела о легкомысленной и безалаберной жизни на парижских панелях — о жизни, где были лишения и продажные ласки, смех и нищета, хитрые уловки, а порою и настоящая любовь.

Я спросил ее:

— Но как ты добыла себе табачную лавку?

Она улыбнулась.

— О, это целая история! Представь себе, что в меблированных комнатах, где я жила, напротив меня поселился студент-юрист,— знаешь, из тех студентов, которые ничего не делают. Он с утра до вечера не выходил из кафе и так любил бильярд, что другого такого любителя мне никогда не приходилось видеть.

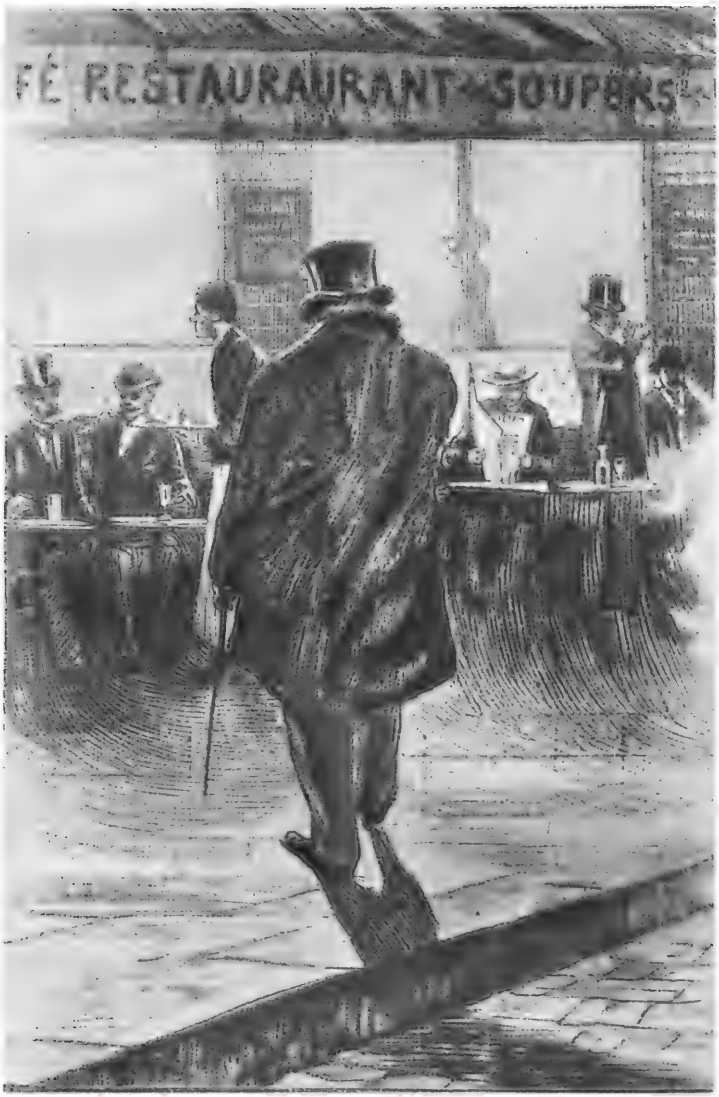
Когда я бывала одна, мы с ним иногда проводили вечер вместе. От него у меня и Роже.

— Кто это Роже?

— Мой сын.

— А!

— Он выдавал мне небольшую пенсию на воспитание мальчишки, и я считала, что с него ничего больше не получишь, потому что такой лодырь мне никогда еще не попадался. На десятом году он все еще сдавал первый экзамен. Когда его родные увидели, что из него не будет толку, они вызвали его обратно к себе в провинцию; но мы продолжали переписываться из-за ребенка. И вот, представь себе, два года тому назад я узнаю, что его избрали депутатом у него на родине. А затем он начал произносить речи в Палате. Верно говорят:



Худ. Жюльян-Дамази. «ГОСПОДИН ПАРАН».

Худ. Сегонзаг. [1934]. «У ПОСТЕЛИ».

в царстве слепых и кривой... Ну, словом, я к нему пошла, и он тотчас выхлопотал мне табачную лавку, как дочери политического ссыльного... Мой отец действительно был сослан, но я никогда не думала, что это может принести мне пользу.

В конце концов... Но вот и Роже.

Вошел высокий молодой человек, благовоспитанный, солидный, несколько напыщенный.

Он поцеловал мать в лоб, и она сказала мне:

— Вот, сударь, мой сын, начальник отдела в мэрии... Знаете, будущий супрефект.

Я вежливо раскланялся с этим чиновником и пошел к себе в гостиницу, с серьезным видом пожав протянутую руку Са-Ира́.

СЮРПРИЗ

Пароход был полон пассажиров. На море стояло затишье, и обитатели Гавра решили проехаться в Трувиль.

Отдали канаты: последний свисток возвестил об отплытии; тотчас же весь пароход содрогнулся, и вдоль его бортов зашумела всколыхнувшаяся вода.

Колеса вертелись несколько секунд, потом остановились и потихоньку завертелись снова. Когда же капитан, стоявший на мостике, крикнул через рупор в недра машинного отделения: «Полный ход!»,— колеса быстро зашлепали по воде.

Мы двигались вдоль мола, усеянного народом. Люди на пароходе махали платками, словно уезжали в Америку, и друзья, оставшиеся на суше, отвечали тем же.

Лучи горячего июльского солнца падали на красные зонтики, на светлые платья, на веселые лица, на океан, чуть зыбившийся мелкими волнами. Выйдя из порта, маленькое судно повернуло и направило свой острый нос на далекий берег, смутно видневшийся сквозь утренний туман.

Влево от нас открывалось устье Сены шириной в двадцать километров. Там и сям огромные бакены отмечали песчаные мели, и видно было, как вдалеке через бескрайную чистую и зеленую гладь открытого моря протягивались желтой лентой пресные тинистые воды реки, не смешиваясь с соленой морской водою.

Стоит мне подняться на палубу, как у меня является потребность ходить взад и вперед по пароходу, словно

матросу на вахте. Почему? Сам не знаю. И вот я начал слоняться по палубе в толпе пассажиров.

Вдруг меня окликнули. Я обернулся. Это был один из моих старых друзей, Анри Сидуан, с которым я не встречался целых десять лет.

Мы пожали друг другу руки и заговорили о том, о сем, продолжая вместе эту прогулку медведя в клетке, которую я раньше совершал один. Болтая, мы посматривали на два ряда пассажиров, сидевших по обеим сторонам палубы.

Вдруг Сидуан произнес с неподдельным бешенством:

— Здесь полно англичан! Что за гадкий народ!

Действительно, англичан было полно. Мужчины, стоя, с важным видом обозревали в бинокль горизонт, словно заявляя: «Это мы, англичане, хозяева морей. Бум! Бум! Это мы!»

И белые вуали развевались вокруг их белых шляп, словно знамена их самомнения.

Молодые плоскогрудые мисс в ботинках, напоминавших морские корабли их родины, в пестрых шалях, стягивавших их прямые торсы и худые плечи, рассеянно улыбались ослепительному пейзажу. Маленькие головки, торчавшие на этих длинных телах, были прикрыты английскими шляпами странной формы, а пучки жидких волос на затылках напоминали свернувшихся в клубок ужей. Старые мисс, еще более тощие, широко разевали свои национальные челюсти, вдыхая морской воздух, и, казалось, грозили пространству огромными желтыми зубами.

Вблизи них ощущался запах резины и зубного эликсира.

Сидуан повторил с нарастающим раздражением:

— Подлый народ! Неужели нельзя запретить им въезд во Францию?

Я спросил с улыбкой:

— За что ты на них так зол? Мне вот, например, они глубоко безразличны.

Он произнес:

— Да, черт возьми, тебе безразличны! Но я-то ведь женат на англичанке. Вот в чем штука!

Я остановился и громко расхохотался:

— Ах, черт подери! Расскажи. Значит, ты с ней очень несчастлив?

Он пожал плечами:

— Нет, не совсем.

— Тогда... она... она... она тебе изменяет?

— К несчастью, нет. Это было бы поводом к разводу, и я бы отделался от нее.

— Ну, так я ничего не понимаю!

— Не понимаешь? Это меня вовсе не удивляет. Просто-напросто она выучилась говорить по-французски, вот и все. Слушай же.

У меня не было ни малейшего желания жениться, когда я два года тому назад решил провести лето в Этретà. Нет ничего опаснее этих морских курортов. Невозможно и представить себе, как выигрывают там молоденькие девицы. Париж принадлежит женщинам, курорты — девушкам.

Прогулки на осликах, утренние купания, завтраки на траве — сколько брачных капканов! И действительно, нет ничего прелестнее восемнадцатилетней девушки, когда она резвится в поле или собирает придорожные цветы.

Я познакомился с одним английским семейством, поселившимся в том же отеле, что и я. Папаша походил на этих вот субъектов, а мать — на всех англичанок.

У них было двое сыновей, двое костлявых юнцов, которые с утра до вечера играли в самые буйные игры мячами, дубинками, ракетками; затем у них были две дочери: старшая — тоже сухая, законсервированная англичанка, а младшая — прямо чудо. Блондинка, светлая блондинка, с головкой небожительницы! Уж когда они, негодницы, вздумают быть красивыми, тогда они просто божественны. У этой девушки были синие глаза, такие синие глаза, в которых словно таится вся поэзия, все мечты, все надежды, все земное счастье!

Какой беспредельный простор фантазии открывают такие женские глаза! Как все это отвечает вечным смутным ожиданиям нашего сердца!

Да и надо сказать, что мы, французы, обожаем иностранок. Стоит нам встретить мало-мальски хорошенькую русскую, итальянку, шведку, испанку или англичанку, как мы тотчас же влюбляемся в нее. Все загра-

ничное приводит нас в восторг: сукно для брюк, шляпы, перчатки, ружья и... женщины.

Однако мы сильно заблуждаемся!

Мне кажется, что всего больше нас чарует в этих экзотических созданиях их неправильное произношение. Если женщина плохо говорит по-французски, она кажется нам прелестной, если она делает ошибки решительно в каждом слове, она восхитительна, но если она лепечет что-то уж совершенно невразумительное, она становится неотразимой.

Ты не представляешь себе, как прелестно звучит в милых розовых устах: «Я ошинь лублу жиго».

Моя маленькая англичанка Кэт говорила на каком-то невероятном языке. Она изобретала такие неожиданные слова, что в первые дни я ровно ничего не понимал, а потом окончательно влюбился в этот веселый и комический арго.

Самые нелепые, самые смешные, самые исковерканные слова в ее устах приобретали неподражаемое очарование, и по вечерам на террасе Казино мы вели долгие разговоры, похожие на игру в словесные загадки.

Я женился на ней. Я полюбил ее безумно, как можно полюбить только Мечту. Ибо истинные влюбленные любят только мечту, воплощенную в образе женщины.

Ты помнишь удивительные стихи Луи Буйлэ:

> И в годы лучшие, ища моей улыбки,
> Была ты лишь струной, а я всегда смычком,
> И, как мелодиям на гулком теле скрипки,
> Своей мечте велел я в сердце петь твоем [1].

Так вот, дорогой мой, моей единственной ошибкой было то, что я нанял для жены учителя французского языка.

Пока она истязала словарь и мучила грамматику, она была мне мила.

Наши беседы были несложны. В них раскрывалась поразительная грация ее существа и ни с чем не сравнимое изящество жестов. Эти беседы делали ее в моих глазах чудесной говорящей игрушкой, живой куклой, созданной для поцелуев, умеющей кое-как перечислять то, что она любит, издавать иногда причудливые вос-

[1] Перевод Б. В. Горнунга.

клицания и самым неожиданным и непонятным образом, но тем более пленительно, выражать свои несложные чувства и переживания.

Она очень напоминала красивые игрушки, которые вместо «папа» и «мама» произносят «бааба» и «баамбам».

Но мог ли я предвидеть, что...

Теперь она говорит... Она говорит... плохо... очень плохо... делает столько же ошибок... но ее можно понять... я понимаю ее... я знаю... я ее знаю...

Я распорол свою куклу, желая поглядеть, что у нее внутри... и увидел... И теперь мне надо с ней разговаривать, дорогой мой.

Ах, ты не знаешь, какие мнения, какие мысли, какие теории свойственны молодой, хорошо воспитанной англичанке, которую я, в сущности, не могу упрекнуть ни в чем, но которая с утра до вечера повторяет мне все прописные фразы из лексикона, принятого в пансионе для благородных девиц.

Видал ли ты котильонные сюрпризы, красивые золотые бумажки, в которые завернуты несъедобные конфеты? Мне достался такой сюрприз. Я раскрыл его. Я захотел съесть то, что было внутри, но испытал такое отвращение, что и сейчас меня тошнит, как только я увижу одну из соотечественниц моей супруги.

Я как будто женился на попугае, которого старая английская классная дама выучила говорить по-французски. Ты понимаешь?

Уже показались заполненные народом деревянные мостки пристани Трувиля.

Я спросил:

— Где же твоя жена?

— Я отвез ее в Этрета.

— Ну, а ты куда направляешься?

— Я? Еду в Трувиль развлечься.

Помолчав, он добавил:

— Ты не представляешь себе, до чего иногда может быть глупа женщина.

ОДИНОЧЕСТВО

Мы только что весело пообедали в мужской компании. Один из участников обеда, старый мой приятель, сказал мне:

— Давай пройдемся пешком по Елисейским Полям.

И мы пошли медленным шагом по длинной аллее, под деревьями, едва опушенными листвой. Кругом ни звука, только обычный глухой и неустанный гул Парижа. Свежий ветерок веял в лицо, по черному небу золотой пылью были рассыпаны мириады звезд.

Спутник мой заговорил:

— Сам не знаю отчего, здесь мне ночью дышать вольнее, чем где-либо. И легче думать. У меня здесь бывают минуты такого озарения, когда чудится, что вот-вот проникнешь в божественную тайну мироздания. Потом просвет исчезает. И все кончается.

Временами мимо нас, прячась под деревьями, скользили две тени; мы проходили мимо скамеек, где двое, сидя рядом, сливались в одно черное пятно.

Мой приятель вздохнул:

— Бедные люди! Они внушают мне не отвращение, а безмерную жалость. Из всех загадок человеческого бытия я разгадал одну: больше всего страдаем мы в жизни от вечного одиночества, и все наши поступки, все старания направлены на то, чтобы бежать от него.

И они, эти любовники, приютившиеся на скамейках под открытым небом, подобно нам, подобно всем живым тварям, стремятся хотя бы на миг не чувствовать себя одинокими; но они, как и мы, всегда были и будут одиноки.

Иные ощущают это сильнее, другие слабее — вот и вся разница.

С некоторых пор меня мучает жестокое сознание страшного одиночества, в котором я живу и от которого нет, слышишь ты, нет спасения!

Что бы мы ни делали, как бы ни метались, каким бы ни был страстным порыв наших сердец, призыв губ и пыл объятий,— мы всегда одиноки.

Я уговорил тебя пойти погулять, чтобы не возвращаться домой, потому, что мне теперь нестерпимо безлюдье моего жилища. Но чего я достиг? Я говорю, ты слушаешь, и оба мы одиноки, мы рядом, вместе, но мы одиноки. Понимаешь ты это?

Блаженны нищие духом, сказано в писании. Им кажется, что они счастливы. Им, этим нищим духом, непонятна наша одинокая тоска, они не бредут по жизни, как я, не зная другой близости, кроме мимолетных встреч, не зная другой радости, кроме сомнительного удовлетворения, что именно я увидел, понял, разгадал и выстрадал сознание нашей непоправимой вечной разобщенности.

По-твоему, у меня голова не в порядке? Выслушай меня. С тех пор, как мне стало ясно, до какой степени я одинок, мне кажется, будто изо дня в день я все глубже спускаюсь в угрюмое подземелье, стен его я не могу нащупать, конца ему я не вижу, да и нет у него, быть может, конца! Я иду, и никто не идет вместе со мной, рядом со мной, больше ни один человек не совершает этого мрачного пути. Это подземелье — жизнь. Временами мне слышится шум, голоса, крики... Я ощупью пробираюсь навстречу этим невнятным звукам, но я не знаю, откуда они доносятся; я никого не встречаю, никто в этих потемках не протягивает мне руки. Понимаешь ты меня?

Бывали порой люди, которые угадывали эту нестерпимую муку. Мюссе восклицал:

Кто-то зовет меня, шепчет уныло...
Кто-то вошел. Моя келья пуста.
Нет никого, это полночь пробило...
О одиночество! О нищета![1]

Но у него это была лишь случайная догадка, а не бесповоротная уверенность, как у меня. Он был поэт; он населял жизнь видениями и мечтами. Он никогда не был по-настоящему одинок. Вот я — я одинок! Недаром Гюстав Флобер, один из величайших несчастливцев в мире, потому что он был одним из величайших ясновидцев, написал женщине-другу такие безнадежные строки: «Все мы живем в пустыне, никто никого не понимает».

Да, никто никого не понимает, что бы люди ни воображали, ни говорили, ни пытались сделать. Ведь не знает земля, что творится вон там, на звездах, огненным зерном разметанных на таком далеком пространстве, что до нас доходит сияние только немногих из них, а несметные полчища остальных затеряны в беспредельности, и таких близких между собой, что, быть может, они составляют единое целое, молекулы одного тела.

Так вот, человек столько же знает о том, что творится в другом человеке. Мы дальше друг от друга, чем звезды небесные, а главное, больше разобщены, потому что мысль непостижима.

Какая это пытка — постоянно соприкасаться с теми, кого нам не дано понять!

И любим мы так, словно нас приковали рядом, к одной стене, и мы простираем друг к другу руки, но соединиться не можем. Мучительная потребность полного слияния томит нас, но все усилия наши бесполезны, порывы напрасны, признания бесплодны, объятия бессильны, ласки тщетны. Стремясь слиться воедино, мы устремляемся друг к другу и лишь ушибаемся друг о друга.

Сильнее всего ощущаю я одиночество, когда раскрываю сердце другу, потому что непреодолимость преграды становится мне тогда еще виднее. Вот он здесь, передо мной, смотрит на меня ясным взглядом, но ду-

[1] Перевод А. Н. Апухтина.

ша, скрытая за этим взглядом, недоступна мне. Он слушает меня. А что он думает? Да, что он думает? Понимаешь ты, как это страшно? Что, если он ненавидит меня? Или презирает? Или издевается надо мной? Он обдумывает мои слова, порицает меня, осуждает, решает, что я ограничен или глуп. Как узнать, что́ он думает? Как узнать, любит ли он меня, как я люблю его? Какими мыслями полна эта круглая, как шар, голова? Какая непостижимая тайна — неведомая мысль другого человека, скрытая и вольная мысль, которую мы не можем ни узнать, ни направить, ни подчинить, ни побороть!

А сам я, сколько ни стараюсь отдаться весь, целиком, распахнуть настежь двери моей души,— я не могу открыться до конца. Где-то в глубине, в самой глубине остается тот тайник моего «я», куда нет доступа никому. Никому не дано найти его, проникнуть в него, потому что никто не похож на меня, никто никого не понимает.

А ты, понимаешь ты меня хоть сейчас? Нет, ты считаешь, что я не в своем уме! Ты наблюдаешь меня со стороны, и я чужд тебе! Ты думаешь: «Что это с ним сегодня?» Но если когда-нибудь ты постигнешь, разгадаешь до конца мою ужасную и утонченную муку, приди и скажи только: «Я понял тебя!» И ты сделаешь меня счастливым хотя бы на миг.

Женщины, как никто, заставляют меня ощущать одиночество.

Горе мне! Горе! Сколько я выстрадал из-за них, потому что они чаще и больше, чем мужчины, создавали мне иллюзию, будто я не одинок! Когда приходит любовь, душа наполняется неземным блаженством. А знаешь почему? Знаешь, отчего это ощущение огромного счастья? Только оттого, что мы воображаем, будто пришел конец одиночеству. Мы думаем, что перестанем быть заброшенными, затерянными в мире. Какое заблуждение!

Еще больше, чем нас, чем наши одинокие сердца, терзает вечная жажда любви женщину — женщину, этот великий обман мечты.

Ты и сам переживал чудесные часы подле этих длинноволосых обольстительниц с чарующим взглядом.

Какой бред туманит наш рассудок! Какое самообольщение увлекает нас!

Не правда ли, так и кажется, что сейчас, сию минуту, мы с ней будем одно. Но эта минута не наступает никогда, и после долгих недель ожиданий, надежд, обманчивых наслаждений приходит день, когда я остаюсь одинок, более одинок, чем прежде.

С каждым поцелуем, с каждым объятием отчуждение растет. И как это больно, как ужасно!

Ведь написал же один поэт, г-н Сюлли Прюдом:

> О трепет ласк людских! Как жалок твой удел,
> Беспомощной любви бесплодная попытка
> Достичь слиянья душ в сплетенье наших тел...[1]

А затем — прощай! Все кончено. И уже с трудом узнаешь ту женщину, которая была для нас всем в какую-то минуту нашей жизни и в чей сокровенный и без сомнения пошлый внутренний мир нам так и не удалось заглянуть! Даже в минуты таинственного слияния двух существ, полного смешения чувств и желаний, когда я, казалось, проникал до самых недр ее души, одно слово, маленькое словечко, показывало мне, как я заблуждался, и, точно молния во мраке, освещало бездну, зияющую между нами.

И все-таки лучшая отрада на земле — провести вечер подле любимой женщины, ничего не говоря и чувствуя себя почти счастливым от одного ее присутствия. Не будем требовать большего, ибо полное единение двух человеческих существ невозможно.

Я же теперь замкнулся в себе. Я не говорю уже никому, во что верю, что думаю, что люблю. Зная, что я обречен на жестокое одиночество, я смотрю на окружающий меня мир и никогда не высказываю своего суждения. Какое мне дело до человеческих мнений, распрей, удовольствий, верований! Я ничем не могу поделиться с другими и охладел ко всему. Мой внутренний мир, незримый для всех, для всех недоступен. На обыденные вопросы я отвечаю общими фразами и улыбкой, которая говорит «да», когда у меня нет охоты тратить слова.

---

[1] Перевод Б. В. Горнунга.

Ты понял меня?

Мы прошли всю аллею вплоть до Триумфальной арки, потом вернулись к площади Согласия, так как излагал он все это очень медленно и говорил еще многое другое, чего я не запомнил.

Вдруг он остановился и указал рукой на высокий гранитный обелиск, стоящий посреди парижской площади и своим длинным египетским профилем уходящий в звездное небо, на одинокий памятник, отторгнутый от родины, история которой странными письменами запечатлена на его гранях.

— Смотри, все мы подобны этому камню,— промолвил мой приятель.

И ушел, не добавив ни слова.

Был ли он пьян? Был ли он безумец? Или мудрец? До сих пор не могу решить. Иногда мне кажется, что он был прав; а иногда — что он потерял рассудок.

У ПОСТЕЛИ

В камине пылал яркий огонь. На японском столике стояли друг против друга две чайные чашки, а рядом с ними дымящийся чайник, сахарница и графинчик рома.

Граф де Саллюр бросил цилиндр, перчатки и шубу на стул, а графиня, сняв бальную накидку, поправляла перед зеркалом прическу. Она приветливо улыбалась своему отражению, взбивая кончиками тонких, сверкающих перстнями пальцев завитки на висках. Затем она повернулась к мужу. Тот уже несколько секунд смотрел на нее как бы в нерешительности, точно его смущала какая-то сокровенная мысль.

Наконец он сказал:

— Что же, достаточно за вами ухаживали сегодня вечером?

Она взглянула ему прямо в глаза вызывающим взглядом, в котором горело пламя торжества и задора, и ответила:

— Еще бы!

Потом села на свое место. Граф поместился напротив и, разламывая бриошь, продолжал:

— Это было даже немного скандально... для меня!

Она спросила:

— Что такое — сцена ревности? Вы собираетесь делать мне упреки?

— Нет, дорогой друг, я хочу только сказать, что этот господин Бюрель держал себя с вами почти неприлично. И если... если... если бы я имел право, я рассердился бы.

— Будьте откровенны, милый друг. Просто-напросто сегодня вы думаете по-иному, чем год назад. В ту пору, когда я узнала, что у вас есть любовница, которой вы увлечены,— вас совершенно не интересовало, ухаживают за мною или нет. Я высказала вам свою обиду, я сказала вам — но с бóльшим основанием — то же, что вы говорите сегодня вечером мне: «Друг мой, вы набрасываете тень на госпожу де Серви, а мне причиняете страдание и ставите меня в смешное положение». Что же вы ответили? О, вы ясно дали мне понять, что я свободна, что брак между рассудительными людьми является только соединением материальных интересов, союзом социальным, а не духовным! Ведь это правда? Вы дали мне понять, что ваша любовница бесконечно лучше, обольстительнее, женственнее меня! Вы так и сказали: женственнее. Все это было выражено, разумеется, так осторожно, как подобает воспитанному человеку, со всевозможными комплиментами и с деликатностью, которой я отдаю должное. Однако я все поняла.

Тогда же было решено, что мы не разведемся, но будем жить раздельно. Нас связывал ребенок.

Вы чуть ли не намекнули мне, что требуете только соблюдения приличий и что я могу, если захочу, завести себе любовника,— лишь бы это оставалось тайной. Вы долго и очень красноречиво разглагольствовали об изворотливости женщин, об их умении сохранять внешнюю благопристойность и так далее.

Я поняла, мой друг, отлично поняла. Вы тогда еще очень, очень сильно любили госпожу де Серви, а моя законная, освященная браком нежность стесняла вас и ограничивала, должно быть, ваши возможности. Мы стали с тех пор жить раздельно. Мы вместе бываем в свете, вместе возвращаемся домой, а затем расходимся по своим спальням.

Но вот уже месяц или два, как у вас появились повадки ревнивого мужа. Что это должно означать?

— Я вовсе не ревную, друг мой, но я боюсь, что вы себя скомпрометируете. Вы ведь молоды, жизнерадостны, склонны к приключениям...

— Извините, если уж говорить о приключениях, то не мне соперничать с вами.

— Перестаньте, пожалуйста, шутить. Я говорю вполне серьезно, как настоящий друг. Все то, что вы сейчас сказали, сильно преувеличено.

— Нисколько. Вы сами признались мне в своей связи, а это было равносильно тому, чтобы дать мне право подражать вам. Я не сделала этого...

— Позвольте...

— Дайте же мне досказать. Я не сделала этого. У меня нет и не было любовника... до сих пор... Я выжидаю.. ищу... и не нахожу. Мне нужно что-нибудь исключительное... что-нибудь лучше вас... Я вам говорю комплимент, а вы делаете вид, что не замечаете этого.

— Дорогая, все эти шутки совершенно неуместны.

— Но я вовсе не шучу. Вы говорили мне о восемнадцатом веке, дали понять, что вы человек времен Регентства. Я ничего не забыла, но что бы вы ни говорили, а в тот день, когда мне заблагорассудится стать иной, чем сейчас, вы сделаетесь, даже не подозревая этого... таким же рогоносцем, как и многие другие.

— О!.. Как вы можете произносить подобные слова?

— Подобные слова?.. Да ведь вы сами хохотали, как безумный, когда госпожа де Жер заявила, что господин де Серви похож на рогоносца, который ищет свои рога.

— То, что кажется смешным в устах госпожи де Жер, в ваших устах становится неприличным.

— Нисколько. Вы находите очень забавным слово «рогоносец», когда речь идет о господине де Серви, и считаете его весьма неблагозвучным, когда дело касается лично вас. Все зависит от точки зрения. Впрочем, я не настаиваю на этом слове, я сказала его лишь для того, чтобы увидеть, созрели ли вы...

— Созрел?.. Для чего?

— Да для того, чтобы стать рогатым. Когда мужчина сердится, слыша это слово, значит... он готов. Но

через два месяца вы первый будете смеяться, если я заговорю о... рогаче. Потому что... когда рога уже выросли, их не замечают.

— Вы сегодня очень неблаговоспитанны. Я никогда вас не видел такою.

— Вот как?.. Я изменилась... к худшему. Это ваша вина.

— Послушайте, дорогая, давайте поговорим серьезно. Я вас прошу, умоляю вас не поощрять неприличных преследований господина Бюреля, как вы поощряли их сегодня.

— Вы ревнуете? Я сразу это поняла.

— Нет, нет. Я только не хочу быть смешным. Слышите: не хочу быть смешным. И если я еще раз увижу, что этот господин, беседуя с вами, не сводит глаз с ваших плеч и, чего доброго, пытается заглянуть вам за корсаж...

— Да это самый подходящий рупор.

— Я... я выдеру его за уши.

— Уж не влюблены ли вы в меня?

— Люди влюбляются и в менее красивых женщин.

— А, вот вы как! Но я-то больше не влюблена в вас.

Граф встает. Он огибает столик и, проходя позади жены, быстро целует ее в затылок. Она вздрагивает и говорит, глядя в упор на него:

— Прошу вас оставить эти шутки. Мы живем раздельно. Между нами все кончено.

— Ну, не сердитесь. С некоторых пор я нахожу, что вы восхитительны.

— Значит... значит, я достигла цели. Вы тоже... находите, что я... созрела...

— Я нахожу, что вы восхитительны, дорогая: у вас такие руки, такой цвет лица, такие плечи...

— Которые понравились бы господину Бюрелю...

— Вы жестоки... Но... правда... я не знаю женщины обольстительнее вас.

— Вы поститесь.

— Что?

— Я говорю: вы поститесь.

— Как это?

— Когда человек постится, он голоден, а когда он голоден, то готов есть такие блюда, которые в другое время вовсе не привлекали бы его. Я сделалась таким блюдом... вы когда-то пренебрегали им, но не прочь были бы полакомиться... сегодня вечером.

— О Маргарита! Кто научил вас так выражаться?

— Вы сами! Слушайте: после разрыва с госпожой де Серви у вас было, насколько я знаю, четыре любовницы: одни — кокотки, другие — актрисы. Чем же, как не временным постом, могу я объяснить ваш сегодняшний аппетит?

— Я буду откровенен и груб и скажу без всяких церемоний: я снова влюблен в вас и даю вам слово, очень сильно. Вы поняли?

— Так, так. И вы хотите... начать снова?

— Да сударыня.

— С сегодняшней ночи?

— Ах! Маргарита!

— Так. Вы опять шокированы. Давайте, милый мой, договоримся. Мы ничто друг для друга, не так ли? Я, правда, остаюсь вашей женой, но женою свободной. Я собираюсь принять ангажемент с другой стороны, вы же просите, чтобы я отдала предпочтение вам. Я согласна, но... за ту же цену.

— Не понимаю.

— Сейчас объясню. Я так же хороша, как ваши кокотки? Говорите искренне.

— В тысячу раз лучше.

— Лучше, чем лучшая из них?

— В тысячу раз.

— Хорошо. Сколько вам стоила лучшая из них в течение трех месяцев?

— Опять-таки не понимаю.

— Я говорю: сколько стоила вам в течение трех месяцев самая очаровательная из ваших любовниц, считая наличные деньги, драгоценности, ужины, обеды, театр и так далее — словом, полное ее содержание?

— Да почем же я знаю?

— Вы должны знать это. Ну, возьмем среднюю, умеренную цену. Пять тысяч франков в месяц — это приблизительно верно?

— Да... приблизительно.

— Так вот, мой друг, дайте мне сейчас же пять тысяч франков, и я буду вашей целый месяц, начиная с сегодняшнего вечера.

— Вы с ума сошли!

— Ах так? Покойной ночи!

Графиня уходит к себе в спальню. Постель приготовлена. В воздухе носится легкий аромат, пропитавший портьеры и обои.

Граф появляется в дверях:

— Здесь очень хорошо пахнет.

— Правда?.. А между тем тут ничего не переменилось! Я по-прежнему душусь «Peau d'Espagne».

— Вот как, это удивительно... Очень хорошо пахнет.

— Возможно. Но, будьте добры, уходите, я ложусь спать.

— Маргарита!

— Уходите!

Он входит в комнату и садится в кресло.

Графиня:

— Ах, вот вы как! Ну, тем хуже для вас.

Она медленно снимает с себя бальное платье, обнажая белые руки. Она поднимает их над головой, чтобы распустить волосы перед зеркалом, и в пене кружев над черным шелковым корсетом показывается что-то розовое.

Граф стремительно встает и направляется к ней.

Графиня:

— Не подходите ко мне или я рассержусь!..

Он схватывает ее в объятия и жадно ищет ее губ.

Она быстро наклоняется, берет стоящий на туалете стакан с зубным эликсиром и выплескивает его через плечо в лицо мужа.

Он выпрямляется весь мокрый и в бешенстве бормочет:

— Это глупо!

— Может быть... Но вам известны мои условия: пять тысяч франков.

— Это нелепо!

— Почему же?

— Как почему? Муж платит за то, чтобы спать с женой?

— О, какие мерзкие слова вы говорите!

— Возможно. Но повторяю, что было бы нелепо платить собственной жене, законной жене.

— Еще глупее, имея законную жену, платить кокоткам.

— Пусть так, но я не хочу быть смешным.

Графиня села на кушетку. Она медленно снимает чулки, выворачивает их, как змеиную кожу. Розовая нога освободилась от сиреневой шелковой оболочки, и маленькая ступня становится на ковер.

Граф подходит ближе и произносит нежным голосом:

— Какая странная мысль пришла вам, однако!

— Какая мысль?

— Требовать от меня пять тысяч франков.

— Нет ничего естественнее. Мы друг другу чужие, не так ли? Вы желаете меня. Жениться на мне вы не можете, потому что мы уже женаты. Значит, вы должны меня купить, может быть, несколько дешевле, чем другую.

Ну, рассудите. Эти деньги вместо того, чтобы попасть какой-нибудь потаскушке, которая истратит их неизвестно на что, останутся в вашем же доме, в вашем же хозяйстве. А потом, разве для умного мужчины не занимательнее, не оригинальнее платить собственной жене? Незаконная любовь нравится именно потому, что она стоит дорого, очень дорого. Вы придадите нашей... законной любви новую ценность, привкус разврата, остроту пикантных проказ... если будете оплачивать эту любовь, как связь на стороне. Разве это не верно?

Она встает, почти совсем обнаженная, и направляется в туалетную комнату.

— А теперь, сударь, уходите или я позвоню горничной.

Граф стоит несколько минут растерянный и недовольный, смотрит на нее и вдруг бросает ей бумажник.

— Бери, негодница. Там шесть тысяч. Но только, знаешь ли...

Графиня подбирает деньги, пересчитывает их и томно спрашивает:

— Что?

— Не привыкай к этому.

Она хохочет и подходит к нему:

— Пять тысяч ежемесячно, сударь, или я отправлю вас к вашим кокоткам. И мало того, если... если вы останетесь довольны... я потребую от вас прибавки.

СОЛДАТИК

Каждое воскресенье, получив отпуск, оба солдатика пускались в путь.

Выйдя из казармы, они сворачивали направо и пересекали Курбевуа быстрым шагом, словно маршировали в строю, а миновав последние дома города, шли уже медленнее по пыльной и пустынной большой дороге, которая ведет в Безон.

Оба низкорослые и худые, они тонули в слишком длинных и слишком просторных шинелях, рукава которых закрывали им пальцы; слишком пышные красные шаровары мешали им быстро ходить и заставляли широко расставлять ноги. А под высокими и твердыми киверами еле видны были лица, жалкие, изможденные лица бретонцев, наивные, почти по-животному наивные лица, с голубыми, кроткими, спокойными глазами.

Дорогой они никогда не разговаривали, шли прямо и думали об одном и том же — и это заменяло им беседу,— думали о том, что на опушке рощи Шампиу они нашли уголок, напоминавший им родные места; они чувствовали себя хорошо только там.

Вступив под сень деревьев на перекрестке дорог, ведущих в Коломб и в Шату, они снимали давившие им голову кивера и вытирали лоб.

Они всегда останавливались ненадолго на Безонском мосту, чтобы поглядеть на Сену. Они стояли две — три минуты, перегнувшись над парапетом, или смотрели на большой Аржантейский водоем и на белые наклоненные паруса носившихся по нему клиперов,

напоминавшие им, может быть, море Бретани, Ваннский порт, по соседству с которым они жили, и рыбачьи суда, плывущие из Морбиана в открытое море.

Перейдя через Сену, они покупали себе провизию у колбасника, булочника и торговца местным вином. Кусок кровяной колбасы, хлеб за четыре су и литр дешевого вина составляли весь их провиант, который они завертывали в носовые платки. Выйдя из деревни, они замедляли шаг и принимались болтать.

Перед ними простиралась убогая равнина с разбросанными кое-где группами деревьев, а за ней находился тот лесок, который, как им казалось, был похож на их Кермариванский лес. Узкая дорога вдоль полей терялась в свежей зелени всходов пшеницы и овса. И всякий раз Жан Кердерен говорил Люку ле Ганидеку:

— Совсем как около Плунивона.

— Да, совсем так.

Они шли рядом, и мысли их были полны смутных воспоминаний о родной земле, воскресавших образов, таких же наивных, как грошовые лубочные картинки. Они снова видели кусочек родных полей, плетень, уголок ланд, перекресток, гранитный крест.

И всякий раз они останавливались у межевого камня, потому что он чем-то напоминал им Локневанский долмен.

Когда они доходили до первой рощицы, Люк ле Ганидек каждое воскресенье срывал прутик орешника, а затем начинал осторожно обдирать кору, думая в это время о тех, кто остался там, на родине.

Жан Кердерен нес провизию.

Время от времени Люк произносил какое-нибудь имя, вспоминал какой-нибудь эпизод из их детства, и эти несколько слов давали им пищу для долгих размышлений. И родина, дорогая далекая родная земля, мало-помалу вновь завладевала ими, захватывала их, слала к ним через пространство свои очертания, свои шумы, знакомые горизонты и запахи — запах зеленых ланд, где веял морской ветер.

Они дышали уже не испарениями парижского навоза, удобряющего пригородные поля, а благоуханием цветущего терновника, которое подхватывает и разносит соленый ветер морских просторов. А глядя на па-

руса лодок, появлявшиеся из-за высоких берегов Сены, они словно видели за широкой равниной, уходившей до самого берега моря, каботажные суда своей родины.

Оба они, Люк ле Ганидек и Жан Кердерен, шли медленно, довольные и печальные, томимые тихой тоской, тупой и глубокой тоской зверя в клетке, предающегося воспоминаниям.

И когда Люк кончал сдирать кору с тоненького прутика, они уже доходили до того уголка рощи, где завтракали каждое воскресенье.

Они доставали спрятанные в кустах два кирпича и разжигали костер из сухих веток, чтобы поджарить на кончике ножа кровяную колбасу.

Позавтракав, съев до последней крошки хлеб и вылив до последней капли вино, они сидели рядом на траве, не говоря ни слова, устремив вдаль слипающиеся глаза, скрестив пальцы, как в церкви, и вытянув ноги в красных шароварах подле красных полевых маков. Их кожаные кивера и медные пуговицы сияли в лучах палящего солнца, привлекая жаворонков, которые пели, кружась над их головами.

С приближением полдня они начинали посматривать в сторону деревни Безон, откуда должна была появиться батрачка с коровой.

Девушка проходила мимо них каждое воскресенье, ведя доить корову, единственную в этой местности корову: ее держали на подножном корму, и она паслась на узенькой лужайке у опушки леса, немного подальше.

Вскоре они замечали батрачку — единственное человеческое существо, проходившее по этой равнине,— и яркие блики на жестяном подойнике, отражавшем солнечное пламя, наполняли радостью их сердца. Они никогда не говорили о ней. Они были довольны уже тем, что ее видят, хотя и не понимали причины этого.

Это была статная и крепкая рыжеволосая девушка, обожженная зноем солнечных дней, бойкая рослая девушка парижской пригородной деревни.

Как-то раз, увидев, что они опять сидят на том же месте, она сказала:

— Здравствуйте... Вы, что же, всегда приходите сюда?

Люк ле Ганидек, более смелый, пробормотал:

— Да... Приходим отдыхать.

Этим дело и кончилось. Но в следующее воскресенье она, заметив их, засмеялась и с покровительственной благосклонностью развязной женщины, почувствовавшей их робость, спросила:

— Что же вы здесь делаете? Смотрите, как трава растет?

Люк, развеселившись, тоже улыбнулся:

— Может быть, что и так.

Она продолжала:

— Ну, и что же? Не быстро дело идет?

Он ответил, по-прежнему смеясь:

— Да, не очень.

Она ушла. Но, возвращаясь с ведром, полным молока, она снова остановилась возле них и сказала:

— Не хотите ли выпить немножко молока? Это вам напомнит родные места.

Инстинктом существа одной с ними породы и, быть может, тоже оторванного от родных мест она верно угадала их настроение.

Это растрогало их обоих. Тогда она не без труда влила немного молока в горлышко литровой бутылки, в которой они приносили вино, и Люк стал пить первый, маленькими глотками, поминутно останавливаясь, чтобы посмотреть, не выпил ли он уже больше своей доли. Потом он отдал бутылку Жану.

Она стояла перед ними, упершись руками в бедра и опустив ведро на землю, довольная, что доставила им удовольствие.

Потом она ушла, крикнув:

— Ну, прощайте! До воскресенья!

И они провожали ее глазами до тех пор, пока еще могли видеть, как удаляется ее высокая фигура, все уменьшаясь, словно утопая в зелени полей.

Когда они через неделю выходили из казармы, Жан сказал Люку:

— Не купить ли ей какое-нибудь угощение?

И они долго не могли решить вопрос, какое же лакомство выбрать им для девушки с коровой.

Люк высказался за кусок колбасы, но Жан предпочитал карамель, потому что сам любил сласти. Его мнение восторжествовало, и они купили в бакалейной лавочке на два су белых и красных конфет.

Взволнованные ожиданием, они позавтракали быстрее, чем обычно.

Жан увидел ее первый.

— Вон она,— сказал он.

Люк повторил:

— Да. Вон она.

Заметив их и уже издали смеясь, она закричала:

— Ну, как дела?

Они отвечали разом:

— А ваши как?

И она пустилась болтать о тех простых вещах, которые были для них полны интереса,— о погоде, об урожае, о своих хозяевах.

Они все не решались отдать ей конфеты, которые понемногу таяли в кармане у Жана.

Наконец Люк набрался храбрости и сказал:

— А мы вам кое-что принесли.

Она спросила:

— Что же такое?

Тогда Жан, покраснев до ушей, вытащил из кармана узкий бумажный пакетик и подал ей.

Она принялась уплетать леденцы, перекатывая их во рту с одной стороны на другую, так что на щеках у нее вздувались шишки. Солдаты, сидя перед нею, глядели на нее с умилением и восторгом.

Потом она пошла доить корову и, возвращаясь, снова дала им молока.

Они думали о девушке всю неделю и много раз говорили о ней. В следующее воскресенье она присела к ним, чтобы поболтать подольше; сидя рядом, устремив глаза вдаль, обхватив руками колени, они рассказывали друг другу о всяких мелочах из жизни родной деревни, а корова, видя, что батрачка остановилась на полдороге, протягивала к ней свою тяжелую морду с влажными ноздрями и жалобно мычала, призывая ее.

Как-то раз девушка согласилась перекусить с ними и выпить глоток вина. А сама она приносила им теперь в кармане сливы, которые уже поспели. От ее присутствия у солдатиков-бретонцев пропадала застенчивость, и они щебетали, как птицы.

Однажды, во вторник, Люк ле Ганидек отпросился в отпуск, чего с ним никогда еще не случалось, и возвратился только к десяти часам вечера.

Обеспокоенный Жан старался отгадать, какая причина могла заставить его товарища уйти.

В пятницу Люк занял десять су у соседа по койке и снова попросил разрешения отлучиться на несколько часов.

Когда же он вместе с Жаном отправился на воскресную прогулку, у него был какой-то странный, взволнованный, непривычный вид. Кердерен ничего не понимал, но смутно подозревал недоброе, не догадываясь, однако, что бы это могло быть.

Они не сказали друг другу ни слова, пока не добрались до обычного места, где трава уже была ими примята. Завтракали они медленно: ни тот, ни другой не чувствовал голода.

Вскоре появилась и девушка. Так же, как и в прошлые воскресенья, они глядели, как она приближалась. Когда она была уже совсем близко, Люк встал и сделал два шага ей навстречу. Она поставила ведро на землю и поцеловала Люка. Она поцеловала его страстно, обвив его шею руками и не обращая никакого внимания на Жана, не думая, что он тоже здесь, не видя его.

А бедный Жан сидел растерянный, до того растерянный, что ничего не понимал: душа его была в смятении, сердце разрывалось на части, хотя он еще ни в чем не отдавал себе отчета.

Потом девушка села рядом с Люком, и они начали болтать.

Жан не смотрел на них; теперь уж ему было ясно, почему его товарищ два раза отлучался в течение недели, и он испытывал жгучее горе, словно у него в сердце была рана — рана, какую наносит измена.

Люк и девушка поднялись и отправились вместе к корове.

Жан следил за ними глазами. Он видел, как они шли рядышком. Красные шаровары товарища казались ярким пятном на дороге. Люк подобрал колотушку и крепче вбил колышек, к которому была привязана корова.

Девушка нагнулась доить корову, а он рассеянной рукой трепал животное по острому хребту. Потом они оставили ведро на траве и ушли в глубь леса.

Жан уже ничего не видел, кроме стены из листвы, за которой они скрылись; он был так потрясен, что если бы попробовал подняться, то, вероятно, тут же упал бы на траву.

Он сидел неподвижно, отупев от изумления и скорби, от наивной, но глубокой скорби. Ему хотелось плакать, бежать, спрятаться, никого никогда больше не видеть.

Но тут как раз они появились из чащи. Они возвращались медленно, взявшись за руки, как ходят в деревне жених и невеста. И ведро нес Люк.

Перед тем как расстаться, они снова поцеловались, и девушка ушла, дружески кивнув на прощание и улыбнувшись Жану. В этот день она и не подумала предложить ему молока.

Солдатики посидели рядом, неподвижные, как всегда, молчаливые и спокойные; их невозмутимые лица почуть не отражали того, чем были потрясены сердца. Лучи солнца озаряли их. Корова порою оглядывалась на них издали и мычала.

В обычный час они поднялись и пошли назад.

Люк ощипывал прутик. Жан нес пустую бутылку. Он оставил ее у безонского виноторговца. Потом они вышли на мост и, как всегда в воскресенье, остановились на несколько минут посредине, посмотреть, как плещется вода.

Жан все больше и больше перегибался через железные перила, как будто видел в волнах что-то притягивающее.

Люк сказал ему:

— Ты что, водицы хлебнуть захотел, что ли?

Не успел он договорить, как туловище Жана пере-

весилось, мелькнули ноги, описав круг в воздухе, сине-красный солдатик полетел вниз головой, и вода поглотила его.

Тщетно Люк пробовал кричать: испуг парализовал ему горло. Он увидел, как внизу, уже немного подальше, что-то барахтается, затем голова товарища появилась на поверхности воды, но тотчас скрылась снова.

Потом еще дальше он заметил руку, одну только руку — она вынырнула из реки и снова исчезла. И это было все.

Прибежавшие лодочники не нашли тела в этот день.

Люк бегом вернулся в казарму, один, совсем обезумев, и рассказал о происшествии, захлебываясь от слез и непрерывно сморкаясь:

— Он нагнулся... нагнулся так... так, что голова перетянула... и... и... вдруг он полетел... полетел...

Больше он ничего не мог сказать: волнение душило его.

Если бы только он знал!..

МАЛЕНЬКАЯ РОК

МАЛЕНЬКАЯ РОК

I

Почтальон Медерик Ромпель (местные жители звали его просто Медери) вышел в обычный час из почтового отделения Роюи-ле-Тор. Пройдя по городу крупным шагом отставного солдата, он пересек Вильомские луга, чтобы выйти к берегу Брендили и пройти вниз по течению, к деревне Карвлен, где начиналась раздача писем.

Он быстро шел берегом узкой речки, которая пенилась, журчала, бурлила и бежала по руслу, поросшему травами, под сенью ив. Вокруг больших камней, останавливающих течение, вода вздувалась валиком, охватывая их, словно галстук с бантом из пены. Местами встречались крошечные водопады; часто невидимые, они сердито и нежно рокотали под листьями, под лианами, под навесом зелени; а дальше берега расступались, и в тихих заводях среди зеленых прядей, стелющихся на дне спокойных ручьев, плавали форели.

Медерик все шел и шел, ни на что не глядя, думая об одном: «Первое письмо для Пуавронов, потом есть письмо господину Ренарде; надо, значит, пройти через рощу».

Синяя блуза почтальона, туго подпоясанная черным кожаным ремнем, быстро и мерно двигалась вдоль зеленой ивовой изгороди, а его трость — крепкая палка из остролистника — шагала рядом, в ногу с ним.

Он перешел Брендиль по стволу дерева, перебро-

шенному с одного берега на другой; единственными перилами служила веревка, протянутая между двумя кольями, врытыми в землю.

Роща г-на Ренарде, мэра Карвлена, крупнейшего местного землевладельца, состояла из огромных старых деревьев, прямых, как колонны, и тянулась по левому берегу реки — границы этой необъятной зеленой кущи. Вдоль воды разросся кустарник, пригретый солнцем, но в самой роще не росло ничего, кроме мха, густого, пышного, мягкого мха, распространявшего в неподвижном воздухе легкий запах прели и палого листа.

Мелерик замедлил шаг, снял черное кепи, украшенное красным галуном, и отер лоб: в поле уже начинало припекать, хотя не было и восьми часов утра.

Но только он надел кепи и зашагал дальше, ускоряя шаги, как вдруг увидел у подножия дерева ножичек, маленький детский ножичек. Поднимая его, он заметил еще наперсток, а потом, в двух шагах от него, игольник.

Подобрав вещи, он подумал: «Надо будет отдать их господину мэру» — и снова пустился в путь, но теперь уже глядел в оба, ожидая найти что-нибудь еще.

Вдруг он резко остановился, как будто налетел на шлагбаум: в нескольких шагах от него на мху лежало совершенно обнаженное детское тело. Это была девочка лет двенадцати. Она лежала на спине, разметав руки, ноги были раздвинуты, лицо покрыто носовым платком, бедра слегка испачканы кровью.

Мелерик приблизился на цыпочках, как будто ему угрожала опасность, вытаращив глаза.

Что это? Она, верно, спит? Но потом он рассудил, что никто не станет спать, раздевшись догола, в половине восьмого утра, в сыроватой тени деревьев. Тогда, значит, она мертва и здесь совершено преступление. При этой мысли холодная дрожь пробежала у него по спине, хотя он и был старый солдат. Да и к тому же в их местах убийство, и притом еще убийство ребенка, было такой редкостью, что он не верил своим глазам. У девочки не было ни одной раны, только на ноге запеклось немного крови. Как же ее убили?

Он подошел к ней вплотную и глядел, опершись на палку. Конечно, он должен был знать ее, как знал

Худ. Гранжуан. 1903. «МАЛЕНЬКАЯ РОК».

Худ. Гранжуан. 1903. «НА РАЗБИТОМ КОРАБЛЕ».

всех местных жителей, но, не видя лица, не мог угадать ее имени. Он нагнулся было, чтобы снять платок, покрывавший ее лицо, но остановился: неожиданная мысль удержала его руку.

Имеет ли он право менять что-нибудь в положении трупа до осмотра его представителями правосудия? Правосудие представлялось ему чем-то вроде генерала, который все замечает и придает оторванной пуговице не меньшее значение, чем удару ножом в живот. Под этим платком, быть может, обнаружат самую главную улику; ведь это — вещественное доказательство, а оно, пожалуй, потеряет свою силу от прикосновения неловкой руки.

Он выпрямился и решил скорее бежать к господину мэру, но другая мысль снова остановила его. Если девочка еще жива, он не может оставить ее в таком положении. Он тихонько опустился на колени, из осторожности — подальше от нее, и протянул руку к ее ноге. Нога была окоченевшая, охваченная тем ледяным холодом, который делает мертвую плоть такой страшной и уже не оставляет никаких сомнений. При этом прикосновении почтальон почувствовал, как рассказывал он после, что сердце у него перевернулось, а во рту пересохло. Быстро вскочив, он пустился бежать через рощу к дому г-на Ренарде.

Он бежал ровным бегом, держа палку под мышкой, сжав кулаки, вытянув голову; кожаная сумка, набитая письмами и газетами, мерно ударяла его по боку.

Дом мэра был расположен на краю леса, служившего ему парком, и одним углом уходил в маленькую заводь, образованную в этом месте Брендилью.

Это было большое квадратное здание из серого камня, очень старое, перенесшее не одну осаду в былые времена, и завершалось оно огромной башней в двадцать метров вышиной, выстроенной в воде.

С вышки этой крепости караульщики когда-то озирали окрестности. Неизвестно почему, ее прозвали башней Ренар [1]; отсюда, очевидно, произошло и имя Ренарде, которое носили владельцы этого поместья,

[1] Renard *(франц.)* — лисица.

бывшего их родовою собственностью уже более двухсот лет, ибо Ренарде принадлежали к той буржуазной знати, которая часто встречалась в провинции до революции.

Почтальон вбежал в кухню, где завтракала прислуга, и крикнул:

— Что, господин мэр встал? Мне нужно поговорить с ним сейчас же.

Медерик был известен как человек солидный и положительный, и все сразу поняли, что произошло нечто важное.

Г-ну Ренарде доложили, и он приказал впустить посетителя. Бледный, запыхавшийся почтальон, держа кепи в руке, предстал перед мэром, сидевшим за длинным столом, заваленным бумагами.

Мэр был плотный и крупный мужчина, грузный и краснолицый, сильный, как бык, и очень любимый в округе, несмотря на свой крутой нрав. Ему было лет сорок, он овдовел полгода назад и жил на своей земле как деревенский дворянин. Из-за своего бурного темперамента он не раз попадал в неприятные истории, но его неизменно выручали чиновники Роюи-ле-Тора, снисходительные и верные друзья. Разве не он сбросил однажды с козел кондуктора дилижанса за то, что тот чуть было не раздавил его сеттера Микмака? Разве не он переломал ребра сторожу, который составил протокол, увидав мэра с ружьем в руках на участке, принадлежавшем соседу? Разве не он схватил за шиворот супрефекта, остановившегося в деревне во время служебной поездки, которую г-н Ренарде принял за предвыборную поездку? Ведь г-н Ренарде, по семейным традициям, находился в оппозиции к правительству.

Мэр спросил:

— Что случилось, Медерик?

— Я нашел в вашей роще мертвую девочку.

Ренарде вскочил; лицо его стало кирпичного цвета.

— Что вы говорите?.. Девочку?

— Да, сударь, девочку, голую девочку, она лежит на спине, в крови, мертвая, совсем мертвая.

— Черт возьми, бьюсь об заклад, что это маленькая Рок. Мне сейчас сообщили, что она вчера вечером не вернулась домой. Где вы ее нашли?

Почтальон описал место, рассказал все подробности и предложил проводить туда мэра.

Но Ренарде резко сказал:

— Нет. Вы мне не нужны. Сейчас же пришлите ко мне полевого сторожа, секретаря мэрии и доктора, а сами продолжайте свой обход. Живо, живо, отправляйтесь и скажите им, чтобы они ждали меня в роще.

Почтальон, привыкший к дисциплине, повиновался и вышел, хотя был раздосадован и огорчен тем, что ему не придется присутствовать при осмотре.

Мэр тоже вышел, взяв шляпу, большую широкополую шляпу из мягкого серого фетра, и на мгновение остановился на пороге дома. Перед ним расстилался широкий газон, на котором сверкали три крупных пятна — красное, синее и белое: три пышных клумбы с распустившимися цветами, одна перед домом и две по бокам. Дальше поднимались в небо первые деревья рощи, а слева, за Брендилью, расширявшейся в пруд, тянулись бесконечные поля, целый край, зеленый и плоский, пересеченный канавками и рядами ив, приземистых, карликовых, похожих на чудовища, с обрубленными сучьями и с дрожащим пучком веток на вершине толстого короткого ствола.

Справа, за конюшнями, за сараями, за всеми службами усадьбы, начиналось село, богатое село скотоводов.

Ренарде неторопливо спустился по ступенькам крыльца и, свернув влево, медленным шагом пошел вдоль берега, заложив руки за спину. Он шел, опустив голову, и время от времени оглядывался по сторонам, не идут ли те, за кем он послал.

Очутившись под деревьями, он остановился, снял шляпу и отер лоб,— так же, как это сделал Медерик: раскаленное июльское солнце огненным дождем изливалось на землю. Мэр пошел дальше, остановился еще раз, повернул обратно. Вдруг он нагнулся, намочил носовой платок в реке, бежавшей у его ног, и покрыл им голову под шляпой. Капли воды текли у него по вискам, по ушам, всегда багровым, по могучей красной шее и исчезали одна за другой за белым воротником рубашки.

Так как никого еще не было, мэр начал постукивать ногой об землю, а потом крикнул:

— Ау! Ау!

Чей-то голос откликнулся справа:

— Ау! Ау!

И под деревьями показался доктор. Это был маленький тощий человечек, бывший военный хирург, которого во всей округе считали очень искусным врачом. Он хромал, так как был ранен на военной службе, и при ходьбе опирался на палку.

Затем они увидели сторожа и секретаря мэрии, которые были извещены одновременно и потому явились вместе. У них были испуганные лица, и они задыхались, потому что для скорости то шли, то бежали и при этом так сильно размахивали руками, что, казалось, работали ими гораздо успешнее, чем ногами.

Ренарде спросил у доктора:

— Вы знаете, в чем дело?

— Да, Медерик нашел в лесу мертвого ребенка.

— Верно. Идемте.

Они пошли рядом, а двое других следовали за ними. Их ноги беззвучно ступали по мху; глаза что-то искали там, впереди.

Вдруг доктор Лабарб протянул руку:

— Смотрите, вон там!

Очень далеко под деревьями можно было различить что-то светлое. Если бы они не знали, что именно, то не догадались бы. Оно казалось блестящим и белым и походило на упавшее в траву белье: луч солнца, проскользнув сквозь листву, освещал бледную плоть, падая широкою косою полосой поперек живота. Приближаясь, они постепенно начинали различать тело, покрытую голову, обращенную к реке, и обе руки, раскинутые, как на распятье.

— Мне страшно жарко,— сказал мэр.

И, нагнувшись к реке, он снова намочил платок и положил его на лоб.

Доктор, заинтересованный находкой, ускорил шаг. Подойдя к трупу, он нагнулся, чтобы рассмотреть его, не прикасаясь к нему. Он надел пенсне, точно разглядывал какую-то достопримечательность, и медленно обошел вокруг тела.

Еще не разгибаясь, он объявил:

— Изнасилование и убийство, что мы сейчас и установим. Эта девочка, впрочем, почти женщина: взгляните на ее грудь.

Обе груди, уже довольно полные, опали, тронутые смертью.

Доктор осторожно приподнял платок, закрывавший лицо. Оно было черное, страшное; язык высунут, глаза выкатились. Он продолжал:

— Черт возьми, ее задушили после того, как дело было сделано.

Он ощупал шею:

— Задушили руками, и притом не оставив никаких следов,— ни царапины ногтем, ни отпечатка пальцев. Очень хорошо. Да, действительно, это маленькая Рок.

Он опять осторожно накрыл ее платком.

— Мне здесь делать нечего: она умерла по крайней мере часов двенадцать тому назад. Надо сообщить следственным властям.

Ренарде стоял, заложив руки за спину, и не сводил глаз с маленького тела, распростертого на траве. Он прошептал:

— Какой мерзавец! Надо бы отыскать ее платье.

Доктор ощупал плечи, руки и ноги.

— Вероятно, она купалась перед этим,— сказал он.— Вещи, должно быть, остались на берегу.

Мэр распорядился:

— Пренсип (так звали секретаря мэрии), пойди поищи на берегу ее тряпки, а ты, Максим (так звали сторожа), сбегай в Роюи-ле-Тор и приведи следователя и жандармов. Чтобы через час они были здесь. Слышишь?

Оба подчиненных быстро удалились, и Ренарде обратился к доктору:

— Какой же это негодяй мог выкинуть такую штуку в нашей местности?

— Как знать? — тихо ответил доктор.— На это способен каждый. То есть каждый в отдельности и никто вообще. Но вернее всего это какой-нибудь бродяга, какой-нибудь безработный мастеровой. С тех пор как у нас республика, они вечно шляются по дорогам.

И доктор и мэр были бонапартистами.

Мэр подтвердил:

— Конечно, это мог сделать только чужой, какой-нибудь прохожий или бродяга, у которых нет ни хлеба, ни крова...

— Ни женщины,— добавил доктор с подобием улыбки.— Ужина и ночлега у него не было, так он поживился, чем мог. Трудно представить себе, сколько мужчин на свете способны в известную минуту на подобное преступление. Вы знали, что девочка пропала?

И концом трости он стал перебирать один за другим застывшие пальцы покойницы, нажимая на них, как на клавиши рояля.

— Да. Мать приходила ко мне вчера, часов в девять вечера, так как девочка не вернулась в семь часов к ужину. Мы до полуночи звали ее по всем дорогам, но не подумали о роще. Да и надо было дождаться дня, чтобы поиски действительно могли увенчаться успехом.

— Хотите сигару? — предложил доктор.

— Спасибо, не хочется. От всего этого мне не по себе.

Они все еще стояли над хрупким телом подростка, таким бледным на темном мху. Огромная навозная муха, прогуливаясь по бедру, остановилась у кровавых пятен, поползла дальше, кверху, поднимаясь по боку быстрым и скачущим бегом, взобралась на одну грудь, потом спустилась, чтобы обследовать другую, стараясь отыскать на этом трупе что-нибудь съедобное. Мужчины следили за движущейся черной точкой.

Доктор сказал:

— Как это красиво — муха на коже. Недаром дамы прошлого века наклеивали на лицо мушки. Почему, собственно, это вышло из моды?

Мэр, казалось, не слышал его, погрузившись в раздумье.

Но вдруг он обернулся, уловив какой-то шум: под деревьями бежала женщина в чепце и в синем фартуке. Это была мать девочки, тетушка Рок. Увидев Ренарде, она тотчас же заголосила: «Дочка моя, где моя дочка?» Она до того обезумела, что и не глядела на

землю. И вдруг, при виде трупа, она остановилась, как вкопанная, сложила руки, вскинув их над головой, испустила отчаянный, пронзительный вопль, вопль раненого животного.

Потом она бросилась к телу, упала на колени и подняла, скорее, сорвала, платок, закрывавший голову. Увидев страшное, почерневшее, искаженное лицо, она сразу вскочила, потом рухнула на землю и зарылась лицом в густой мох, издавая ужасные протяжные крики.

Ее длинное тощее тело, обтянутое платьем, сводило судорогой. Видно было, как вздрагивали костлявые щиколотки и худые икры в грубых синих чулках; скрюченными пальцами она рыла землю, как будто хотела выкопать яму и укрыться в ней.

Взволнованный доктор прошептал: «Несчастная старуха!» Ренарде почувствовал вдруг какое-то странное ощущение в животе, потом он громко чихнул, сразу носом и ртом, вытащил носовой платок, закрылся им и расплакался, шумно кашляя, всхлипывая и сморкаясь. Он лепетал:

— Про... про... проклятое животное... я... я бы его на гильотину!..

Но вот появился Пренсип с понурым видом и пустыми руками. Он пробормотал:

— Я ничего не нашел, господин мэр, ровно ничего и нигде.

Расстроенный мэр ответил осипшим голосом, захлебываясь от слез:

— Чего ты не нашел?

— Да девочкиных тряпок.

— Ну... ну... еще поищи... и... и... смотри, найди... иначе будешь иметь дело со мной.

Пренсип, зная, что мэру лучше не противоречить, уныло удалился, искоса и боязливо поглядывая на труп.

Вдали, под деревьями, послышались голоса, нестройный гул, шум приближающейся толпы: Медерик во время своего обхода разнес новость из дома в дом. Местные жители, совершенно ошеломленные известием, сперва переговаривались через улицу, с порога своих домов, потом сошлись вместе, несколько минут спорили,

обсуждали событие, а затем отправились посмотреть своими глазами, что случилось.

Они появлялись отдельными кучками, немного смущенные и взволнованные, страшась первого впечатления. Увидев тело, они остановились, не решаясь подойти ближе, перешептываясь между собой. Потом осмелели, сделали несколько шагов, остановились, опять двинулись вперед и обступили мертвую девочку, ее мать, доктора и Ренарде густою, взволнованной, шумной толпой, круг которой все суживался под напором вновь прибывающих и вскоре подошел вплотную к телу. Некоторые даже нагибались, чтобы потрогать его. Доктор отстранил их. Но мэр вышел вдруг из оцепенения, рассвирепел и, схватив палку доктора Лабарба, бросился на своих сограждан с криком: «Вон... вон отсюда... скоты... убирайтесь!..» В одно мгновение цепь любопытных отодвинулась метров на двести.

Тетушка Рок поднялась, обернулась и села. Теперь она плакала, закрыв лицо руками.

В толпе обсуждали событие; жадные взгляды парней шарили по обнаженному молодому телу. Ренарде заметил это, сорвал с себя полотняный пиджак и набросил его на девочку; широкая одежда закрыла ее целиком.

Зеваки потихоньку приблизились опять; роща наполнялась народом; непрерывный гул голосов разносился под густой листвой высоких деревьев.

Мэр стоял без пиджака, с палкой в руке, в воинственной позе. Любопытство толпы, по-видимому, приводило его в бешенство, и он повторял:

— Если только кто-нибудь посмеет подойти, я размозжу ему голову, как собаке!

Крестьяне сильно побаивались его и старались держаться поодаль. Доктор Лабарб, продолжавший курить, подсел к тетушке Рок и заговорил с ней, чтобы ее рассеять. Она тотчас же отвела руки от лица и ответила потоком жалобных слов, изливая свое горе в обильных речах. Она рассказала ему всю свою жизнь — замужество, смерть мужа-погонщика, которого забодал бык, детство дочери,— все свое жалкое существование вдовы с ребенком, без всяких средств.

У нее никого не было, кроме маленькой Луизы, и вот ее убили, убили здесь, в лесу. Ей вдруг захотелось еще раз взглянуть на девочку; она подползла на коленях к трупу, подняла край прикрывавшей его одежды, потом опустила его и снова принялась голосить. Толпа молчала, жадно следя за каждым движением матери.

Но вдруг все шумно задвигались, и послышались крики:

— Жандармы! Жандармы!

Вдали показались два жандарма. Они ехали крупной рысью, сопровождая капитана и маленького человечка с рыжими баками, подпрыгивавшего, как обезьяна, на высокой белой кобыле.

Сторож застал следователя, г-на Пютуана, в тот самый момент, когда он садился на лошадь, чтобы отправиться на ежедневную верховую прогулку: следователь, к великой потехе офицеров, считал себя прекрасным наездником.

Он спешился вместе с капитаном, пожал руку мэру и доктору и окинул пронзительным взглядом полотняный пиджак, приподнятый лежащим под ним телом.

Ознакомившись со всеми обстоятельствами происшествия, он прежде всего приказал удалить публику; жандармы вытеснили ее из рощи, но толпа вскоре появилась на лугу, и вдоль Брендили по ту сторону реки образовалась настоящая изгородь, длинная изгородь движущихся возбужденных голов.

Потом доктор, в свою очередь, начал давать объяснения, которые Ренарде заносил карандашом в записную книжку. Показания были сняты, зарегистрированы, обсуждены, но ни к чему не привели. Пренсип также вернулся с пустыми руками, он не нашел никаких следов одежды.

Исчезновение платья поражало всех; его можно было бы объяснить только кражей, но так как эти лохмотья не стоили и двадцати су, то всякая мысль о краже отпадала.

Следователь, мэр, капитан, доктор сами взялись за поиски и, разделившись попарно, обшарили даже самые мелкие кустики у воды.

Ренарде спросил следователя:

— Как же могло случиться, что этот негодяй спрятал или унес тряпки, а тело оставил на открытом месте, на самом виду?

Тот ответил с таинственным и проницательным видом:

— Хе-хе! Вероятно, обычная уловка. Это преступление совершил либо просто скот, либо отъявленный мерзавец. Во всяком случае, мы это быстро раскроем.

Шум катящегося экипажа заставил их обернуться: приехали товарищ прокурора, доктор и письмоводитель суда. Поиски возобновились, завязался оживленный разговор.

— Знаете что,— сказал вдруг Ренарде,— оставайтесь у меня завтракать.

Все с улыбкой приняли приглашение, и следователь, полагая, что на сегодня маленькой Рок уделено достаточно внимания, обратился к мэру:

— Можно приказать перенести тело к вам? У вас найдется, вероятно, свободная комната до вечера?

Но мэр смутился и забормотал:

— Нет... нет... По правде сказать, мне не хотелось бы брать тело к себе... из-за... из-за... прислуги... Они... они и так уж поговаривают о привидениях... в башне, в башне Ренар... знаете... Они у меня все разбегутся... нет... я бы не хотел, чтобы оно было у меня в доме.

Следователь улыбнулся:

— Хорошо. Я прикажу сразу же отправить тело в Роюи для вскрытия.

И, обратясь к товарищу прокурора, спросил:

— Разрешите воспользоваться вашим экипажем?

— Пожалуйста.

Все вернулись к трупу. Тетушка Рок сидела теперь рядом с дочерью, держа ее за руку и уставившись прямо перед собой мутным, отупелым взглядом.

Оба врача пытались увести ее, чтобы она не видела, как унесут девочку, но она тотчас же догадалась, что́ будет, и, бросившись на тело, обхватила его обеими руками. Лежа на нем, она кричала:

— Не отдам, это мое, это пока мое!.. Убили ее у меня, так не отдам, пусть она хоть побудет со мной!

Мужчины смущенно и нерешительно стояли вокруг матери. Ренарде опустился рядом с ней на колени, чтобы уговорить ее:

— Послушайте, матушка Рок, ведь нужно взять ее, чтобы узнать, кто ее убил; иначе мы не узнаем, а надо же его найти и наказать. Вам ее вернут, когда мы его разыщем, обещаю вам.

Этот довод поколебал женщину, и в ее блуждающем взгляде вспыхнула ненависть.

— Так его поймают? — спросила она.

— Да, обещаю вам.

Она встала, готовясь уступить, но, когда капитан пробормотал: «Все-таки странно, что не нашли одежду»,— у нее внезапно возникла новая мысль, до сих пор не приходившая в ее голову крестьянки, и она спросила:

— А как же одежа? Она моя, отдайте ее мне. Куда ее девали?

Ей объяснили, что одежду никак не могут найти; но она требовала ее с отчаянным упорством, с плачем и причитаниями:

— Она моя! Отдайте ее мне! Где она? Отдайте!

Чем больше ее старались успокоить, тем сильнее она рыдала и настаивала на своем. Теперь она уже не просила тело, она желала только получить вещи, вещи дочери, столько же, может быть, из бессознательной жадности бедняка, которому серебряная монета кажется целым состоянием, сколько из материнского чувства.

Когда маленькое тело, завернутое в одеяло, за которым послали к Ренарде, скрылось в экипаже, тетушка Рок, стоя под деревьями, поддерживаемая мэром и капитаном, запричитала:

— Ничего у меня не осталось, ничего, ничего на свете, совсем ничего, даже ее чепчика, даже чепчика; ничего у меня нет, ничего нет, даже ее чепчика!

В это время появился кюре, совсем еще молодой, но уже успевший растолстеть священник. Он взялся проводить мать до дому, и они пошли вместе к деревне. Ее горе утихало под влиянием сладких речей священника, сулившего ей в будущем множество воздаяний. Но она не переставала твердить: «Будь у ме-

ня хоть ее чепчик...»,— привязавшись к этой мысли, вытеснившей теперь все остальное.

Ренарде крикнул издали:

— Господин аббат, приходите завтракать с нами! Через часок!

Священник обернулся и ответил:

— С удовольствием, господин мэр. Я буду у вас к двенадцати.

Все направились к дому; его серый фасад и высокая башня у берега Брендили виднелись сквозь ветви.

Завтрак длился долго; говорили о преступлении. Все единодушно признали, что оно совершено каким-нибудь бродягой, случайно проходившим мимо, когда девочка купалась в реке.

Потом чиновники уехали в Роюи, обещая возвратиться завтра с утра, доктор и кюре тоже отправились по домам, а Ренарде после долгой прогулки по лугам пошел в рощу и медленными шагами бродил там до самой ночи, заложив руки за спину.

Он лег очень рано и еще спал, когда утром к нему в комнату вошел следователь и сказал с довольным видом, потирая руки:

— Ах, вы еще спите! Ну, дорогой мой, у нас сегодня новости.

Мэр сел на кровати.

— Что такое?

— О! Нечто весьма странное! Помните, как мать просила вчера что-нибудь на память о дочери, в особенности ее чепчик. Так вот, сегодня утром открывает она дверь — и находит на пороге маленькие сабо девочки. Это доказывает, что преступление совершил кто-то из местных жителей, кто-то, кому стало жалко мать. А потом почтальон Медерик принес мне наперсток, игольник и ножичек убитой. Значит, убийца, унося ее тряпки, чтобы их спрятать, выронил вещи из кармана. Мне лично особенно важным кажется то, что вернули башмаки; этот факт свидетельствует об известной моральной культуре убийцы и о том, что он не лишен чувствительности. Если вы не возражаете, мы могли бы перебрать с вами главнейших местных жителей.

Мэр встал. Он позвонил, чтобы подали горячую воду для бритья, и ответил:

— Пожалуйста, но это будет довольно долго, так что лучше начнем сейчас же.

Г-н Пютуан уселся верхом на стул,— он даже в комнате не мог отрешиться от своей мании верховой езды.

Ренарде намылил перед зеркалом подбородок, потом выправил на ремне бритву и продолжал:

— Главный житель Карвлена — Жозеф Ренарде, мэр, богатый землевладелец, грубиян, колотит сторожей и кучеров...

Следователь засмеялся:

— Достаточно... Перейдем к следующему...

— Второй по положению — господин Пельдан, помощник мэра, скотовод, тоже богатый землевладелец, хитрый крестьянин, выжига, очень изворотливый в денежных делах, но, по-моему, на такое преступление он не способен.

Г-н Пютуан сказал:

— Дальше.

И, бреясь, а затем умываясь, Ренарде произвел моральный смотр всем жителям Карвлена. После двухчасовой беседы их подозрения остановились на трех довольно сомнительных личностях: на браконьере по имени Каваль, на Паке, промышлявшем ловлей раков и форелей, и на погонщике быков Кловисе.

II

Следствие продолжалось все лето, но преступника так и не нашли. Все заподозренные и арестованные без труда доказывали свою невиновность, и судебным властям пришлось прекратить дело.

Но убийство сильнейшим образом взбудоражило всю округу. В душах жителей осталась какая-то тревога, смутный страх, чувство таинственного ужаса, вызванное не только невозможностью обнаружить какие бы то ни было следы, но также,— и даже, пожалуй, в особенности,— странным появлением сабо перед дверью тетушки Рок на другой день

после преступления! Уверенность в том, что убийца присутствовал при осмотре трупа, что он, очевидно, продолжает жить в деревне, тревожила умы, преследовала неотступно и нависла над селом как постоянная угроза.

Да и сама роща превратилась в страшное место, которое все избегали: говорили, что в ней нечисто. Прежде крестьяне приходили туда гулять по воскресеньям, после обеда. Они усаживались на мху у подножия огромных деревьев или же бродили по берегу, высматривая форель, мелькавшую между водорослями. Парни играли в шары, в кегли, в пробку, в мяч на расчищенных и утрамбованных ими площадках; а девушки гуляли по четверо, по пятеро в ряд, взявшись за руки и распевая крикливыми голосами романсы, терзавшие слух; фальшивые ноты сотрясали тихий воздух и вызывали ощущение оскомины, как от уксуса. Но теперь уже никто не приходил под эту густую сень, словно люди боялись опять увидеть труп.

Настала осень, начался листопад. Легкие, круглые листья падали день и ночь и, кружась, спускались вдоль стволов высоких деревьев; небо уже начинало проглядывать сквозь ветви. Порой, когда по верхушкам деревьев проносился порыв ветра, этот медленный, непрерывный дождь внезапно усиливался, и шумный ливень устилал мох толстым желтым ковром, похрустывающим под ногами. Почти неуловимый шелест, реющий, беспрестанный, нежный шелест опадания, звучал, как жалоба, и эти беспрерывно падающие листья казались слезами, крупными слезами, которые проливали печальные большие деревья, день и ночь оплакивая конец года, конец прохладных зорь и тихих вечеров, конец теплого ветра и ясного солнца, а может быть, и преступление, совершенное здесь, под их сенью, девочку, изнасилованную и убитую у их подножия. Они плакали среди молчания покинутого пустого леса, заброшенного, страшного леса, где блуждала в одиночестве маленькая душа маленькой покойницы.

Брендиль, вздувшаяся от дождей, желтая, гневная, бежала быстрее между опустелыми берегами, между двумя рядами тощих и обнаженных ив.

И вдруг Ренарде снова начал гулять в роще. Каждый день, под вечер, он выходил из дому, медленно спускался с крыльца и шел под деревья с задумчивым видом, засунув руки в карманы. Он долго бродил по мокрому и рыхлому мху, а в небе, подобно траурному вуалю, развевающемуся по ветру, кружило с отчаянным и зловещим криком целое полчище ворон, слетавшихся сюда со всех окрестностей ночевать на верхушках деревьев.

Иногда они спускались, усеивая черными пятнами сучья, торчащие в багровом небе, в кровавом небе осенних сумерек, но вдруг с ужасным карканьем снимались с места и развертывали над лесом длинную черную ленту своего полета.

В конце концов они садились на вершины самых высоких деревьев, постепенно прекращали свой гомон, и в темнеющей ночи их темное оперение сливалось с окружающей мглой.

А Ренарде все еще медленно бродил под деревьями; когда же сумрак сгущался настолько, что ходить становилось невозможно, он возвращался домой, падал в кресло перед ярким пламенем камина и протягивал к очагу мокрые ноги, долго дымившиеся перед огнем.

Но вот однажды утром всю округу облетела большая новость: мэр велел снести рощу.

Двадцать дровосеков уже приступили к работе. Они начали с участка, ближнего к дому, и быстро продвигались вперед под наблюдением самого хозяина.

Прежде всего на деревья взбирались те, которые обрубали сучья.

Привязав себя к стволу веревочной петлей, дровосеки сначала обхватывают его руками, потом, подняв ногу, сильно ударяют по нему стальным шипом, прикрепленным к подошве башмака. Острие, вонзаясь в дерево, застревает в нем, и рабочий поднимается, как по ступеньке, всаживает в ствол шип, прикрепленный к другой ноге, поднимается с его помощью и опять всаживает первый шип.

С каждым шагом он все выше подтягивает веревочную петлю, привязывающую его к дереву; у бедра

его висит и сверкает стальной топорик. Человек ползет медленно, как паразитическое животное по телу великана, тяжело взбирается по огромной колонне, обнимает ее и вонзает в нее шпоры, чтобы затем снести ей голову.

Добравшись до первых сучьев, дровосек останавливается, отвязывает острый топорик, висящий у него на боку, и наносит первый удар. Он ударяет медленно, методично, подрубая сук как можно ближе к стволу; вдруг ветвь трещит, поддается и повисает, обламывается и падает, задевая на лету соседние деревья. Она обрушивается на землю с громким треском раскалывающегося дерева, и все ее мелкие ветви еще долго трепещут.

Земля покрывалась сучьями, и другие рабочие обрубали их, связывали в охапки, складывали в кучи, а не тронутые еще стволы деревьев стояли вокруг, словно огромные столбы, гигантские колья, подвергнутые ампутации и выбритые острой сталью топора.

Закончив обрубку, рабочий оставлял на прямой и тонкой верхушке дерева подтянутую им за собой веревочную петлю и, снова вонзая шпоры, спускался по обнаженному стволу, за который тогда принимались дровосеки, подрубая его у самого корня сильными ударами, гулко разносящимися по роще.

Когда рана, нанесенная подножию дерева, становилась достаточно глубокой, несколько человек, издавая мерные крики, начинали тянуть веревку, привязанную к вершине, и огромная мачта, вдруг затрещав, обрушивалась на землю с глухим гулом, сотрясая воздух подобно отдаленному пушечному выстрелу.

Лес убывал с каждым днем, теряя срубленные деревья, как армия теряет солдат.

Ренарде уже не уходил отсюда; он оставался здесь с утра и до вечера и, заложив руки за спину, неподвижно созерцал медленное уничтожение своей рощи. Когда дерево падало, он наступал на него ногой, как на труп. Потом переводил глаза на следующее со скрытым и спокойным нетерпением, как будто чего-то ожидал или надеялся на что-то к концу этой бойни.

Между тем уже приближались к тому месту, где

была найдена маленькая Рок. Добрались до него однажды под вечер, когда начинало смеркаться.

Так как темнело и небо было обложено тучами, дровосеки решили прекратить работу, оставив рубку огромного бука до следующего дня; но мэр воспротивился этому и потребовал, чтобы они немедленно обкорнали и свалили великана, укрывшего своей сенью преступление.

Когда рабочий оголил дерево и закончил последний туалет этого осужденного и когда дровосеки подрубили его основание, пять человек начали тянуть веревку, привязанную к верхушке.

Дерево сопротивлялось; его могучий ствол, хотя и разрубленный до самой сердцевины, был тверд, как железо. Рабочие, все сразу, одновременно, равномерным рывком натягивали веревку, сгибаясь до земли, и испускали единый сдавленный гортанный крик, который отмечал и соразмерял их усилия.

Два дровосека с топорами в руках стояли рядом с великаном, словно палачи, готовясь нанести новый удар, а неподвижный Ренарде, положив руку на ствол, ждал падения дерева с тревожным и нервным волнением.

Один из рабочих сказал ему:

— Вы очень близко стали, господин мэр. Как бы не зашибло вас.

Он ничего не ответил, не отступил ни на шаг; казалось, он, как борец, обхватит бук обеими руками и повалит его на землю.

Вдруг у основания высокой древесной колонны что-то треснуло, и по всему стволу, до самой вершины, казалось, пробежала болезненная судорога; колонна покосилась, готовая упасть, но все еще сопротивляясь. Возбужденные рабочие, напрягая мускулы, сделали еще одно усилие, и в тот момент, когда сломанное дерево обрушивалось на землю, Ренарде вдруг шагнул вперед и остановился, подняв плечи, чтобы принять неотразимый удар, смертельный удар, который должен был раздавить его на месте.

Но дерево немного отклонилось и лишь слегка задело Ренарде, отбросив его метров на пять в сторону, так что он упал ничком.

Рабочие кинулись поднимать его, но он уже сам приподнялся на колени, оглушенный, с блуждающими глазами, проводя рукой по лбу, как будто очнувшись от момента безумия.

Когда он встал на ноги, удивленные дровосеки, не понимая, что он сделал, принялись его расспрашивать. Он ответил, запинаясь, что на мгновение лишился рассудка, или, вернее, на секунду перенесся во времена своего детства, что ему представилось, будто он успеет пробежать под деревом, как мальчишки перебегают дорогу мчащемуся экипажу, что это была игра с опасностью, что за последнюю неделю в нем все усиливалось это желание, и каждый раз, когда раздавался треск падающего дерева, он думал о том, успеет ли пробежать под ним так, чтобы его не задело. Это, конечно, глупость, он согласен, но у каждого бывают такие минуты затмения и такого рода нелепые ребяческие соблазны.

Он говорил медленно, глухим голосом, подыскивая слова, потом ушел, сказав:

— До завтра, друзья мои, до завтра.

Вернувшись к себе в спальню, он сел за стол, ярко освещенный лампой с абажуром, и, обхватив голову руками, разрыдался.

Он плакал долго, потом вытер глаза, поднял голову и взглянул на часы. Шести еще не было. Он подумал: «До обеда еще есть время» — и пошел запереть дверь на ключ. Потом он снова сел за стол, отпер средний ящик, вынул оттуда револьвер и положил его поверх бумаг, на самое освещенное место. Сталь оружия лоснилась и отсвечивала огненными бликами.

Ренарде некоторое время глядел на револьвер мутным, как у пьяного, взглядом, потом встал и принялся ходить.

Он шагал по комнате из конца в конец и время от времени останавливался, но тотчас же начинал шагать снова. Внезапно он распахнул дверь в умывальную комнату, окунул полотенце в кувшин с водой и смочил им лоб, как в день убийства. Потом снова зашагал по комнате. Каждый раз, как он проходил мимо стола, сверкающее оружие привлекало его взор,

притягивало руку, но он следил за часами и думал: «Еще есть время».

Пробило половину шестого. Тогда он взял револьвер, с ужасной гримасой широко разинул рот и всунул туда дуло, словно собираясь проглотить его. Он простоял так несколько мгновений в неподвижности, держа палец на курке, но потом вдруг, содрогнувшись от ужаса, швырнул револьвер на ковер.

И, рыдая, бросился в кресло:

— Я не могу! Не смею! Господи! Господи! Как мне набраться духу, чтобы покончить с собой!

В дверь постучали; он испуганно вскочил. Слуга за дверью доложил:

— Кушать подано.

Ренарде ответил:

— Хорошо. Иду.

Он поднял револьвер, снова запер его в ящик и взглянул на себя в зеркало, висевшее над камином, чтобы увидеть, не слишком ли искажено лицо. Оно было красное, как всегда, может быть, немного краснее. Только и всего. Он сошел вниз и сел за стол.

Он ел медленно, как бы желая продлить время обеда, как бы боясь опять остаться наедине с самим собой. Затем выкурил в зале несколько трубок, пока убирали со стола. Потом вернулся в свою комнату.

Едва он запер дверь, как тотчас же заглянул под кровать, раскрыл все шкафы, обшарил все углы, осмотрел мебель. Затем зажег свечи на камине и, несколько раз повернувшись кругом, обвел комнату взглядом, полным тоски и ужаса, которые искажали его лицо. Ведь он знал, что увидит ее, как видел каждую ночь, ее, маленькую Рок, маленькую девочку, которую он изнасиловал, а потом задушил.

Каждую ночь повторялось ужасное видение. Сперва в ушах начинался неясный гул, похожий на шум молотилки или далекого поезда на мосту. Он тяжело дышал, задыхался, ему приходилось расстегивать ворот рубашки и пояс. Он ходил по комнате, чтобы помочь кровообращению, пытался читать, петь, но все напрасно. Мысль его против воли возвращалась ко дню убийства и заставляла снова переживать этот

день во всех сокровеннейших подробностях, со всеми бурными волнениями, от первой и до последней минуты.

Поднявшись в то утро, в утро того ужасного дня, Ренарде почувствовал легкое головокружение и мигрень, которые приписал жаре, и потому решил остаться в спальне до завтрака. После завтрака он отдыхал, а к вечеру вышел подышать прохладным и тихим воздухом под деревьями своей рощи.

Но как только он вышел из дому, тяжелый и знойный воздух равнины подействовал на него еще более угнетающе. Солнце, еще высоко стоявшее в небе, обдавало опаленную, пересохшую, жаждущую землю потоками жгучего света. Ни единое дуновение ветра не колыхало листьев. Все животные, птицы, насекомые, даже кузнечики умолкли. Дойдя до деревьев, Ренарде пошел по мху, туда, где Брендиль, под необъятным сводом ветвей, давала немного прохлады. Он чувствовал себя плохо. Казалось, чья-то неведомая, невидимая рука сжимает ему горло, и он шел, ни о чем не думая, так как и вообще мало о чем размышлял. Одна лишь смутная мысль преследовала его вот уже три месяца — мысль о женитьбе. Он страдал от одиночества, страдал морально и физически. За десять лет он привык все время ощущать подле себя женщину, привык к ее постоянному присутствию, ежедневным объятиям и испытывал потребность, смутную и настоятельную потребность в непрестанном соприкосновении с нею, в регулярных ласках. После смерти г-жи Ренарде он все время страдал, сам хорошенько не понимая отчего; страдал оттого, что ее юбки больше не задевают его ног в течение всего дня, и, главное, оттого, что он уже не может больше успокаиваться и затихать в ее объятиях. Он вдовел всего полгода, но уже присматривал в окрестностях девушку или вдову, чтобы жениться, как только кончится траур.

У него была целомудренная душа, но мощное тело Геркулеса, и плотские видения начинали тревожить его во сне и наяву. Он отгонял их, они возвращались, и порой он шептал, посмеиваясь сам над собой:

— Я прямо как святой Антоний.

В то утро у него было несколько таких навязчивых

видений, и ему вдруг захотелось выкупаться в Брендили, чтобы освежиться и остудить жар в крови.

Он знал немного дальше по реке одно широкое и глубокое место, где окрестные жители купались иногда летом. Туда он и направился.

Густые ивы скрывали эту прозрачную заводь, где течение отдыхало и подремывало, прежде чем снова пуститься в путь. Приблизившись, Ренарде услышал тихий шорох, легкие всплески, вовсе не походившие на плеск воды о берег. Он осторожно раздвинул ветки и посмотрел. Девочка, совсем голая, вся белая в прозрачных волнах, шлепала по воде обеими руками, подпрыгивая и грациозно кружась. Уже не ребенок, но еще не женщина, полная, вполне сформировавшаяся, она казалась скороспелым подростком, быстро вытянувшимся и почти созревшим. Ренарде не шевелился, оцепенев от удивления и тревоги, прерывисто дыша в каком-то странном, щемящем волнении. Он стоял, и сердце его стучало, как будто сбылся один из его чувственных снов, как будто недобрая фея явила ему это волнующее, слишком юное создание, эту маленькую деревенскую Венеру, рожденную пеною ручейка, подобно той великой, родившейся из морских волн.

Вдруг девочка вышла из воды и, не замечая Ренарде, пошла прямо на него, чтобы взять платье и одеться. Она приближалась, ступая мелкими, неуверенными шажками, остерегаясь острых камешков, а он чувствовал, что его толкает к ней какая-то непреодолимая сила, какое-то животное вожделение: оно воспламеняло всю его плоть, наполняло безумием душу, заставляло его дрожать с головы до ног.

Девочка задержалась на несколько мгновений за ивой, скрывавшей Ренарде. Тогда, теряя рассудок, он раздвинул ветви, ринулся на нее и обхватил ее обеими руками. Она упала, слишком ошеломленная, чтобы сопротивляться, слишком перепуганная, чтобы позвать на помощь, и он овладел ею, сам не сознавая, что делает.

Он очнулся от своего преступления, как от кошмара. Девочка заплакала.

Он сказал:

— Замолчи, замолчи. Я дам тебе денег.

Но она не слушала и плакала навзрыд.

Он повторял:

— Да замолчи же, замолчи. Замолчи!

Она начала отчаянно вопить, извиваясь, чтобы высвободиться.

Тут он понял, что погиб, и схватил ее за горло, чтобы остановить пронзительные, ужасные крики. Но она продолжала отбиваться с отчаянной силой существа, спасающего свою жизнь, и он сжал своими огромными руками ее маленькое горло, вздувшееся от крика, сжал его так бешено, что мгновенно задушил девочку, хотя вовсе не думал об убийстве, а просто хотел заставить ее замолчать.

Потом он вскочил, обезумев от ужаса.

Она лежала перед ним, окровавленная, с почерневшим лицом. Он хотел бежать, но в его смятенной душе проснулся тот таинственный, смутный инстинкт, который руководит всеми живыми существами в минуту опасности.

Ренарде сперва решил бросить тело в воду, но какое-то другое побуждение толкнуло его к платью девочки. Он собрал вещи в небольшой узел, перевязал его веревкой, оказавшейся в кармане, и спрятал в глубокую яму в реке, под корягой, корни которой уходили в воду.

Потом он удалился крупными шагами, прошел по лугам, сделал большой обход, чтобы его видели крестьяне, живущие далеко, на другом конце округи, и, вернувшись в обычный час к обеду, рассказал слугам весь маршрут своей прогулки.

Как ни странно, в ту ночь он спал, спал тяжелым, животным сном, как, должно быть, спят иногда приговоренные к смерти. Проснулся он на рассвете, но не вставал, дожидаясь обычного часа, терзаемый страхом при мысли, что преступление будет обнаружено.

Затем ему пришлось присутствовать при следствии и осмотрах. Он участвовал во всем, как лунатик, как одержимый галлюцинацией, различая людей и предметы, точно сквозь сон, точно в пьяном тумане, с тем ощущением нереальности, которое смущает ум в часы великих катастроф.

Только раздирающий вопль матушки Рок схватил его за сердце. В этот миг он готов был броситься к ее ногам и крикнуть: «Это я». Но он сдержался. Все же ночью он выловил из воды сабо убитой и поставил у порога матери.

Пока длилось дознание, пока ему надо было направлять и сбивать со следа правосудие, он был полон спокойствия, самообладания, он был изворотлив, он улыбался. Он невозмутимо обсуждал с чиновниками все догадки, приходившие им на ум, опровергал их мнения, оспаривал их доводы. Он находил даже некоторое острое и мучительное наслаждение в том, чтобы мешать их розыскам, путать их предположения, оправдывать тех, кого они считали подозрительными.

Но с того дня, как прекратились поиски, он стал раздражителен, еще более вспыльчив, чем обычно, хотя и сдерживал вспышки гнева. При внезапном шуме он испуганно вскакивал; малейший пустяк заставлял его трепетать; если ему на лоб садилась муха, он содрогался с головы до ног.

Им овладела непреодолимая потребность движения, заставлявшая его совершать невероятные переходы, оставаться на ногах ночи напролет и все время шагать по комнате.

Не то, чтобы его терзали угрызения совести. Его грубая натура не поддавалась никаким оттенкам чувств или морального страха. Человек энергичный и даже буйный, рожденный для того, чтобы воевать, опустошать завоеванные страны, изничтожать побежденных, человек со свирепыми инстинктами охотника и вояки, он не дорожил человеческой жизнью. Хотя он и уважал церковь из политических соображений, но сам не верил ни в бога, ни в черта и, следовательно, не ожидал в будущей жизни ни кары, ни воздаяния за поступки, совершенные в жизни земной. Веру ему заменяла туманная философия, составленная из самых разнообразных идей энциклопедистов прошлого столетия; религию он расценивал как моральную санкцию закона, причем полагал, что и то и другое изобретено людьми для упорядочения социальных отношений.

Убить кого-нибудь на дуэли, или на войне, или в ссоре, или по нечаянности, или из мести, или даже из

бахвальства он считал забавным, молодецким делом, и это оставило бы в его душе не больше следа, чем выстрел по зайцу; но убийство девочки глубоко его потрясло. Он совершил его в припадке неудержимого безумия, в каком-то чувственном вихре, затмившем его рассудок. И он сохранил в своем сердце, сохранил в своем теле, сохранил на губах, сохранил даже в своих пальцах убийцы какую-то звериную, пронизанную беспредельным страхом любовь к этой девочке, захваченной им врасплох и столь подло умерщвленной. Его мысль постоянно возвращалась к ужасной сцене, и, сколько бы он ни пытался отогнать образ убитой, сколько бы ни отстранял его от себя с ужасом, с отвращением, он все же чувствовал, что этот образ не выходит у него из головы и беспрестанно вьется вокруг, выжидая возможности явиться ему.

Он стал бояться вечеров, бояться падавших вокруг него теней. Он еще не знал, почему сумерки казались ему страшными, но инстинктивно опасался их; он чувствовал, что они населены ужасами. Ясность дня не располагает к страхам. Днем все предметы и живые существа видны, и потому встречаются только естественные предметы и существа, которым не страшно показаться на свету. Но глухая ночь, ночь плотная, как стена, пустая, бесконечная ночь, такая черная, такая огромная, где можно соприкоснуться с ужаснейшими вещами, ночь, где блуждает, где рыщет таинственный страх, таила, казалось ему, неведомую опасность, близкую и грозную. Какую же?

Скоро он это узнал.

Как-то поздно вечером, когда ему не спалось и он сидел в своем кресле, ему показалось, что штора на окне шевелится. Он замер от волнения, сердце у него забилось; штора больше не двигалась; но вот она колыхнулась снова, или ему почудилось, что она колышется. Он не смел встать, не смел перевести дух; а между тем он был не трус, ему часто приходилось драться, и он был бы не прочь повстречаться с ворами у себя в доме.

Но действительно ли штора шевелилась? Он задавал себе этот вопрос, боясь, не обманывает ли его зрение. Притом же это была такая малость — легкое ко-

лыхание ткани, чуть заметный трепет складок, еле уловимая рябь, как от дуновения ветра. Ренарде ждал, не сводя глаз с окна, вытянув шею; но вдруг вскочил, стыдясь своего испуга, шагнул к окну, схватил занавески обеими руками и широко раздвинул их. Сначала он не увидел ничего, кроме черных стекол, черных и блестящих, как чернила. Ночь, огромная, непроницаемая ночь, простиралась за ними до невидимого горизонта.

Он стоял лицом к лицу с этим беспредельным мраком и вдруг увидел где-то вдалеке свет, который двигался. Он прижался лицом к стеклу, думая, что это, верно, какой-нибудь браконьер ловит раков в Брендили, потому что было уже за полночь, а светилось в роще у самой воды. Ренарде все еще не мог как следует различить, что там такое, и щитком приставил руки к глазам, но вдруг свет превратился в сияние, и он увидел маленькую Рок, голую и окровавленную, на мху.

В ужасе он отшатнулся от окна, задел за кресло и упал на пол. Он пролежал так несколько минут, потрясенный до глубины души, потом сел и стал рассуждать. Это галлюцинация, вот и все, галлюцинация, вызванная тем, что какой-то ночной вор бродит по берегу с фонарем. Да и не удивительно, что воспоминание о преступлении порой вызывает перед ним образ убитой.

Он поднялся на ноги, выпил стакан воды и снова сел. Он думал: «Что делать, если это возобновится?» А он был убежден, он чувствовал, что это возобновится. Окно уже притягивало его взгляд, призывало, манило. Чтобы не видеть его, он переставил стул, взял книгу и попытался читать, но услышал, что позади него как будто что-то движется, и быстро повернулся вместе с креслом. Штора шевелилась; да, на этот раз она действительно шевелилась; тут уж не оставалось сомнений. Он вскочил, дернул штору с такой силой, что сорвал ее вместе с карнизом, и жадно прильнул лицом к стеклу. Он не увидел ничего. За окном все было черно, и он с облегчением перевел дух, как человек, которого только что спасли от смерти.

Он вернулся, сел в кресло, но почти тотчас же его снова охватило желание посмотреть в окно. С той ми-

нуты, как штора упала, оно зияло, как темная дыра, угрожающая и зовущая в темноту полей. Чтобы не поддаться опасному соблазну, он разделся, потушил свет, лег и закрыл глаза.

Он ждал сна, лежа неподвижно на спине и чувствуя, что кожа у него стала влажной и горячей. Вдруг яркий свет проник через его закрытые веки. Он открыл глаза, думая, что в доме пожар. Но все было темно, и он приподнялся на локте, стараясь разглядеть окно, которое по-прежнему непреодолимо влекло его к себе. Он так пристально всматривался, что разглядел несколько звезд, встал, ощупью прошел по комнате, нащупал вытянутыми руками оконные стекла и прислонился к ним лбом. Там вдали, под деревьями, тело девочки мерцало, как фосфор, освещая окружающую тьму!

Ренарде вскрикнул, бросился к постели и пролежал до утра, спрятав голову под подушку.

С этого времени жизнь его стала невыносимой. Он проводил дни в паническом ожидании ночи, и каждую ночь видение повторялось. Как только Ренарде запирался в комнате, он пытался бороться, но тщетно. Непреодолимая сила поднимала его и толкала к окну, как будто для того, чтобы вызвать призрак, и он тотчас же являлся ему — сначала на месте преступления, с раскинутыми руками, раскинутыми ногами, так, как нашли тело. Потом мертвая вставала и приближалась мелкими шажками, как живая девочка, выйдя из воды. Она тихо подходила, все прямо, по газону, по клумбам увядших цветов и поднималась по воздуху к окну Ренарде. Она подходила к нему, как подходила в день преступления к тому месту, где стоял убийца. И он отступал перед видением, пятился к кровати и падал на нее, зная, что девочка вошла, теперь стоит за шторой и штора сейчас колыхнется. И он до утра глядел на занавеску, не сводя с нее глаз, беспрестанно ожидая, что вот-вот из-за нее выйдет его жертва. Но она больше не показывалась, она пряталась за шторой, и ткань иногда колыхалась. Вцепившись сведенными пальцами в одеяло, Ренарде судорожно сжимал его, как сжал тогда горло маленькой Рок. Он прислушивался к бою часов, слушал в тишине стук маятника и глухие

удары собственного сердца. Несчастный страдал так, как никогда еще не страдал никто.

Лишь когда на потолке появлялась белая полоска, предвещавшая приближение дня, Ренарде чувствовал, что избавился от наваждения, что он наконец один, совершенно один в комнате; тогда он ложился снова и спал несколько часов тревожным, лихорадочным сном, часто возвращаясь и во сне к тому же ужасному видению, что и наяву.

В полдень, спускаясь к завтраку, он чувствовал себя совершенно разбитым, как после страшного утомления, и почти не прикасался к еде, неотступно терзаясь страхом перед той, которую ему предстояло увидеть следующей ночью.

А между тем он сознавал, что это вовсе не видение, что мертвые не возвращаются; это его больная душа, его душа, одержимая одной мыслью, одним незабываемым воспоминанием, единственная причина его страданий, это она напоминает ему об умершей, воскрешает ее, призывает и являет его глазам, запечатлевшим неизгладимый образ. Но он знал и то, что он неизлечим, что ему никогда не избавиться от яростного преследования собственной памяти, и решил лучше умереть, чем терпеть эту пытку.

Тогда он начал думать, как покончить с собой. Ему хотелось, чтобы смерть была простой, естественной и не дала бы повода думать о самоубийстве. Он дорожил своей репутацией, именем, завещанным ему предками; кроме того, если бы его смерть вызвала подозрения, то, наверное, вспомнили бы о нераскрытом злодеянии, о неразысканном убийце, и тогда его не замедлили бы обвинить в преступлении.

Странная мысль засела у него в голове, мысль о том, чтобы его раздавило дерево, у подножия которого он убил маленькую Рок. И он решил срубить свою рощу и симулировать несчастный случай. Но бук отказался переломить ему спину.

Вернувшись домой в полном отчаянии, он схватил револьвер, но так и не смог выстрелить.

Пробил час обеда; он поел, потом вернулся к себе. Он не знал, что делать. Он впервые отступил перед смертью и теперь чувствовал себя трусом. Только что

он был готов, собрался с духом, был полон мужества и твердости, а теперь ослабел и начал бояться смерти не меньше, чем покойницы.

Он шептал: «Я не смогу, я больше не смогу» — и с ужасом глядел то на оружие, лежавшее на столе, то на штору, скрывавшую окно. И, кроме того, ему казалось, что, как только оборвется его жизнь, произойдет нечто ужасное! Что же? Что именно? Может быть, их встреча? Ведь она подстерегала, она ждала, она призывала его; затем-то она и являлась каждый вечер, чтобы, в свою очередь, овладеть им, осуществить свою месть, заставить его умереть.

Он принялся рыдать, как ребенок, повторяя: «Я не смогу, я больше не смогу». Потом упал на колени, шепча: «Господи, господи!» — хотя и не верил в бога. И он действительно не решался больше взглянуть ни на окно, где, как он знал, притаилось привидение, ни на стол, где сверкал револьвер.

Но вот он поднялся и громко сказал:

— Так больше продолжаться не может. Надо кончать.

От звука собственного голоса в тишине комнаты у него пробежала дрожь по телу; но, не будучи в силах что-нибудь предпринять, чувствуя, что палец снова откажется спустить курок, он лег в постель, спрятал голову под одеяло и стал думать.

Надо было изобрести что-нибудь, что заставило бы его умереть, найти какую-нибудь уловку против самого себя, которая не допускала бы никаких колебаний, никаких промедлений, никаких сожалений. Он завидовал осужденным, которых под конвоем ведут на эшафот. О, если бы он только мог попросить кого-нибудь пристрелить его; если бы он мог излить свою душу, открыть свое преступление верному другу, который бы не выдал его, и от него принять смерть! Но кого просить о такой страшной услуге? Кого? Он перебрал всех своих знакомых. Доктор? Нет. Он, наверно, проболтался бы. Вдруг неожиданная мысль пришла ему в голову. Надо написать следователю, с которым он близко знаком, и донести ему на самого себя. Он обо всем расскажет в своем письме — о преступлении, о перенесенных мучениях, о решимости умереть, о своих колебани-

ях, о средстве, к которому прибегает, чтобы поддержать свое слабеющее мужество. Он будет умолять следователя во имя их старой дружбы уничтожить это письмо, как только он узнает, что виновный сам покарал себя. Ренарде мог рассчитывать на этого чиновника, зная его как человека верного, скромного, неспособного даже на необдуманное слово. Следователь принадлежал к числу людей с непоколебимой совестью, которой управляет, владеет и руководит только разум.

Когда Ренарде пришел к такому решению, необычайная радость наполнила его сердце. Теперь он спокоен. Он не спеша напишет письмо, на рассвете опустит его в ящик, прибитый к стене мызы, потом поднимется на башню, чтобы увидеть оттуда, как придет почтальон, а когда человек в синей блузе уйдет, бросится вниз головой и разобьется о скалы, на которых стоит фундамент. Предварительно он позаботится, чтобы его заметили рабочие, вырубающие рощу. Потом он взберется на выступ мачты для флага, который поднимают в праздничные дни, сломает мачту одним ударом и упадет вместе с ней. Кто усомнится в том, что это несчастный случай? А он разобьется насмерть. Это несомненно, если принять во внимание его вес и высоту башни.

Он тотчас же встал с кровати, сел за стол и начал писать; он не упустил ничего, ни одной подробности преступления, ни одной подробности своей жизни, полной отчаяния, ни одной подробности терзаний своего сердца, и закончил письмо заявлением, что сам вынес себе приговор, что сам себя покарает, как преступника, и умоляет своего друга, своего старого друга о том, чтобы память его осталась неопороченной.

Кончив письмо, он заметил, что рассвело. Он вложил письмо в конверт, запечатал, надписал адрес, легкими шагами сбежал с лестницы, дошел до маленького белого ящика, прикрепленного к стене на углу мызы, и, опустив письмо, которое жгло ему руку, быстро вернулся в дом, запер входную дверь на засов и поднялся на башню, чтобы дождаться прихода почтальона, который унесет с собою его смертный приговор.

Теперь он чувствовал себя спокойным, освобожденным, спасенным!

Холодный и сухой ветер, ледяной ветер дул ему в лицо. Он жадно вдыхал его, открыв рот, впивая его морозную ласку. По небу разливался яркий багрянец, багрянец зимы, и вся равнина, белая от инея, сверкала под первыми лучами солнца, словно ее посыпали толченым стеклом. Ренарде стоял с обнаженной головой и смотрел на широкие просторы, на луга слева и на село справа, где уже начинали дымиться трубы для утренней трапезы.

Он видел и Брендиль, она текла внизу, между скалами, о которые он сейчас разобьется. Он чувствовал, что возрождается в этой прекрасной ледяной заре, чувствовал, что полон сил, полон жизни. Свет обдавал, окружал его, проникал в него, как надежда. Тысячи воспоминаний поднимались в нем, воспоминаний о таких же утрах, о быстрой ходьбе по твердой земле, звенящей под ногами, об удачной охоте по берегам озер, где спят дикие утки. Все радости, которые он любил, все радости существования теснились в его памяти, разжигали в нем новые желания, будили могучие вожделения его деятельного, сильного тела.

Он собирается умереть? Зачем? Он собирается сейчас покончить с собой только потому, что испугался тени? Испугался того, чего нет? Он богат, он еще молод! Какое безумие! Достаточно развлечься, уехать, отправиться в путешествие, чтобы все забылось! Ведь сегодня ночью он не видел девочку, потому что его ум был озабочен и отвлечен иными мыслями. Так, может быть, он вообще ее не увидит больше? И если даже она еще будет являться ему в этом доме, то не последует же она за ним в другое место! Земля велика, перед ним еще долгое будущее! К чему умирать?

Взгляд его блуждал по лугам, и он заметил синее пятно на тропинке вдоль берега Брендили. Это шел Медерик — доставить письма из города и взять письма из села.

Ренарде вздрогнул; острая боль пронзила его, и он бросился вниз по винтовой лестнице, чтобы взять обратно свое письмо, потребовать его от почтальона. Теперь ему было все равно, увидят ли его; он бежал по траве, покрытой ночным инеем, и прибежал к ящику на углу мызы одновременно с почтальоном.

Тот уже открыл маленькую деревянную дверцу и вынимал из ящика несколько писем, опущенных туда местными жителями.

— Добрый день, Медерик,— сказал Ренарде.

— Добрый день, господин мэр.

— Вот что, Медерик, я опустил в ящик письмо, но оно мне нужно. Пожалуйста, дайте мне его.

— Хорошо, господин мэр, отдадим.

И почтальон поднял глаза. Лицо Ренарде поразило его: сизые щеки, мутные, глубоко запавшие глаза, обведенные черными кругами, растрепанные волосы, всклокоченная борода, развязанный галстук. Видно было, что он не ложился.

Почтальон спросил:

— Уж не больны ли вы, господин мэр?

Ренарде, сообразив вдруг, что имеет, наверно, очень странный вид, растерялся и забормотал:

— Нет... нет... Я просто вскочил с постели, чтобы взять у вас это письмо... Я спал... понимаете?

Смутное подозрение шевельнулось в уме отставного солдата.

— Какое письмо? — спросил он.

— Да вот, которое вы мне сейчас отдадите.

Но теперь Медерик колебался: поведение мэра казалось ему неестественным. Может быть, в письме скрыта какая-нибудь тайна, какая-нибудь политическая тайна? Он знал, что Ренарде не республиканец, и был знаком со всеми уловками, со всеми ухищрениями, к которым прибегают перед выборами.

Он спросил:

— Кому адресовано это письмо?

— Господину Пютуану, следователю; вы знаете, моему другу, господину Пютуану.

Почтальон порылся в своих бумагах и нашел письмо, которое у него требовали. Он принялся разглядывать его, вертел в руках, крайне озадаченный и смущенный, боясь, как бы не сделать большой ошибки, но как бы и не нажить врага в лице мэра.

Видя его нерешительность, Ренарде сделал движение, чтобы схватить письмо и вырвать его. Этот резкий жест убедил Медерика в том, что дело идет о важ-

ной тайне, и он решил выполнить свой долг во что бы то ни стало.

Поэтому он бросил конверт в сумку, закрыл ее и сказал:

— Нет, не могу, господин мэр. Раз письмо к судебным властям,— значит, не могу.

Невыразимая тревога сжала сердце Ренарде.

— Но ведь вы же меня знаете. Ведь вы, наконец, знаете мой почерк. Говорю вам, что мне нужно это письмо.

— Не могу.

— Послушайте, Медерик, вы знаете, что я не стану вас обманывать. Я вам говорю, что письмо мне нужно.

— Нет. Не могу.

В необузданной душе Ренарде вспыхнул гнев.

— Берегитесь, черт возьми! Вы знаете, я шутить не люблю, и вы у меня, любезный, живо слетите с места. Наконец, я мэр, я приказываю вам вернуть мне письмо.

Почтальон решительно ответил:

— Нет, не могу, господин мэр!

Тогда Ренарде вне себя схватил его за руку, чтобы отнять сумку, но почтальон высвободился одним рывком и отступил, подняв дубину. Не теряя самообладания, он произнес:

— Не троньте, господин мэр, не то я дам сдачи. Осторожнее. Я выполняю свой долг!

Чувствуя себя погибшим, Ренарде внезапно смирился, притих и стал молить, как плачущий ребенок:

— Ну, ну, друг мой, верните же мне это письмо. Я вас отблагодарю, я вам дам денег. Знаете что, я вам дам сто франков, слышите — сто франков!

Почтальон повернулся к нему спиной и пустился в путь.

Ренарде шел за ним, задыхаясь и бормоча:

— Медерик, Медерик, послушайте, я вам дам тысячу франков. Слышите — тысячу франков!

Тот шагал, не отвечая. Ренарде продолжал:

— Я обеспечу вас... слышите, дам сколько хотите... Пятьдесят тысяч франков... Пятьдесят тысяч за это письмо... Ну что вам стоит?.. Не хотите?.. Ну, хорошо— сто тысяч... слышите, сто тысяч франков... понимаете? Сто тысяч... Сто тысяч!..

Почтальон обернулся; лицо его было строго, взгляд суров.

— Довольно, а то я повторю на суде все, что вы мне тут наговорили.

Ренарде остановился как вкопанный. Все было кончено. Надежды не оставалось. Он повернул обратно и пустился бежать к дому, как затравленный зверь.

Медерик тоже остановился, с изумлением глядя на это бегство. Он увидел, что мэр вернулся домой, но решил подождать, словно был уверен, что сейчас должно произойти что-то необычайное.

И действительно, вскоре высокая фигура Ренарде показалась на верхушке башни Ренар. Он метался по площадке, как безумный, потом обхватил мачту флага, начал бешено трясти ее, тщетно пытаясь сломать, и вдруг, как пловец, бросающийся вниз головой, ринулся в пустоту, вытянув вперед руки.

Медерик побежал на помощь. Пробегая по парку, он увидел дровосеков, которые шли на работу. Он окликнул их, сказал, что случилось несчастье, и они нашли у подножия башни окровавленное тело, с головой, размозженной о скалу. Брендиль омывала эту скалу, и по ясной, тихой воде, широко разливавшейся в этом месте, текла длинная розовая струйка мозга, смешанного с кровью

НА РАЗБИТОМ КОРАБЛЕ

Вчера было 31 декабря.

Я завтракал у моего старого приятеля Жоржа Гарена. Слуга подал ему письмо, покрытое заграничными марками и штемпелями.

Жорж спросил:

— Ты позволишь?

— Разумеется.

И он принялся читать восемь страниц, исписанных вдоль и поперек крупным английским почерком. Он читал медленно, серьезно, внимательно, с тем интересом, какой вызывает в нас то, что близко нашему сердцу.

Потом положил письмо на камин и сказал:

— Послушай, какая забавная история! Я тебе ее никогда не рассказывал, а история романтическая и произошла она со мной. Да, странная у меня выдалась в тот раз встреча Нового года. Это было двадцать лет тому назад... ну да, мне тогда было тридцать, а теперь пятьдесят...

Я служил в то время инспектором в том самом Обществе морского страхования, которым руковожу сейчас. Я собирался провести праздник Нового года в Париже — раз уж принято праздновать этот день,— но неожиданно получил от директора письмо с распоряжением немедленно отправиться на остров Рэ, где разбился застрахованный у нас трехмачтовик из Сен-Назэра. Письмо пришло в восемь часов утра. В десять я явился в контору за инструкциями и в тот

же вечер выехал экспрессом, доставившим меня на следующий день, 31 декабря, в Ла-Рошель.

У меня оставалось два часа до отхода *Жана Гитона,* парохода, идущего на Рэ. Я прошелся по городу. Ла-Рошель — действительно необыкновенный и крайне своеобразный город: улицы в нем запутаны, как в лабиринте, над тротуарами тянутся бесконечные галереи со сводами, точно на улице Риволи, но только низкие; эти приплюснутые таинственные галереи и своды похожи на декорацию для заговоров, которую забыли убрать, на старинную волнующую декорацию былых войн, героических и грозных религиозных войн. Это типичный старый город гугенотов, суровый, замкнутый, без тех величественных памятников, которые придают Руану такое великолепие, но замечательный всем своим строгим и даже немного угрюмым обликом,— город упорных бойцов, очаг фанатизма, город, где воспламенялась вера кальвинистов и где зародился заговор четырех сержантов.

Побродив немного по этим странным улицам, я сел на черный пузатый пароходик, который должен был доставить меня на остров Рэ. Он отчалил, сердито пыхтя, прошел между двумя древними башнями, охраняющими порт, пересек рейд, вышел за дамбу, построенную Ришелье, огромные камни которой, виднеющиеся на уровне воды, окружают город гигантским ожерельем, и повернул вправо.

Был один из тех хмурых дней, что подавляют и гнетут мысль, наводят тоску, убивают бодрость и энергию: пасмурный ледяной день, насыщенный промозглым туманом, мокрым, холодным, как изморозь, зловонным, как испарения сточных труб.

Под навесом низко стелющегося, зловещего тумана лежало море, желтое, мелководное, с бесконечными песчаными отмелями, без ряби, без движения, без жизни, море мутной, жирной, застойной воды. *Жан Гитон* шел, как обычно, слегка покачиваясь, прорезая густую сплошную массу этой воды и оставляя за собой легкое волнение, легкий всплеск, легкое колыхание, которые быстро затихали.

Я разговорился с капитаном, коротеньким человечком почти без ног, таким же круглым и валким, как его

корабль. Мне хотелось узнать подробности крушения, которое я собирался обследовать: большую трехмачтовую шхуну из Сен-Назэра, *Мари Жозеф,* выбросило в бурную ночь на отмели острова Рэ.

Буря выбросила корабль так далеко, писал судовладелец, что невозможно было сдвинуть его с мели, и пришлось только спешно переправить с него на берег все, что можно было снять. Мне предстояло установить, в каком положении находится судно, определить, каково было его состояние перед катастрофой, и выяснить, все ли меры были приняты, чтобы снять его с мели. Я был послан как представитель Общества, чтобы в случае надобности выступить на суде против истца.

По получении моего доклада директор должен был решить, какие шаги предпринять, чтобы оградить интересы Общества.

Капитан *Жана Гитона* оказался в курсе дела, так как он со своим пароходиком участвовал в попытках спасти шхуну.

Он рассказал мне о крушении, которое произошло, в сущности, очень просто. *Мари Жозеф,* гонимый жестоким ветром, сбился ночью с пути и несся наугад по морю, покрытому пеной, «как молочный суп», по выражению капитана, пока не наткнулся на огромные банки, превращающие во время отлива берега этого района в беспредельную Сахару.

Беседуя с капитаном, я смотрел вперед и по сторонам. Между нависшим небом и океаном оставалось свободное пространство, и взор беспрепятственно уходил вдаль. Мы шли вдоль берега. Я спросил:

— Это остров Рэ?

— Да, сударь.

Вдруг капитан протянул вперед правую руку и, указав в открытом море на почти незаметную точку, сказал:

— Вон он, ваш корабль!

— *Мари Жозеф?*

— Да.

Я был поражен. Эта, почти невидимая, черная точка, которую я принял бы за скалу, казалось, отстояла не менее чем на три километра от берега.

— Но, капитан,— сказал я,— в том месте, которое вы показываете, должно быть, не менее ста брасов глубины!

Он засмеялся:

— Сто брасов! Что вы, мой друг? Там и двух не будет, уверяю вас!..

Капитан, видимо, был родом из Бордо. Он продолжал:

— Сейчас прилив, девять часов сорок минут. А вот вы позавтракайте в «Гостинице дофина», заложите-ка руки в карманы да отправляйтесь погулять по пляжу, и ручаюсь вам, что в два пятьдесят или, самое позднее, в три часа вы подойдете к разбитому кораблю, не замочив ног. Можете пробыть на нем час и три четверти или два часа, но никак не больше, иначе вас застигнет прилив. Чем дальше уходит море, тем быстрее оно возвращается. А отмель эта плоская, как блоп! Так не забудьте: в четыре пятьдесят вы должны отправиться обратно, а в половине восьмого вам надо быть на *Жане Гитоне,* который в тот же вечер высадит вас на набережной Ла-Рошели.

Я поблагодарил капитана и отправился на нос парохода — посмотреть на городок Сен-Мартен, к которому мы быстро приближались.

Городок этот похож на все миниатюрные порты, столицы мелких островов, рассеянных вдоль материка. Это большое рыбацкое село стоит одной ногой в воде, другой на земле, питается рыбой и птицей, овощами и ракушками, редиской и мидиями. Остров низкий, плохо обработан, но густо населен; впрочем, я не заходил вглубь.

После завтрака я прошел на небольшой мысок, и так как море быстро отступало, я отправился через пески к черному утесу, выступавшему над водою далеко-далеко.

Я быстро шел по этой желтой равнине, упругой, как живая плоть, и, казалось, покрывавшейся испариной под моими шагами. Море только что было тут, но теперь я видел, как оно убегало вдаль, почти теряясь из виду, так что я уже не мог различить линию, отделяющую пески от океана. Мне казалось, что я присутствую при величественной, волшебной феерии. Атлантический

океан сейчас еще был передо мною, и вдруг он ушел в отмель, как декорация в люк, и я шел теперь посреди пустыни. Оставалось только ощущение, только дыхание соленой воды. Я чувствовал запах водорослей, запах волн, крепкий и приятный запах побережья. Я шел быстро, и мне уже не было холодно, я глядел на разбитый корабль, и по мере того, как приближался к нему, он все увеличивался и теперь походил на огромного кита, выброшенного на берег.

Корабль, казалось, вырастал из земли, принимал чудовищные размеры на этой необозримой желтой равнине. После часа ходьбы я наконец добрался до него. Он лежал на боку, искалеченный, разбитый; его сломанные ребра, ребра из просмоленного дерева, пронзенные огромными гвоздями, выступали наружу, как ребра зверя. Песок уже вторгся в него, проник во все щели, овладел им с тем, чтобы уже не выпустить. Судно словно пустило в него корни; нос глубоко врезался в мягкий и коварный грунт, а поднятая корма, казалось, бросала в небо как отчаянный вопль два белых слова на черном борту: *Мари Жозеф.*

Я взобрался с накренившейся стороны на этот труп корабля и, очутившись на палубе, сошел в трюм. Свет, проникая через разломанные трапы и трещины, тускло освещал длинный, мрачный погреб, загроможденный обломками деревянных частей. Здесь тоже не было ничего, кроме песка — почвы этого дощатого подземелья.

Я принялся делать заметки о состоянии судна. Усевшись на пустую разбитую бочку, я писал при свете, проникавшем из широкой трещины, сквозь которую виднелась бесконечная гладь отмели. От холода и одиночества у меня порой пробегали мурашки по спине, иногда я бросал писать, прислушиваясь к смутным и таинственным шорохам внутри корабля: к шороху крабов, скребущих обшивку крючковатыми клешнями, к шороху множества мельчайших морских животных, уже водворившихся на этом мертвеце, а также к тихому, равномерному шороху древоточца, который, скрипя, как бурав, безостановочно сверлит старое дерево, разрушая и пожирая его.

И вдруг я услышал совсем близко человеческие го-

лоса. Я подскочил, как будто увидел привидение. И правда, мне на мгновение представилось, что сейчас из глубины зловещего трюма передо мной поднимутся два утопленника и поведают о своей кончине. Я не стал медлить, выскочил на палубу, подтянувшись на руках, и увидел, что у носа корабля стоит высокий господин и с ним три молодые девушки, или, говоря точнее, высокий англичанин и три мисс. Они, конечно, испугались еще больше моего при виде существа, столь внезапно появившегося на этом брошенном трехмачтовике. Младшая из девушек обратилась в бегство, а две другие обеими руками уцепились за отца. Но он только раскрыл рот — это был единственный видимый признак его волнения.

Через мгновение он заговорил:

— Ао, сударь, вы есть владелец этого корабль?

— Да, сударь.

— Могу я его посещать?

— Да, сударь.

Тогда он произнес длинную английскую фразу, в которой я разобрал только одно слово — *gracious* [1], повторявшееся несколько раз.

Заметив, что он ищет, откуда бы взобраться на корабль, я указал ему наиболее удобное место и протянул руку. Он влез, а затем мы помогли вскарабкаться трем девушкам, которые уже успели успокоиться. Они были очаровательны, в особенности старшая, восемнадцатилетняя блондинка, свежая, как цветок, такая изящная, такая прелестная! Право, хорошенькие англичанки напоминают нежные дары моря. Можно было подумать, что эта мисс возникла из песка, и ее волосы еще хранили его оттенок. Восхитительной свежестью и нежным цветом лица английские девушки напоминают розовые ракушки или редкие и таинственные жемчужины, рождающиеся в неведомых пучинах океана.

Она говорила по-французски немного лучше отца и взяла на себя роль переводчицы. Мне пришлось рассказать о кораблекрушении в мельчайших подробностях, которые я выдумывал, как будто сам присутствовал при катастрофе. Потом все семейство спустилось внутрь ко-

[1] Любезно *(англ.)*.

рабля. Как только они проникли в его темные, едва освещенные недра, посыпались восклицания удивления и восторга, и вдруг у отца и у трех дочерей очутились в руках альбомы, спрятанные, по-видимому, в их широких непромокаемых пальто, и они одновременно начали четыре карандашных наброска этого печального и причудливого места.

Они уселись в ряд на выступавшей балке, и четыре альбома на восьми коленях быстро покрылись мелкими штрихами, которым надлежало изображать разбитое чрево *Мари Жозефа.*

Старшая из девушек, не отрываясь от работы, разговаривала со мной, пока я продолжал обследовать скелет корабля.

Я узнал, что они проводят зиму в Биаррице и приехали на остров Рэ специально для того, чтобы взглянуть на трехмачтовик, увязший в песке. В этих людях не было и следа английской чопорности. Это были славные, простые чудаки, из числа тех вечных странников, которыми Англия наводняет весь земной шар. Отец был длинный, сухопарый, и его красное, окаймленное седыми бакенбардами лицо походило на живой сандвич, на ломтик ветчины, вырезанный в форме человеческой головы и проложенный между двумя волосяными подушечками; дочери, длинноногие, как молодые цапли, и такие же сухопарые, исключая старшей, как их отец, были очаровательны все три, особенно старшая.

У нее была такая забавная манера говорить, рассказывать, смеяться, понимать или не понимать, вопросительно обращать на меня глаза, синие, как глубокие воды, бросать работу, чтобы угадать смысл моих слов, снова приниматься за рисунок, говорить «yes» или «no», что я готов был без конца глядеть на нее и слушать ее.

Вдруг она прошептала:

— Я слышу маленький движение на корабль.

Я прислушался и тотчас же уловил какой-то легкий непонятный и непрерывный шум. Что это могло быть? Я встал, взглянул в щель и громко вскрикнул. Море подступило к нам и готово было отрезать нас от суши.

Мы тотчас же бросились на палубу. Поздно! Вода окружала нас и бежала к берегу с непостижимой быст-

ротой. Нет, она не бежала — она скользила, ползла, расплывалась, как огромное пятно. Она покрывала песок всего на несколько сантиметров, но убегающая линия неуловимого прилива была уже далеко впереди.

Англичанин хотел спрыгнуть с корабля, но я удержал его: бегство было невозможно из-за глубоких ям, которые мы обходили по дороге сюда; возвращаясь, мы неминуемо попали бы в них.

На мгновение наши сердца сжались от ужаса. Потом маленькая англичанка улыбнулась и прошептала:

— Это мы потерпевший крушение.

Я хотел засмеяться, но меня охватил страх, отчаянный, предательский страх, подлый и коварный, как этот прилив. Мне сразу представились все опасности, которым мы подвергались. Мне хотелось позвать на помощь. Но кого?

Две младшие англичанки прижались к отцу, который растерянно глядел на беспредельное море, окружавшее нас.

Ночь надвигалась с такой же быстротой, как прилив,— тяжелая, сырая, ледяная ночь.

Я сказал:

— Делать нечего, придется остаться на корабле

Англичанин ответил:

— Oh, yes!

Минут пятнадцать, а может быть, и полчаса, не знаю в точности, простояли мы так, глядя на желтую воду вокруг нас, которая поднималась и кружилась, словно кипела, словно играла на отвоеванном ею огромном пляже.

Одна из девушек продрогла, и мы решили сойти вниз, чтобы укрыться от легкого, но холодного бриза, который обдувал нас, пронизывая кожу, точно иглами.

Я нагнулся над трапом. Корабль был полон воды. Нам пришлось забиться в уголок у борта, хоть немного защищавшего от ветра.

Теперь нас обволакивала темнота, и мы сидели, прижавшись друг к другу, окруженные мраком и водой. Я чувствовал у своего плеча дрожащее плечо англичанки, ее зубы иногда вдруг начинали стучать; но я чувствовал нежное тепло ее тела сквозь платье, и это

тепло было сладостно, как поцелуй. Мы больше не разговаривали; мы сидели неподвижно, молча, скорчившись, как звери в яме во время урагана. И все же, несмотря ни на что, несмотря на ночь, несмотря на страшную и все возрастающую опасность, меня начинало радовать то, что я здесь, меня радовали холод и опасность, радовали долгие часы мрака и ужаса, которые мне предстояло провести на этих досках, рядом с этой хорошенькой, прелестной девушкой.

Я спрашивал себя, откуда это странное чувство блаженства и счастья? Откуда?

Как знать? Оттого ли, что здесь была она? Но кто она? Какая-то незнакомая англичаночка. Я не любил ее, я не знал ее, и все же я был растроган, плепен! Мне хотелось спасти ее, пожертвовать собой, наделать ради нее тысячу безумств! Как странно! Чем объясняется, что присутствие женщины может до такой степени потрясти нас? Покоряет ли нас ее обаяние? Или же чары молодости и красоты пьянят нас, как вино?

А может быть, это прикосновение любви, той таинственной любви, которая беспрестанно стремится соединять живые существа, пробует свою силу всякий раз, когда сталкивает лицом к лицу мужчину и женщину и наполняет их волнением, смутным, тайным, глубоким волнением, как напитывают водою землю, чтобы вырастить на ней цветы?

Между тем безмолвие темноты, безмолвие неба становилось страшным; мы смутно различали вокруг нескончаемый негромкий гул, рокот морского прилива, монотонный плеск волн, ударяющих о корабль.

Вдруг я услышал плач. Плакала младшая из англичанок. Отец пытался утешить ее, и они заговорили на своем языке, которого я не понимал. Я догадывался, что он успокаивает ее, но что ей страшно.

Я спросил свою соседку:

— Вам не очень холодно, мисс?

— О да, очень много холодно.

Я предложил ей свое пальто, она отказалась; но я уже снял пальто и закутал ее, несмотря на все протесты. Во время этой короткой борьбы я дотронулся до ее руки, и по всему моему телу пробежала сладкая дрожь.

За последние несколько минут воздух посвежел и плеск воды о борт корабля усилился. Я встал; резкий порыв ветра ударил мне в лицо. Поднялся ветер!

Англичанин заметил это одновременно со мной и сказал просто:

— Для нас это очень плохое.

Конечно, это было плохо; нас ожидала верная смерть, если бы волны, даже не очень сильные, стали ударяться о разбитый корабль и встряхивать его; он был до такой степени разломан и расшатан, что первый большой вал разнес бы его в щепки.

Отчаяние наше росло с каждым мгновением, с каждым порывом крепчавшего ветра. Море уже слегка волновалось, и я видел в темноте, как возникают и исчезают белые полосы, полосы пены; волны одна за другой налетали на корпус *Мари Жозефа* и сотрясали его быстрыми толчками, отдававшимися в наших сердцах.

Англичанка дрожала; я чувствовал, как она трепещет рядом со мной, и испытывал безумное желание сжать ее в своих объятиях.

Впереди, слева, справа и позади нас, по всему берегу светились маяки — белые, желтые, красные вращающиеся маяки, похожие на огромные глаза, на глаза великана, которые глядели на нас, подстерегали, жадно выжидали нашей гибели. Один из них особенно раздражал меня. Он потухал каждые полминуты и тотчас же снова вспыхивал; это, право, был настоящий глаз с веком, непрерывно опускающимся над огненным взглядом.

Время от времени англичанин чиркал спичку, чтобы посмотреть, который час, а затем снова прятал часы в карман. Вдруг он обратился ко мне через головы дочерей и произнес с торжественной важностью:

— Сударь, поздравляю вас с Новым годом.

Была полночь. Я протянул ему руку, и он пожал ее; потом он произнес какую-то английскую фразу и вдруг вместе с дочерьми запел: *God save the Queen*[1]. Гимн понесся в черное небо, в безмолвное небо и развеялся в пространстве.

Сначала мне хотелось засмеяться, но потом меня охватило сильное и странное волнение.

[1] Боже, спаси королеву.

Было что-то мрачное и возвышенное в этом гимне потерпевших крушение, приговоренных к смерти, похожее на молитву, но и нечто большее, что можно было бы уподобить лишь великолепному древнему *Ave, Caesar, morituri te salutant*[1].

Когда они кончили, я попросил мою соседку, чтобы она спела балладу или легенду, что угодно, лишь бы отвлечь нас от наших тревог. Она согласилась, и тотчас же ее чистый молодой голос полетел в ночь. Она пела, должно быть, что-то печальное,— протяжные звуки медленно слетали с ее губ и парили над волнами, как раненые птицы.

Море вздувалось и хлестало о корабль. Но я не думал ни о чем, кроме ее голоса. И еще я думал о сиренах. Если бы мимо нас прошла какая-нибудь лодка, что подумали бы матросы? Мой взволнованный ум увлекся мечтою. Сирена! Может быть, она и правда сирена, эта морская дева, удержавшая меня на разбитом корабле, чтобы вместе со мной погрузиться в волны?..

Вдруг мы все пятеро покатились по палубе: *Мари Жозеф* опрокинулся на правый бок. Англичанка упала на меня, я схватил ее в объятия и, уже ничего не понимая, не сознавая, решив, что наступил последний миг, безумно целовал ее щеку, висок, волосы. Корабль больше не двигался, не шевелились и мы.

— Кэт! — окликнул отец.

Та, которую я обнимал, ответила «yes» и сделала движение, чтобы высвободиться. Право, в этот миг мне хотелось, чтобы корабль разверзся и мы с ней вдвоем упали в воду.

Англичанин сказал:

— Немного качает, но это было ничего. Все мои три дочери целы.

Не видя старшей, он сначала подумал, что она погибла!

Я медленно поднялся и вдруг заметил свет на море, совсем неподалеку. Я крикнул; мне ответили. Это была лодка, искавшая нас. Оказалось, что хозяин гостиницы предвидел нашу неосторожность.

---

[1] Цезарь, готовящиеся умереть приветствуют тебя *(лат.)*.

Мы были спасены. Я был в отчаянии! Нас сняли с нашего плота и доставили в Сен-Мартен.

Англичанин потирал руки и бормотал:

— Хорошо ужин! Хорошо ужин!

И мы действительно поужинали. Но мне не было весело, я жалел о *Мари Жозефе*.

Наутро мы расстались после долгих рукопожатий и обещаний писать. Они вернулись в Биарриц. Я чуть было не поехал за ними.

Я был влюблен, я собирался просить руки этой девочки. Проведи мы вместе еще неделю, я бы непременно женился! Как порою слабы и непостижимы мужчины!

Прошло два года, и от них не было никаких вестей; потом я получил письмо из Нью-Йорка. Она вышла замуж и сообщала мне об этом. И вот с тех пор мы каждый год обмениваемся новогодними письмами. Она рассказывает мне о своей жизни, о детях, о сестрах и никогда ничего о муже. Почему? Да, почему?.. А я пишу только о *Мари Жозефе*... Это, пожалуй, единственная женщина, которую я любил... нет... которую мог любить... Ах, ведь... мы ничего не знаем!.. События захватывают нас... а потом... а потом... все проходит... Сейчас она, наверно, старуха... я бы не узнал ее... Но та, прежняя... та, с корабля... какое создание... божественное!.. Она пишет, что стала совсем седая!.. Боже мой... как это больно!.. Ее белокурые волосы!.. Нет, нет, та, которую я знал, больше не существует... Как печально... как печально все это!..

ОТШЕЛЬНИК

Вместе с моими друзьями я отправился взглянуть на старого отшельника, который поселился на древнем могильном холме, поросшем большими деревьями посреди широкой равнины между Каннами и Напулем.

Возвращаясь, мы говорили об этих странных мирских пустынниках, ранее столь многочисленных, но почти вымерших в наши дни. Мы искали, мы пытались определить, какие моральные причины, какого рода несчастья побуждали людей в былые времена спасаться в одиночестве.

Один из моих спутников сказал вдруг:

— Я знал двух отшельников, мужчину и женщину. Женщина, должно быть, еще жива. Она жила лет пять тому назад среди развалин, на вершине совершенно необитаемой горы, на побережье Корсики, в пятнадцати или двадцати километрах от всякого жилья. Она жила там со своей служанкой; я посетил ее. В прошлом это была несомненно изящная светская женщина. Она приняла меня вежливо и даже приветливо, но я ничего о ней не знаю и ни о чем не мог догадаться.

Что же касается мужчины, то я вам расскажу, какой с ним произошел ужасный случай.

Обернитесь назад. Видите вон там, за Напулем, острую, поросшую лесом гору, которая выступает перед вершинами Эстереля? Здесь ее зовут Змеиной горой. На ней-то, в маленьком античном храме, и спасался мой отшельник лет двенадцать тому назад.

Прослышав о нем, я решил с ним познакомиться и вот в одно прекрасное мартовское утро отправился туда из Канн верхом. Оставив лошадь на постоялом дворе в Напуле, я начал взбираться пешком на этот странный конус, вышиной, вероятно, в полтораста или двести метров, поросший ароматическими растениями, по преимуществу ладанником, крепкий и резкий запах которого дурманит и вызывает недомогание. По каменистому склону то и дело скользят длинные ужи, исчезающие в траве. Отсюда вполне заслуженное название Змеиной горы. Бывают дни, когда змеи как бы рождаются у вас под ногами при подъеме по склону, залитому солнцем. Их так много, что боишься ступить и испытываешь какое-то странное беспокойство,— не страх, потому что ужи безвредны, но что-то вроде мистического ужаса. У меня много раз появлялось удивительное ощущение, будто я поднимаюсь на священную гору древности, на необычайный холм, благоуханный и таинственный, поросший ладанником, населенный змеями и увенчанный храмом.

Этот храм существует и поныне. То есть меня уверили, что это храм. А я и не пытался узнать больше, чтобы не испортить себе впечатления.

Итак, в одно мартовское утро я взобрался на эту гору полюбоваться видом. Дойдя до вершины, я действительно увидел стены храма и человека, сидевшего на камне. Ему было никак не более сорока пяти лет, хотя волосы у него уже совсем поседели; но борода была еще почти черная. Он гладил кошку, свернувшуюся у него на коленях, и, казалось, не обратил на меня никакого внимания. Я обошел вокруг развалин, часть которых, перекрытая ветками, соломой, травой и отгороженная камнями, служила этому человеку жильем, и снова вернулся к тому месту, где он сидел.

Оттуда открывался изумительный вид. Справа причудливые остроконечные вершины Эстереля, за ними безбрежное море, простирающееся до далеких, изрезанных бухтами берегов Италии, и прямо против Канн — острова Лерин, зеленые, плоские, как бы плывущие по морю; на последнем из них, со стороны моря, высокий старинный замок, с зубчатыми башнями, поднимается прямо из воды.

А над зеленым берегом, над длинными четками белых вилл, над белыми городами, выстроенными среди деревьев и похожими издали на бесчисленные яйца, снесенные на берегу, встают Альпы, с вершинами, покрытыми снежными шапками.

Я прошептал:

— Боже, какая красота!

Человек поднял голову и сказал:

— Да, но когда видишь это зрелище изо дня в день, оно надоедает.

Так, значит, он разговаривал, этот отшельник, он мог беседовать и скучал. Тогда он в моих руках.

В этот день я пробыл с ним недолго и попытался только определить характер его мизантропии. Он произвел на меня прежде всего впечатление человека, уставшего от людей, пресыщенного всем, безнадежно разочарованного и полного отвращения к себе и к окружающему.

Я расстался с ним после получасовой беседы. Неделю спустя я вернулся опять, потом пришел еще через неделю и, наконец, стал ходить еженедельно, так что не прошло двух месяцев, как мы сделались друзьями.

И вот, как-то вечером, в конце мая, я решил, что нужный момент настал, и, захватив с собой провизию, отправился на Змеиную гору пообедать вместе с отшельником.

Был один из тех благоуханных вечеров юга, страны, где цветы разводят, как на севере — рожь, где изготовляют почти все душистые эссенции для женских тел и женских платьев; один из тех вечеров, когда ароматы бесчисленных апельсиновых деревьев в каждом саду, в каждом уголке долины волнуют и навевают истому, пробуждая даже в стариках мечты о любви.

Мой пустынник, видимо, обрадовался мне и охотно согласился разделить со мной обед.

Я уговорил его выпить немного вина, от которого он успел отвыкнуть; он оживился и начал рассказывать мне о своем прошлом. Он постоянно жил в Париже и, насколько я мог понять, вел веселую жизнь.

Неожиданно я спросил его:

— Почему, собственно, вам вздумалось взобраться на эту гору?

Он тотчас же ответил:

— Я пережил самое сильное потрясение, какое только может испытать человек. Но к чему скрывать от вас мое несчастье? Может быть, оно пробудит в вас жалость ко мне. И потом... я никогда еще никому об этом не рассказывал... никогда... и хотел бы знать... в конце концов... что подумают другие... как они на это посмотрят...

Я родился в Париже, получил образование в Париже, вырос и прожил всю жизнь в этом городе. Родители оставили мне ренту в несколько тысяч франков, а по протекции я получил спокойную и скромную должность, так что для холостяка был довольно богатым человеком.

С самых ранних лет я вел холостяцкую жизнь. Вы понимаете, что это значит. Свободный, без семьи, твердо решив не обзаводиться супругой, я проводил три месяца с одной женщиной, полгода с другой, а иногда жил по году без любовницы, выбирая себе случайных подруг среди множества доступных или продажных женщин.

Это банальное и, если хотите, пошлое существование вполне подходило мне, так как удовлетворяло мою природную склонность к переменам и к праздности. Я проводил жизнь на бульварах, в театрах и в кафе, всегда на людях, почти как бездомный, хотя имел хорошую квартиру. Я был один из множества тех людей, которые плывут по течению, как пробка по воде, для которых стены Парижа — это стены мира и которые не заботятся ни о чем, потому что ничего не любят. Я был, что называется, славный малый, без достоинств и без недостатков. Вот и все. Я даю себе вполне точную оценку.

Так протекала моя жизнь с двадцати до сорока лет, медленно и стремительно, без особых событий. Как быстро пролетают они, эти однообразные годы парижской жизни, не оставляя в памяти никаких воспоминаний, отмечающих даты, эти долгие и быстротечные, банальные и веселые годы, когда пьешь, ешь, смеешься, сам не зная почему, когда тянешься губами ко всему, что можно отведать или поцеловать,— и ничего, в сущности, не желаешь! Уж молодость прошла, уже старишь-

ся, так и не сделав ничего, что делают другие, не приобретя никаких привязанностей, никаких корней, никаких связей, почти без друзей, и нет у тебя ни родных, ни жены, ни детей!

Итак, я безмятежно достиг сорокалетнего возраста и, чтобы отпраздновать день своего рождения, угостил сам себя хорошим обедом в большом кафе. Я был одинок, и мне показалось забавным отпраздновать этот день в одиночестве.

После обеда я начал раздумывать, что делать дальше. Сперва мне захотелось пойти в театр, но потом я решил совершить паломничество в Латинский квартал, где когда-то изучал право. И вот я отправился туда через весь Париж и случайно зашел в пивную, где прислуживали девушки.

Та, которая подавала за моим столиком, была еще совсем молоденькая, хорошенькая и веселая. Я предложил ей выпить со мной, и она тотчас же согласилась. Она уселась напротив меня и, желая узнать, с каким типом мужчины имеет дело, окинула меня опытным взглядом. Это была совсем светлая блондинка, свежее, ослепительно свежее создание; под натянутой материей корсажа угадывалось розовое, упругое тело. Я наговорил ей множество пустых любезностей, какие обычно говорят подобным женщинам, но так как она действительно была очаровательна, мне пришла вдруг мысль увести ее с собой... опять-таки, чтобы отпраздновать мое сорокалетие. Уговорить ее удалось быстро и без труда. Она была свободна... вот уже две недели, по ее словам... и для начала согласилась поужинать со мной, после окончания работы, в кабачке возле Крытого рынка.

Боясь, что она меня обманет,— ведь не угадаешь, что может случиться, кто может зайти в пивную или что взбредет в голову женщине,— я просидел в этой пивной весь вечер, поджидая ее.

Я тоже был свободен уже месяц или два и, глядя, как переходила от столика к столику эта прелестная дебютантка на поприще Любви, подумывал, не заключить ли мне с нею контракт на некоторое время. Я ведь вам рассказываю сейчас одно из самых пошлых и обыденных приключений парижанина.

Извините за эти грубые подробности. Те, кому не довелось испытать поэтическую любовь, выбирают женщину, как котлету в мясной, не заботясь ни о чем, кроме качества товара.

Итак, мы отправились к ней, потому что собственная постель для меня священна. Это была комнатка работницы, на пятом этаже, чистенькая и бедная; я приятно провел здесь два часа. Она оказалась на редкость милой и привлекательной, эта девочка!

Перед уходом я условился о следующем свидании с девушкой, еще лежавшей в постели, подошел к камину, чтобы оставить на нем традиционный подарок, и окинул беглым взглядом часы под стеклянным колпаком, две вазы с цветами и две фотографии, одна из которых, очень старая, представляла собою отпечаток на стекле — так называемый дагерротип. Случайно нагнувшись над ней, я замер от удивления, я был настолько поражен, что ничего не мог понять... Это был мой собственный портрет, первый из моих портретов... снятый давным-давно, когда я, еще студентом, жил в Латинском квартале.

Я порывисто схватил карточку, чтобы разглядеть ее поближе. Да, сомнений быть не могло... Я чуть не расхохотался, до того все это показалось мне неожиданным и забавным.

Я спросил:

— Что это за господин?

Она ответила:

— Это мой отец; я никогда его не видела. Мама оставила мне карточку и сказала, чтобы я ее берегла, что она мне когда-нибудь еще может пригодиться.

Она помолчала, потом засмеялась и продолжала:

— По правде сказать, я не знаю, на что она может пригодиться. Не думаю, чтобы отец объявился и признал меня.

Сердце мое билось с бешеной скоростью; так мчится лошадь, закусившая удила. Я положил портрет обратно на камин и, плохо понимая, что делаю, накрыл его сверху двумя бумажками по сто франков, оказавшимися у меня в кармане, и убежал, крикнув ей:

— До свидания... до скорого свидания... дорогая.

И слышал, как она ответила:

— До вторника.

Я очутился на темной лестнице и ощупью спустился по ней.

Выйдя из подъезда, я заметил, что идет дождь, и быстро свернул в первую попавшуюся улицу.

Я шел, куда глаза глядят, ошеломленный, потрясенный, роясь в своих воспоминаниях. Возможно ли это? Да! Я вспомнил вдруг об одной девушке, которая приблизительно через месяц после нашего разрыва написала мне, что она беременна от меня. Я разорвал или сжег ее письмо и забыл о нем. Надо было взглянуть на женский портрет, стоявший у девочки на камине. Впрочем, мне вряд ли удалось бы ее узнать. Это, кажется, был портрет старой женщины.

Я дошел до набережной. Увидел скамейку и сел. Дождь не прекращался. Изредка мимо проходили люди под зонтами. Жизнь представилась мне во всей своей низости и подлости, полная позора и горя, сознательной и бессознательной гнусности. Моя дочь!.. Быть может, я в самом деле только что обладал собственной дочерью!.. Париж, огромный Париж, мрачный, угрюмый, грязный, печальный, черный, за запертыми дверями своих домов был полон подобных ужасов, прелюбодеяний, кровосмесительства, растления детей. Я вспомнил рассказы об омерзительных развратниках, которые бродят под мостами.

Не ведая того, не желая, я поступил хуже этих негодяев. Я спал с собственной дочерью!

Я чуть не бросился в реку. Я обезумел! Я бродил по улицам до утра, потом вернулся домой, чтобы все обдумать.

Далее я поступил так, как мне казалось всего благоразумнее: поручил нотариусу вызвать девушку и расспросить ее, при каких обстоятельствах мать передала ей портрет того, кого считала ее отцом; я сказал нотариусу, что действую от имени друга.

Нотариус исполнил мое поручение. Женщина открыла дочери, кто ее отец, лишь на смертном ложе и в присутствии священника, имя которого мне указали.

Тогда от имени того же неизвестного друга я перевел на девушку половину моего состояния, около ста сорока тысяч, с тем чтобы она могла пользовать-

ся только рентой, потом подал в отставку и очутился тут.

Скитаясь вдоль побережья, я набрел на этот холм и остался здесь... Надолго ли?.. Не знаю!

Что вы думаете обо мне... и о том, что я сделал?

Я протянул ему руку и ответил:

— Вы поступили так, как надо. Большинство людей не придало бы такого значения этой ужасной роковой случайности.

Он ответил:

— Это так, но я-то, я чуть не сошел с ума. Оказалось, что у меня очень чувствительная душа, о чем я никогда не подозревал. А теперь я боюсь Парижа, как, должно быть, верующие боятся ада. Меня это оглушило, оглушило, как будто мне на голову свалилась черепица. В последнее время я чувствую себя несколько лучше.

Я расстался с моим отшельником. Рассказ его сильно взволновал меня.

Мы виделись еще два раза, потом я уехал, так как никогда не остаюсь на юге позже мая.

Когда я вернулся на следующий год, его уже не было на Змеиной горе, и больше я никогда о нем не слыхал.

Вот вам история моего отшельника.

МАДМУАЗЕЛЬ ПЕРЛЬ

I

И что за странная мысль пришла мне в этот вечер — избрать королевой мадмуазель Перль!

Каждый год я встречаю крещенский сочельник у нашего старинного друга Шанталя. Мой отец был его близким приятелем и водил меня к нему, когда я еще был мальчиком. Я же посещаю и, вероятно, буду посещать его до тех пор, пока я жив и пока на свете существует Шанталь.

Кстати, Шанталь ведут необычный образ жизни; они живут как будто не в Париже, а где-нибудь в Грассе, Ивето или Понт-а-Муссоне.

У них особнячок с садом возле самой Обсерватории. Здесь они чувствуют себя дома, совсем как в провинции. О Париже, настоящем Париже, они ничего не знают; они даже не подозревают, какой он на самом деле. Ведь они от него так далеко, так далеко!

Впрочем, иногда они выезжают в город, и это целое событие. Как говорят в семье, г-жа Шанталь отправляется «делать закупки». Вот как это происходит.

Настает день, когда мадмуазель Перль, у которой хранятся ключи от кухонных шкафов (ключами от бельевых шкафов ведает сама хозяйка), мадмуазель Перль предупреждает, что сахар на исходе, консервы кончились, а кофе осталось в мешке совсем немного. И вот г-жа Шанталь начинает принимать меры против голода, грозящего семье. Она производит смотр остат-

кам и делает себе заметки в записной книжке; наставив множество всяких цифр, она предается долгим вычислениям, а затем долгим спорам с мадмуазель Перль. Однако в конце концов они приходят к соглашению и окончательно устанавливают количество продуктов, которыми необходимо запастись на три месяца: сахара, риса, чернослива, кофе, варенья, банок с зеленым горошком, фасоли, омаров, копченой или соленой рыбы и прочее и прочее.

Затем назначается день для закупок и, наняв извозчичью карету, они едут в лавку солидного бакалейщика, находящуюся по ту сторону мостов, в новых кварталах.

Г-жа Шанталь и мадмуазель Перль уезжают вдвоем, тайно, и возвращаются к обеду, все еще взволнованные, измученные. Их растрясло в карете, верх которой завален свертками и мешками, словно это фургон для перевозки багажа.

Для Шанталей весь район Парижа по ту сторону Сены — это новые кварталы, где живут какие-то странные, шумливые, не очень почтенные люди; днем эти люди только и делают, что развлекаются, ночами кутят и вообще швыряют деньги в окошко. Все же время от времени дочерей вывозят в театр, в «Комическую оперу», во «Французскую комедию», но лишь в том случае, если пьесу хвалит газета, которую выписывает г-н Шанталь.

Дочкам сейчас одной девятнадцать, другой семнадцать лет. Это красивые девушки, рослые и свежие, очень хорошо воспитанные, слишком хорошо воспитанные, настолько хорошо воспитанные, что их не замечаешь, просто две красивые куклы. Никогда мне и в голову не пришло бы обратить особое внимание на барышень Шанталь или поухаживать за ними. С ними едва дерзаешь говорить, до того они непорочны. Просто поздороваться — и то уже кажется неприличием.

Их отец — обаятельный человек, очень образованный, очень сердечный, очень приветливый, но больше всего он любит отдых, покой, тишину и сам постарался превратить быт семьи в стоячее болото, чтобы жить по своему вкусу. Он много читает, охотно беседует, его легко растрогать. Отсутствие общения с людьми, трений,

столкновений сделало чрезвычайно чувствительной его эпидерму, так сказать, моральную эпидерму. Малейший пустяк волнует его, выводит из равновесия, заставляет страдать.

У Шанталей есть знакомые, но их круг весьма ограничен и тщательно отобран среди ближайших соседей. Два — три раза в год семья обменивается визитами с родственниками, живущими далеко.

Что же касается меня, то я обычно обедаю у них пятнадцатого августа и в крещенский сочельник. Для меня это своего рода выполнение долга, как для католика — причастие на пасху.

Пятнадцатого августа приглашают несколько друзей, но в крещенский сочельник я единственный гость в семье.

II

Итак, в этом году я, по обычаю, обедал под крещение у Шанталей.

Как всегда, я поцеловался с г-ном Шанталем, г-жой Шанталь и мадмуазель Перль и отвесил глубокий поклон мадмуазель Луизе и мадмуазель Полине. Меня засыпали вопросами о городских происшествиях, о политике, о том, что говорят относительно положения дел в Тонкине, о наших представителях. Г-жа Шанталь толстая дама — все ее мысли кажутся мне квадратными, наподобие каменных плит,— имела привычку, в виде заключительной фразы ко всякому политическому спору, вещать: «Вот увидите, все это добром не кончится!» Отчего я вообразил, что мысли г-жи Шанталь четырехугольные? Сам не знаю, но что бы она ни говорила, мне сейчас же рисуется квадрат с четырьмя симметричными углами. А есть люди, чьи мысли в моем представлении всегда круглые и катятся, словно обручи. Достаточно таким людям рот открыть — и пошло, покатилось, по десять, двадцать, пятьдесят круглых мыслей, больших, маленьких, одна за другой, до бесконечности. И есть люди, у которых мысли заостренные... Но дело не в этом!

Мы сели за стол, и обед прошел без всяких достойных внимания эпизодов. Во время десерта на стол был

подан крещенский сладкий пирог. Королем ежегодно оказывался г-н Шанталь. Был ли то неизменный каприз случая или же семейный заговор, не знаю, но хозяин всегда находил боб в своем куске праздничного пирога и непременно провозглашал королевой г-жу Шанталь. Поэтому я был весьма изумлен, когда откусил кусок пирога и ощутил какой-то твердый предмет, о который чуть не сломал себе зуб. Я осторожно извлек этот предмет изо рта и увидел маленькую фарфоровую куколку, не больше боба. У меня вырвалось невольное восклицание: «А!» Все взглянули на меня, а Шанталь захлопал в ладоши и закричал:

— У Гастона! У Гастона! Да здравствует король! Да здравствует король!

Все подхватили хором:

— Да здравствует король!

И я покраснел до корней волос, как иной раз краснеешь без причины, просто когда попадаешь в дурацкое положение. Я сидел, опустив глаза, осторожно держа двумя пальцами фарфоровую куколку, силясь улыбнуться, не зная, что делать, что сказать, а Шанталь продолжал:

— Теперь выбирай королеву.

Тогда я окончательно растерялся. В одно мгновение тысячи мыслей, тысячи предположений вихрем пронеслись в моей голове. Может быть, от меня ждали, чтобы я выбрал одну из барышень Шанталь? Может быть, это способ выведать, которой из них я отдаю предпочтение? Или незаметная, осторожная, деликатная попытка родителей подтолкнуть меня к возможному браку? Ведь мысль о браке постоянно бродит в домах, где есть взрослые барышни, и принимает всякие формы, прячется за всякими личинами, пользуется всякими уловками.

Мною овладел отчаянный страх связать себя и ужасная робость перед закоренелой, неприступной добродетелью Луизы и Полины. Предпочесть одну другой казалось мне столь же затруднительным, как сделать выбор между двумя каплями воды, кроме того, меня чрезвычайно смущали опасения, как бы не запутаться во всем этом, чтобы потом меня, против воли, мягко и незаметно не довели до женитьбы с по-

мощью неуловимых и безобидных приемов, вроде этой шутовской королевской власти.

Но вдруг меня осенила блестящая мысль, и я протянул мадмуазель Перль символическую куколку.

В первую минуту все удивились, но потом, вероятно оценив мою тактичность и скромность, стали бурно рукоплескать и кричать:

— Да здравствует королева! Да здравствует королева!

А она, бедная старая дева, совсем оробела. Растерянно, дрожащим голосом она лепетала:

— Нет... нет... нет... не меня! Пожалуйста... не меня... пожалуйста!

Тогда я впервые внимательно посмотрел на мадмуазель Перль и задал себе вопрос: что же она, собственно, собой представляет?

Я привык видеть ее в этом доме и не замечать, как не замечаешь старые тканые кресла, на которые садишься с детства. Но вот однажды, неизвестно почему,— то ли солнечный луч упал на сиденье,— вдруг говоришь себе: «А ведь это прелюбопытное кресло!» И обнаруживаешь, что резьба на дереве сделана художественно, а обивка замечательная. Я никогда раньше не обращал внимания на мадмуазель Перль.

Она была членом семьи Шанталь, вот и все. Но почему? В качестве кого?

Это была высокая худая женщина; она всегда старалась держаться в тени, но отнюдь не была бесцветной. Шанталн относились к ней дружески, она была, видимо, больше чем экономка, но меньше чем родственница. Теперь я вдруг вспомнил множество до сих пор мало интересовавших меня оттенков в отношении к ней. Г-жа Шанталь звала ее «Перль», барышни — «мадмуазель Перль», Шанталь просто «мадмуазель», но, быть может, с оттенком большей почтительности.

Я стал рассматривать ее. Сколько же ей лет? Сорок? Да, пожалуй, сорок лет. Она вовсе не была старухой, эта старая дева, она себя старила. Я был неожиданно поражен этим открытием. Ее прическа, платья, украшения были смешны, и все же она отнюдь не казалась смешной, столько в ней было врожденного, бесхитростного изящества, стыдливо, тщательно скрываемого.

Вот странное создание! Отчего я никогда не наблюдал за ней повнимательнее? Прическа ее была уродлива, с какими-то забавными старушечьими букольками, а под этими волнами волос в стиле непорочной девственницы белел высокий ясный лоб, пересеченный двумя морщинами — следами долгих печальных дум, и светились глаза, большие, голубые, кроткие, такие застенчивые, такие робкие, такие смиренные, чудесные глаза, сохранившие детскую наивность и полные девичьего изумления, юной чувствительности, полные скорби, глубоко пережитой, смягчившей их, но не затуманившей их блеска.

От всех ее черт веяло благородством и скромностью,— это было одно из тех лиц, которые блекнут не старея, оно не было опустошено ни усталостью от жизни, ни сильными страстями.

Какой прелестный рот! А какие прелестные зубы! Но улыбнуться она, казалось, не осмеливается.

И вдруг я сравнил ее с г-жой Шанталь! Конечно, мадмуазель Перль во сто раз лучше, тоньше, благороднее, величавее.

Я был поражен этими наблюдениями. Разлили шампанское. Я протянул мой бокал королеве и с галантным комплиментом провозгласил тост в ее честь.

Я заметил, что ей хочется закрыть лицо салфеткой; когда же она пригубила золотистую влагу, то все воскликнули:

— Королева пьет! Королева пьет!

Тогда она вспыхнула и поперхнулась. Все засмеялись, но я хорошо видел, что в этой семье очень любят ее.

III

Как только обед кончился, Шанталь взял меня под руку. Наступил священный миг, когда он выкуривал сигару. Если он был один, то выходил курить на улицу. Если же бывали гости, то он вместе с ними подымался в бильярдную и курил, играя.

В этот вечер, по случаю праздника, бильярдную даже протопили; мой старый друг, взяв свой, очень тонкий кий, старательно натер его мелом и сказал:

— Тебе начинать, мой мальчик.

Он говорил мне «ты», хотя мне было уже двадцать пять лет, но он ведь знал меня еще ребенком.

Итак, я начал партию. Несколько ходов я выиграл; несколько проиграл; но мысль о мадмуазель Перль не выходила у меня из головы, и я вдруг спросил:

— Скажите, господин Шанталь, мадмуазель Перль — ваша родственница?

Крайне изумленный, он прекратил играть и взглянул на меня.

— Как! Разве ты не знаешь? Ты не слыхал истории мадмуазель Перль?

— Нет.

— Твой отец никогда тебе не рассказывал?

— Да нет же.

— Так! Так! Забавно! Очень забавно! О! Ведь это целое приключение.

Он умолк, затем продолжал:

— И если бы ты знал, как странно, что ты именно сегодня спросил меня об этом, сегодня — накануне крещения!

— Отчего странно?

— Отчего? Ну, вот слушай. Сегодня, в крещение, как раз исполняется сорок один год с того самого дня, да, сорок один год. Мы жили тогда в Роюи-ле-Тор, на крепостном валу. Но сначала я должен описать наш дом, чтобы тебе было понятно. Роюи стоит на косогоре, вернее на холме, который возвышается над широкими равнинами. У нас там был собственный дом с чудесным висячим садом, который держался на старинных крепостных стенах. Таким образом, дом выходил на городскую улицу, а сад был обращен к равнине. Из сада в поле вела калитка, к ней надо было спускаться потайной лесенкой, проделанной в толще стены, как описывают в романах. Мимо калитки проходила дорога, а рядом висел большой колокол, так как крестьяне, чтобы не объезжать кругом, подвозили продукты прямо к этой калитке.

Ты представляешь себе ясно эти места, не правда ли?

В этот год, за неделю до крещения, повалил снег. Казалось, настал конец света. Когда мы поднимались

на крепостной вал взглянуть на равнину, душа буквально стыла от этого бесконечного белоснежного простора, оледеневшего и блестевшего так, словно он был покрыт лаком. Казалось, господь бог нарочно так упаковал землю, чтобы отправить ее на чердак угасших миров. Уверяю тебя, зрелище было очень грустное.

Жили мы тогда семьей, и нас было много, очень много: мой отец, моя мать, дядя, тетка, два брата и четыре кузины, прехорошенькие девочки! Я женился на младшей. В живых остались теперь только моя жена, я и моя свояченица, что живет в Марселе. Боже мой! Как рассыпается семья! Когда я об этом думаю, просто тоска берет! В ту пору мне было пятнадцать лет, ведь сейчас мне пятьдесят шесть.

— Итак, мы собрались праздновать крещение, и все были очень, очень веселы! Мы сидели в гостиной и ждали обеда, как вдруг старший брат Жак сказал: «Я уже минут десять слышу со стороны равнины собачий вой; вероятно, какой-нибудь несчастный пес заблудился».

Не успел он договорить, как зазвонил колокол у калитки. У него был низкий звук, похожий на звук церковного колокола, когда он звонит по покойнике. Все вздрогнули. Отец позвал слугу и отправил его на разведку. Мы ждали в глубоком молчании; нам представлялся снег, устилавший всю землю. Слуга вернулся и сказал, что никого нет.

А собака продолжала выть, и вой доносился все с той же стороны.

Сели за стол; но все были взволнованы, особенно молодежь. До жаркого все шло благополучно, но вот снова раздался звон. Колокол прозвонил трижды; три долгих громких удара насквозь пронизали нас, у всех перехватило дыхание. Мы замерли, глядя друг на друга, держа вилки в руках, и вслушивались, охваченные каким-то суеверным ужасом.

Наконец заговорила матушка: «Удивительно, что во второй раз позвонили спустя столько времени! Батист, не ходите один, пусть с вами пойдет кто-нибудь из господ».

Дядя Франсуа встал. Он был прямо Геркулес, очень гордился своей силой и ничего на свете не боялся.

Отец сказал ему: «Возьми ружье. Кто знает, что это может быть».

Но дядя взял с собой лишь трость и вышел вместе со слугой.

Мы же продолжали сидеть, дрожа от ужаса и неизвестности, не в силах есть, не в силах заговорить.

Отец пытался успокоить нас: «Вот увидите, это какой-нибудь нищий или заблудившийся в снегах прохожий. Он позвонил в первый раз и, видя, что ему не открывают, попытался выбраться на дорогу, но не мог и позвонил вторично».

Нам показалось, что дядя отсутствует уже целый час. Наконец он вернулся, сердитый, ругаясь: «Ни души, черт возьми! Кто-то просто безобразничает! А эта проклятая собака все воет в ста метрах от стены. Если бы со мной было ружье, я бы пристрелил ее на месте, чтобы не слышать этого воя».

Все опять сели за стол, но на душе у каждого была щемящая тревога. Было ясно, что на том дело не кончится, что-то должно произойти и колокол сейчас снова зазвонит.

И он зазвонил как раз в то мгновение, когда хозяйка разрезала крещенский пирог. Все мужчины поднялись разом. Дядя Франсуа, выпивший шампанского, так свирепо заявил, что уничтожит *его,* что мама с тетей бросились к нему и попытались успокоить. Отец, человек очень сдержанный и несколько беспомощный (он волочил одну ногу, сломанную во время падения с лошади), все же заявил, что желает выяснить, в чем дело, и тоже пойдет. Братья — им было восемнадцать и двадцать лет — побежали за своими ружьями, а так как на меня никто не обращал внимания, я схватил пугач и решил сопровождать их.

Мы тут же тронулись в путь. Отец и дядя шли впереди с Батистом, который нес фонарь. За ними следовали братья, Жак и Поль, а я замыкал шествие, вопреки мольбам матери, стоявшей вместе с теткой и кузинами на пороге дома.

За час перед тем снова повалил снег, и деревья стояли все запушенные. Сосны гнулись под тяжестью этого свинцового савана, они были похожи на белоснежные

пирамиды, на огромные сахарные головы, и сквозь мутную завесу мелких и быстрых снежинок едва маячили тонкие кусты, напоминавшие бледные призраки. Он валил такими густыми хлопьями, этот снег, что в десяти шагах ничего не было видно. Но фонарь бросал впереди нас яркий луч. Когда мы начали спускаться по винтовой лестнице в стене, то, уверяю вас, я струсил. Мне почудилось, что сзади кто-то идет, что меня сейчас схватят за плечи и утащат; и мне захотелось повернуть обратно; но так как надо было пройти весь сад, я не решился.

Я слышал, как отворилась калитка, выходившая в поле, и как дядя принялся браниться: «Вот черт! Опять удрал! Ну, погоди, только тень твою увижу, тогда держись, сукин сын!»

Жутко было видеть, или, точнее, чувствовать перед собой равнину, ибо видеть ее было нельзя: виден был лишь белый бесконечный саван, вверху, внизу, впереди, направо, налево, всюду.

Снова раздался голос дяди: «Слышите, опять собака воет! Ну, я покажу ей, как я умею стрелять. Хоть с ней разделаемся!»

Отец, человек добрый, остановил его: «Гораздо лучше пойти и привести несчастное животное, которое, наверно, воет от голода. Оно же зовет нас, как гибнущий человек. Идем!»

И мы снова пустились в путь сквозь эту завесу, сквозь этот непрерывный густой снегопад, сквозь эту пену, которой были насыщены и ночь и воздух, которая колебалась, кружилась, падала и, тая, леденила кожу так, словно обжигала ее острой и мгновенной болью при каждом прикосновении мелких и порхающих хлопьев.

Мы по колено утопали в рыхлой и холодной массе, и, чтобы идти, надо было высоко поднимать ноги. С каждым шагом собачий вой доносился все яснее, все громче. Наконец дядя крикнул: «Вот она!» Все остановились, чтобы рассмотреть ее, как поступают при встрече с врагом в ночной темноте.

Я решительно ничего не видел; тогда я нагнал остальных и разглядел ее; она казалась жутким и фантастическим существом, эта большая черная овчарка,

с густой шерстью и волчьей мордой, стоявшая в самом конце длинного луча, который падал из фонаря на снег. Собака словно оцепенела. Когда мы подошли, она перестала выть и только смотрела на нас.

Дядя сказал: «Вот странно, она не идет ни туда, ни сюда; у меня руки чешутся всадить в нее пулю!»

Отец решительно воспротивился: «Нет, надо взять ее с собой».

Тогда брат Жак воскликнул: «А ведь она не одна! Тут, рядом с ней, что-то стоит».

Действительно, позади собаки смутно выступало нечто серое, неразличимое. Все вновь опасливо сделали несколько шагов.

При нашем приближении собака уселась. Вид у нее был не злой. Скорее она казалась довольной, что ей удалось привлечь внимание людей.

Отец прямо подошел к ней и погладил ее. Собака стала лизать ему руки, и тут мы обнаружили, что она привязана к колесу детской коляски, вроде игрушечных повозок, обернутой тремя или четырьмя шерстяными одеялами. Одеяла осторожно развернули, и когда Батист поднес фонарь к дверке колясочки, напоминавшей гнездо на колесах, мы увидели в ней спящее дитя.

Все были так поражены, что не могли слова вымолвить. Первым пришел в себя отец. И так как он был человек великодушный и слегка экзальтированный, то простер руку над верхом коляски и произнес: «Бедный подкидыш, мы примем тебя в свою семью!» И приказал брату Жаку катить к дому нашу находку.

Затем заговорил снова, словно думая вслух: «Наверно, это дитя любви, и несчастная мать позвонила у моей двери в крещенскую ночь во имя божественного младенца!»

Он смолк, затем громко крикнул в ночь, на все четыре стороны: «Мы взяли дитя!» И, опустив руку на плечо брата, прошептал: «А что, если бы ты выстрелил в собаку, Франсуа?»

Дядя ничего не ответил, но в темноте широко перекрестился — он был очень религиозен, несмотря на свое бахвальство.

Собаку отвязали, и она шла за нами.

Да! Наше возвращение домой было поистине радостным зрелищем.

Мы с большим трудом подняли колясочку по лестнице в толще стены; но, наконец, это все же удалось, и она въехала прямо в переднюю.

Какая смешная была мама, довольная и взволнованная! А мои четыре маленькие кузины (младшей было всего шесть лет) теснились, словно четыре насе́дочки вокруг гнезда.

Наконец малютку, продолжавшую спать, вынули из коляски. Это была девочка примерно шести недель. В ее пеленках обнаружили десять тысяч франков золотом, да, представь, десять тысяч франков; папа положил их на ее имя в банк, в виде будущего приданого. Итак, это не был ребенок бедняков... а скорее дочь дворянина и скромной горожанки, или... Словом, мы строили тысячу предположений, но нам так и не удалось узнать ничего достоверного... ничего... ничего. Даже собаки, и той никто не признал. Она была не из наших мест. Во всяком случае, тот или та, кто трижды позвонил у наших дверей, видимо, хорошо знал моих родителей, раз на них остановил свой выбор.

Вот каким образом мадмуазель Перль шести недель от роду вошла в дом Шанталей.

Впрочем, ее уже потом прозвали мадмуазель Перль. А окрестили ее «Мари-Симона-Клэр». Клэр — должно было служить ей фамилией.

Очень странным было и наше возвращение в столовую с проснувшейся крошкой на руках, глядевшей на всех этих людей, на эти огни мутными, голубыми, испуганными глазенками.

Мы снова уселись за стол, и пирог был разложен по тарелкам. Я оказался королем и королевой избрал мадмуазель Перль, как ее только что избрал ты. А она в тот день едва ли подозревала о той чести, которая была ей оказана.

Итак, мои родители усыновили ребенка и воспитали в нашей семье. Девочка выросла; годы шли. Она была мила, кротка, послушна. Все любили ее и, наверно, ужасно избаловали бы, если бы не моя мать.

Матушка была женщиной твердых правил и строгой блюстительницей общественной иерархии. Она го-

това была относиться к Клэр, как к собственным детям, но все же требовала, чтобы отделявшее нас расстояние соблюдалось неукоснительно и точно.

Поэтому, как только малютка подросла, матушка ей рассказала ее историю и очень бережно, даже нежно внушила девочке, что она всего лишь приемная дочь Шанталей и, собственно говоря, посторонняя.

Клэр поняла свое положение с особенной проницательностью, с какой-то удивительной чуткостью; она сумела занять и сохранить то место, которое было ей предоставлено, с таким тактом, достоинством и очарованием, что до слез умиляла моего отца.

Даже моя мать была так тронута пылкой признательностью и застенчивой преданностью этого миловидного, нежного создания, что стала звать ее: «Дочь моя!» Порой, когда девочка поступала особенно хорошо и деликатно, мама, подняв на лоб очки, что служило у нее всегда признаком волнения, повторяла: «Нет, это дитя — перл! Настоящий перл!»

Прозвище так и укрепилось за маленькой Клэр, и она продолжает оставаться для нас мадмуазель Перль.

IV

Г-н Шанталь смолк. Он сидел на бильярдном столе, болтая ногами, левой рукой он подбрасывал шар, правой — мял тряпку, предназначенную стирать меловые отметки на грифельной доске и прозванную нами «меловым полотенцем». Слегка разрумянившись, он продолжал говорить глухим голосом, уже как бы сам с собой, уйдя весь в свои воспоминания, и казалось, он тихонько бродит по далекому прошлому, среди отзвучавших событий, теперь просыпавшихся в его душе, как мы бродим по старинному фамильному парку, где мы выросли, где каждое дерево, каждая тропинка, каждый кустик — и колючий дикий терновник, и душистый лавр, и тис, чьи алые сочные ягоды лопаются между пальцами,— все воскрешает на каждом шагу какую-нибудь мелочь из нашей былой жизни, одну из тех мелочей, незначительных и милых, которые образуют самую основу нашего существования.

Я же стоял перед ним, прислонившись к стене и опершись на ненужный бильярдный кий.

Помолчав, он продолжал:

— Боже мой! Как она была хороша в восемнадцать лет... грациозна... прекрасна!.. Да! красавица... красавица... красавица... и добра... и благородна... чудесная девушка! Глаза у нее были... голубые... прозрачные... ясные... Таких глаз я никогда не видел... никогда!

Он опять помолчал. Я спросил:

— Отчего она не вышла замуж?

Он ответил не на мой вопрос, а на прозвучавшее слово «замуж».

— Отчего? Отчего? Не пожелала... не пожелала! А ведь за ней было тридцать тысяч франков приданого, и ей много раз делали предложение. А вот не пожелала. Она все грустила почему-то. Это было как раз, когда я женился на моей кузине, на маленькой Шарлотте, моей жене, женихом которой я был шесть лет.

Я взглянул на г-на Шанталя, и мне показалось, что я проник в его мысли, внезапно проник в одну из незаметных мучительных драм сердца, благородного, честного, безупречного, в глубь одного из тех сердец, замкнутых и неразгаданных, которые не открываются ни перед кем, даже перед тем, кто является их безгласной и покорной жертвой.

И вдруг, побуждаемый дерзким любопытством, я сказал:

— Вам следовало жениться на ней, господин Шанталь.

Он вздрогнул, посмотрел на меня и переспросил:

— Мне? Жениться на ком?

— На мадмуазель Перль.

— Почему это?

— Потому что вы ее любили больше, чем вашу кузину.

Он посмотрел на меня странными, округлившимися, испуганными глазами и пролепетал:

— Я любил ее... я? Что? Кто тебе сказал?

— Да это же ясно, черт возьми!.. Из-за нее вы откладывали и ваш брак с кузиной, которая ждала вас целых шесть лет!

Он выронил шар, который был у него в левой руке,

обеими руками схватил меловое полотенце и, прижав его к лицу, зарыдал. Он рыдал отчаянно, нелепо; слезы, как из губки, лились у него из глаз, из носа, изо рта, и он кашлял, плевался, сморкался в меловое полотенце, вытирал глаза, чихал, вновь изливал влагу через все щели своего лица с таким бульканьем, словно полоскал горло.

А я стоял ошеломленный и пристыженный. Мне хотелось убежать, я не знал, что делать, что говорить, что предпринять.

Внезапно с лестницы донесся голос г-жи Шанталь:

— Ну? Вы там скоро кончите курить?

Распахнув дверь, я ответил:

— Да, мы сейчас идем, госпожа Шанталь.

Затем бросился к мужу, схватил его за локти.

— Господин Шанталь, друг мой, Шанталь, послушайте, вас зовет жена, успокойтесь, успокойтесь поскорее, надо идти вниз, успокойтесь.

Он забормотал:

— Да... да... иду... бедная девушка... иду... скажите ей, я сейчас иду.

Он усердно принялся вытирать лицо полотенцем, которым в продолжение нескольких лет стирали мел. Когда наконец он открыл лицо, оно было все красно-белое: лоб, нос, щеки и подбородок вымазаны мелом, а глаза воспалены и еще полны слез.

Я схватил его за руки и увлек к нему в спальню, бормоча:

— Простите меня, умоляю вас, простите меня, господин Шанталь, я сделал вам больно... но... я же не знал... вы... вы понимаете?

Он сжал мою руку:

— Да... да... бывают тяжкие минуты...

Затем окунул лицо в таз, но и умывшись, он был еще не в полном порядке; тогда мне пришла в голову небольшая хитрость. Видя, что он озабоченно рассматривает себя в зеркало, я предложил:

— Знаете что, скажите, что вам попала соринка в глаз, и тогда можете плакать при всех, сколько вам угодно.

И действительно, он явился, усиленно протирая глаза носовым платком. Все встревожились, предлагали

найти соринку, которой не было, вспоминали такие же случаи, когда в конце пришлось обратиться к врачу.

Я же подсел к мадмуазель Перль и стал вглядываться в неё, охваченный жгучим любопытством, настолько неудержимым, что оно становилось мучительным. Да, она когда-то действительно была хороша: кроткие глаза, такие большие, такие ясные и так широко раскрытые, словно она их никогда не смыкала, подобно простым смертным. Правда, одета она была довольно нелепо, как одеваются обычно старые девы, туалет не украшал ее, но и не безобразил.

Мне показалось, что я читаю в ее душе так же, как только что читал в душе г-на Шанталя. И предо мной от начала до конца развернулась жизнь этой женщины, смиренной, простой и преданной. Мне настойчиво, нестерпимо хотелось задать ей один вопрос, узнать, любила ли и она его, страдала ли, как он, терзалась ли долгой, бесконечной мукой, жгучей и сокровенной, о которой никто не ведает, никто не подозревает, не догадывается, но которая вдруг вырывается на волю ночью, в уединении темной комнаты. Я глядел на нее и, казалось, видел, как под корсажем с кружевной косынкой бьется ее сердце; и я спрашивал себя: неужели и это кроткое, чистое существо одинокими вечерами стенало, уткнувшись в жаркую и влажную подушку, сотрясаясь от рыданий на своем лихорадочно смятом ложе?

И тихонько, как дети ломают игрушку, чтобы заглянуть внутрь, я пробормотал:

— Если бы вы видели, как сейчас плакал господин Шанталь, вы бы его пожалели!

Она вздрогнула.

— Как, он плакал?

— Да, да плакал.

— О чем?

Казалось, она очень взволновалась. Я ответил:

— О вас.

— Обо мне?

— Да. Он рассказал мне, как некогда любил вас и чего ему стоило жениться на своей кузине, а не на вас...

Ее бледное лицо как будто сразу осунулось; всегда широко раскрытые спокойные глаза сомкнулись так быстро, словно они закрылись навек. Она соскользну-

ла со стула и медленно-медленно опустилась на пол, точно падающий шарф.

Я закричал:

— Помогите! Помогите! Мадмуазель Перль дурно!

К ней подбежала г-жа Шанталь с дочерьми, и, пока они суетились около нее с водой, уксусом, салфеткой, я схватил шляпу и скрылся.

Я шел быстро, я был потрясен, меня терзали угрызения совести и сожаления. Но минутами я испытывал радость. Мне чудилось, что я сделал хорошее, нужное дело.

Я думал: «Прав я или неправ? Ведь любовь засела в их сердцах, как пуля в закрывшейся ране. Может быть, теперь им станет легче? Переживать снова любовные муки уже поздно, но не поздно вспоминать о них с нежностью».

И, может быть, когда-нибудь вечером, будущей весной, взволнованные лунным лучом, упавшим сквозь ветви на траву у их ног, они тихонько возьмутся за руки, и легкое пожатие напомнит им всю их тайную жестокую боль, а может быть, это мгновенное пожатие пробудит неизведанный ими трепет, подарит этих воскресших мертвецов тем быстролетным божественным опьянением, тем безумием, которое за одно мгновение может дать влюбленным больше счастья, чем иным суждено пережить за целую жизнь!

РОЗАЛИ ПРЮДАН

Поистине это дело оставалось для всех загадкой, как ни бились над ним присяжные, председатель и даже сам прокурор республики.

Девица Прюдан (Розали), прислуга господ Варамбо из Манта, скрыла от хозяев свою беременность, родила тайком, ночью, у себя в мансарде и убила младенца, а потом закопала его в саду.

Эта история могла бы показаться такой же обычной, как и все истории детоубийств, совершаемых служанками, если бы не одно непостижимое обстоятельство. При обыске в каморке девицы Прюдан нашли полное детское приданое, приготовленное самой Розали; она кроила и шила его по ночам целых три месяца. Лавочник, у которого она покупала на свои гроши свечи для этой долгой, кропотливой работы, выступил свидетелем. Мало того, суд установил, что Розали заранее обратилась к местной повивальной бабке, которая дала ей все необходимые наставления на случай, если роды начнутся в такое время, когда помощи получить нельзя. Та же бабка подыскала для нее место в Пуасси. Розали предвидела, что хозяева прогонят ее, ибо супруги Варамбо стояли на страже добродетели.

Оба они, мелкие провинциальные рантье, сидели тут же в зале, взбешенные тем, что какая-то потаскуха посмела осквернить их дом. Они готовы были отпра-

вить ее тотчас же и без суда на гильотину; каждая, даже самая мелкая улика в их злобных устах превращалась в обвинительный приговор.

Подсудимая, красивая, рослая девушка, уроженка Нижней Нормандии, довольно развитая для своего положения, не переставая, плакала и ничего не отвечала.

По общему мнению, она совершила этот зверский поступок в минуту исступленного отчаяния, так как все свидетельствовало о ее стремлении сохранить и вырастить своего первенца.

Настойчиво добиваясь признания, председатель сделал еще одну попытку заставить ее говорить, и ему, наконец, удалось ласково втолковать ей, что все они собрались здесь вовсе не для того, чтобы присудить ее к смерти, а, наоборот, они желают облегчить ее участь.

Тогда она решилась отвечать.

Председатель спросил:

— Ну что же, скажете вы нам теперь, кто отец ребенка?

До сих пор она это упорно скрывала.

Внезапно, не спуская глаз с хозяев, которые только что с пеной у рта поносили ее, она ответила:

— Господин Жозеф, он племянник господину Варамбо.

Супруги подскочили от неожиданности и закричали в один голос:

— Неправда! Врет она, подлая!

Председатель призвал их к молчанию и снова обратился к обвиняемой:

— Продолжайте, пожалуйста, откройте суду всю правду.

И вот она стала рассказывать, облегчая в словах свою бедную, наболевшую душу, такую замкнутую и одинокую; она изливала теперь все свое горе, без утайки, перед этими суровыми, как ей казалось, даже враждебными людьми и безжалостными судьями.

— Да, да, это господин Жозеф Варамбо, он приезжал к нам в прошлом году в отпуск.

— Чем занимается господин Жозеф Варамбо?

— Он в артиллерии, сударь, унтер-офицером. Он прогостил у нас два месяца летом. Я, сударь, ни о чем таком даже не помышляла, когда он начал на меня поглядывать. Бывало, день-деньской все лебезит, все улещает. Не устояла я, поддалась ему, сударь! Особенно, как стал он мне твердить, что я хороша, мила, что пришлась ему по вкусу. А уж мне, не скрою, он очень приглянулся. Сами посудите, как было не слушать его. Ведь я одинокая, одна, как перст, сударь. Нет у меня никого на белом свете, не с кем поговорить, некому на свою горькую жизнь пожаловаться. Ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата — никого. Как заговорил он со мной в первый раз, словно брат долгожданный ко мне приехал. Ну вот, попросил он меня как-то вечерком прийти к речке, поболтать без помехи на бережку. И я пришла... А потом уж и не знаю, сама не знаю... Он обнял меня, я не хотела... Нет... Нет... Только поверьте, не могла я. Воздух, что ли, был такой ласковый, даже слезы сами навертывались, и луна... Не могла я, право, не могла. Добился он, чего хотел. Три недели это тянулось, до самого его отъезда. Я бы за ним на край света пошла... Он уехал. А я уже забеременела от него, да только через месяц узнала...

И она расплакалась так горько, что пришлось подождать, пока она успокоится.

Потом председатель сказал тоном духовника в исповедальне:

— Ну, ну, дальше.

Она продолжала:

— А как только узнала, так сразу же побежала к госпоже Буден — повивальной бабке. Вот спросите ее, она здесь. Рассказала я ей все и попросила научить меня, как мне поступить, если что случится со мной без нее. А потом взялась за приданое. Каждый вечер шила, далеко за полночь сидела над ним. И место себе другое подыскала, я же наперед знала, что меня прогонят, только думала: дотянуть здесь до конца, чтобы сколотить немного денег, ведь у меня ничего за душой, а младенчику нужно...

— Значит, вы не хотели его убивать?

— Ох, сударь, что вы! Ей-богу, не хотела!

— Почему же вы все-таки его убили?

— А дело было так. Случилось это со мной раньше, чем я ждала. Схватило меня на кухне, как раз когда я кончала мыть посуду. Господа уже спали. Кое-как, цепляясь за перила, вскарабкалась я к себе наверх и сразу же легла прямо на пол, чтобы постель не замарать. Не знаю, сколько это тянулось! Может, час, может, два, а может, и все три, я себя не помнила от боли. Потом, понатужилась я, что было сил, и почувствовала: вышел. Ох, правду сказать, и рада я была! Подняла его, сделала все, как мне велела госпожа Буден. Ничего не забыла. Только положила его на постель, как вдруг снова боль, да такая, что я света не взвидела. Один бы раз вашему брату так, навеки бы закаялись! Упала я на колени, потом повалилась навзничь, на пол; и началось все сызнова, опять, может, час, может, два, а вокруг — ни живой души. Глядь, вышел второй... второй ребенок... подумать только: двое... да, да, двое!.. Подняла я его, как первого, положила на кровать подле того, обоих рядышком... Ну, мыслимое ли дело, скажите! Двойня! А жалованья-то всего двадцать франков в месяц. Где уж мне, ну, сами посудите! Одного еще куда ни шло... если самой куска не доесть... но двоих! Тут у меня голова пошла кругом. Что было делать, скажите? Выбирать одного из них... так, что ли? Почем я знаю! Одно только понимала я, что пришел мой последний час... Не помня себя, набросила я на них подушку... раз уж нельзя было сохранить обоих... и сама еще навалилась сверху. Да так металась и плакала до самого рассвета. А они уж, конечно, задохлись под подушкой. Тут взяла я их, мертвеньких, на руки, спустилась с ними в огород, нашла лопату садовника и через силу вырыла в разных местах две глубоких могилки. И закопала — одного здесь, другого там, чтобы они не говорили между собой о своей матери. Кто их знает, говорят они или не говорят, маленькие покойнички. Потом вернулась я к себе, легла, и стало мне так худо, что не встать никак. Позвали доктора, а он сразу все понял... Вот, господин судья, сущая правда. Что хотите со мной делайте, я ко всему готова.

Кое-кто из присяжных усиленно сморкался, удер-

живая подступавшие слезы. Женщины в зале громко рыдали.

Председатель спросил:

— Где вы схоронили второго?

Она ответила вопросом:

— А у вас какой?

— Ну, тот, тот... что в артишоках.

— А другой в клубнике, у самого колодца.

И она снова начала рыдать, и так сильно, что стоны ее всем надрывали сердце.

Девица Прюдан была оправдана.

О КОШКАХ

Мис Антиб

I

Несколько дней назад, сидя на скамейке у дома, на самом солнцепеке, перед клумбой цветущих анемонов, я читал недавно вышедшую книгу Жоржа Дюваля «Бочар» — книгу честную, что редкость, и притом захватывающую. Большая белая кошка садовника вспрыгнула мне на колени; от этого толчка книга захлопнулась, и я отложил ее в сторону, чтобы погладить животное.

Было жарко. В воздухе реял запах едва распустившихся цветов, запах еще робкий, неуверенный, легкий; порою доносились и холодные дуновения с высоких белых вершин, которые я видел вдали.

Но солнце было палящее, жгучее, такое, которое будит землю, насыщает ее жизнью, вскрывает семена, чтобы оживить дремлющие зародыши, раскрывает почки, чтобы развернулись молодые листки. Кошка каталась у меня на коленях, ложилась на спину, задирала кверху лапы, выпуская и втягивая когти, показывала острые клыки; в почти сомкнутой щели век виднелись ее зеленые глаза. Я гладил и вертел мягкое, нервное животное, нежное, как шелковая ткань, приятное, теплое, очаровательное и опасное. Кошка мурлыкала, довольная и готовая укусить; ведь если

кошки любят, чтобы их ласкали, то они любят и царапаться. Она вытягивала шею, извивалась, а когда я переставал ее гладить, вскакивала и совала голову мне под руку.

Я действовал на нее раздражающе, но и она раздражала меня, ибо я и люблю и ненавижу этих зверей, пленительных и коварных. Мне приятно трогать их, проводить рукой по шелковистой, потрескивающей шерстке, чувствовать теплоту их тела в каждом волоске тонкого восхитительного меха. Что может быть нежнее, что дает коже более утонченное, более изысканное, более редкостное ощущение, чем теплая, трепещущая шкура кошки? Но эта живая одежда сообщает моим пальцам страшное и жестокое желание задушить животное, которое я ласкаю. Я чувствую и в нем желание искусать, растерзать меня, чувствую его, и оно заражает меня, передается мне, как флюид, я вбираю его кончиками пальцев в теплой шерсти, и оно поднимается, поднимается по моим нервам, по всему моему телу, к сердцу, к голове, оно наполняет меня, пробегает по коже, заставляет меня стискивать зубы. И все время, все время я чувствую в кончиках всех десяти пальцев легкое и острое щекотание, которое пронизывает меня и возбуждает.

И если кошка начинает первая, если она кусает, если она царапает меня, то я хватаю ее за шею, верчу в воздухе и отшвыриваю далеко, как камень из пращи,— так быстро и так резко, что никогда не даю ей времени отомстить за себя.

Я помню, что любил кошек еще ребенком, но мною и тогда овладевало вдруг желание задушить их своими маленькими руками. Однажды в самом конце сада, где уже начинался лес, я неожиданно увидел что-то серое, катавшееся в высокой траве. Я подошел посмотреть. Это была кошка, попавшая в силок, полузадушенная, хрипящая, издыхающая. Она извивалась, скребла землю когтями, подпрыгивала, падала обессиленная, вскакивала опять, и ее хриплое, частое дыхание напоминало шум насоса; этот ужасный звук запомнился мне навсегда.

Я мог бы взять лопату и перерубить силок, мог пойти за слугой или позвать отца. Но нет, я не двинулся с

места и с бьющимся сердцем, с трепетной и жестокой радостью смотрел, как она умирает: ведь это кошка! Будь это собака, я скорее перегрыз бы медную проволоку собственными зубами, чем дал бы животному мучиться лишнюю секунду.

И когда кошка околела, околела совсем, но была еще теплая, я потрогал ее и дернул за хвост.

II

А между тем кошки прелестны, прелестны именно потому, что, лаская их — когда они трутся о нас, мурлычат, лежат, свернувшись на наших коленях, и смотрят на нас своими желтыми глазами, как будто не видя нас,— мы понимаем все непостоянство их нежности, весь предательский эгоизм их наслаждения.

Есть женщины, которые вызывают такое же чувство, очаровательные, милые женщины с ясными и лживыми глазами, избирающие нас для того, чтобы понежиться около любви. Когда они раскрывают объятия, протягивают губы, когда сжимаешь их с бешено бьющимся сердцем, когда наслаждаешься чувственной и упоительной радостью их изысканной ласки, ты обнимаешь кошку, кошку с когтями и клыками, коварную, лукавую кошку, влюбленного врага, который укусит, когда устанет от поцелуев.

Все поэты любили кошек. Бодлер божественно воспел их. Известен его изумительный сонет:

Любовник и мудрец, дотягивая дни,
Равно влюбляются, в томленьях неизбежных,
В сокровище семьи — в котов, больших и нежных.
Что домоседствуют и зябнут, как они.

А те, познанию друзья и сладострастью,
Полночной тишиной и жутью дорожат;
Их погребальными б избрал конями Ад,
Когда б надменность их склонилась перед властью.
Во сне привычно им то благородство поз,

Что сфинксы выбрали, дремля в песках забытых,
В объятьях призрачных и беспредельных грез;

Снопы волшебных искр в их чреслах плодовитых,
И блестки золота, как самый тонкий прах,
Звездятся, зыбкие, в таинственных зрачках [1].

III

Как-то раз мне довелось испытать необычайное чувство, как будто я попал в заколдованный замок Белой Кошечки, в волшебный дворец, где царствовало одно из этих гибких, таинственных, волнующих животных, единственное, пожалуй, из всех живых существ, шаги которого всегда неслышны.

Это было прошлым летом, здесь, на берегу Средиземного моря.

В Ницце стояла ужасная жара, и я стал расспрашивать, нет ли в горах прохладной долины, куда местные жители ездят подышать свежим воздухом.

Мне указали долину Торан. Я решил взглянуть на нее.

Сначала надо было доехать до Грасса, города, известного своими духами. Я расскажу о нем в другой раз и опишу, как делают цветочные эссенции и квинтэссенции, за которые платят до двух тысяч франков за литр.

Я провел вечер и ночь в старой городской гостинице, убогом постоялом дворе, где качество пищи было столь же сомнительно, как и чистота комнат. Наутро я продолжал путь.

Дорога шла в гору, вдоль глубоких оврагов, под нависшими бесплодными, острыми и дикими скалами. Я недоумевал, почему мне указали для летнего отдыха такое странное место, и уже подумывал, не повернуть ли обратно и в тот же вечер возвратиться в Ниццу, как вдруг увидел перед собой на горе, казалось, загородившей всю долину, огромные, великолепные развалины; в небе отчетливо вырисовывались башни, обвалившиеся стены, вся причудливая архитектура заброшен-

[1] Перевод Георгия Шенгели.

ной крепости. Это был древний замок командоров ордена тамплиеров, властвовавших некогда над всем округом Торан.

Я обогнул гору, и передо мной сразу открылась долина, зеленая, прохладная, зовущая к отдыху. В глубине — луга, речка, ивы; на склонах — ели до самого неба.

По ту сторону долины, напротив командорства, но немного ниже, возвышается другой, обитаемый замок, замок Четырех Башен, выстроенный около 1530 года. Однако на нем еще не заметно никаких признаков Ренессанса.

Это — массивное, мощное квадратное здание, твердыня с четырьмя сторожевыми башнями по бокам, как и указывает его название.

У меня было рекомендательное письмо к владельцу этого замка, и он не захотел и слышать, чтобы я остановился в гостинице.

Долина действительно была прекрасна, самое очаровательное место для летнего отдыха, о каком только можно мечтать. Я гулял до вечера, а потом, после обеда, поднялся в отведенные мне покои.

Я прошел сначала через гостиную, стены которой были обиты старой кордуанской кожей, потом через другую комнату, где при свете свечи увидел мимоходом старинные женские портреты, те портреты, о которых Теофиль Готье писал:

Люблю я видеть блеклые овалы,
Портреты некогда прекрасных дам,
Что держат в пальцах стебель розы — вялой,
Как подобает вековым цветам [1],—

и вошел в спальню, где мне была приготовлена постель.

Оставшись один, я огляделся. Стены были обтянуты старинной узорной тканью: на фоне голубых пейзажей поднимались розовые башни, и большие фантастические птицы порхали среди листвы из драгоценных каменьев.

Туалетная комната находилась рядом, в башенке. Окна, высеченные в толще стен, узкие снаружи и рас-

[1] Перевод Георгия Шенгели

ширявшиеся внутрь, были, в сущности, бойницами, отверстиями, через которые убивали людей. Я запер дверь, лег и заснул.

И мне приснился сон — а во сне почти всегда видишь что-нибудь из того, что случилось за день. Я путешествовал; я вошел в гостиницу, где за столом, перед огнем, сидел слуга в парадной ливрее и каменщик — странная компания, которая меня, однако, ничуть не удивила. Они разговаривали о Викторе Гюго, который только что скончался, и я принял участие в их беседе. Потом я улегся спать в комнате, дверь которой не запиралась, и вдруг увидел, что слуга и каменщик, вооруженные кирпичами, тихо крадутся к моей кровати.

Я мгновенно проснулся, и мне понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Потом я припомнил все вчерашние события, мой приезд в Торан, любезный прием владельца замка... Я уже собирался снова закрыть глаза, как вдруг увидел — да, да, увидел в темноте, во мраке ночи! — посреди комнаты, примерно на уровне человеческого роста, два огненных глаза, смотревших на меня.

Я схватил спички, но пока чиркал ими, услышал шум, легкий, мягкий шум, как будто упало мокрое свернутое белье, а когда мне удалось зажечь огонь, я уже не увидел ничего, кроме большого стола посреди комнаты.

Я встал, осмотрел обе комнаты, заглянул под кровать, в шкафы — ничего.

Тогда я решил, что сон мой продолжался еще некоторое время после пробуждения, и заснул снова, хотя и не сразу.

И опять увидел сон. Я путешествовал и на этот раз, но теперь уже по Востоку, по моей любимой стране, и приехал к одному турку, который жил в пустыне. Это был великолепный турок; не араб, а именно турок, толстый, любезный, очаровательный, одетый по-турецки — в тюрбане и в целом ворохе шелковых тканей,— словом, настоящий турок из «Французского театра»; он говорил мне любезности и угощал меня вареньями на мягчайшем диване.

Потом слуга-негритенок проводил меня в отведенную мне комнату,— по-видимому, всем моим снам

суждено было оканчиваться так,— в небесно-голубую, благоухающую комнату, устланную звериными шкурами, где перед огнем — мысль об огне не покидала меня даже в пустыне — на низком табурете сидела полуголая женщина и ожидала меня.

Это была женщина чистейшего восточного типа: звездочки на щеках, на лбу и на подбородке, огромные глаза, дивное тело, немного смуглое, но горячей, пьянящей смуглости.

Она глядела на меня, а я думал: «Вот это я понимаю, это гостеприимство! В наших глупых северных странах, в наших странах с их бессмысленным ханжеством, с их отвратительным целомудрием, с идиотской моралью, никогда так не примут путешественника».

Я подошел и заговорил с нею, но она отвечала мне знаками, так как не понимала ни слова на моем языке, которым так хорошо владел турок, ее хозяин.

Еще более довольный тем, что она поневоле будет молчать, я взял ее за руку, подвел к моему ложу и лег рядом с ней... Но в этот момент почему-то всегда просыпаешься! Так вот, я проснулся и не особенно удивился, почувствовав у себя под рукой что-то теплое и мягкое, что я влюбленно поглаживал.

Потом, когда мои мысли немного прояснились, я понял, что это кошка, огромная кошка, которая спала, доверчиво прижавшись к моей щеке. Я не стал ее беспокоить и последовал ее примеру.

Когда рассвело, кошки уже не было, и я решил, что видел ее во сне, потому что для меня непостижимо было, как она могла войти и потом выйти из комнаты, запертой на ключ.

Когда я поведал о своем приключении (не во всех подробностях) моему любезному хозяину, он рассмеялся и ответил: «Она прошла через кошачий лаз»,— и, приподняв драпировку, показал мне в стене небольшое круглое черное отверстие.

И я узнал, что почти во всех старых постройках этой местности в стенах проложены узкие длинные ходы: из погреба — на чердак, из комнатки служанки — в покои господина,— и, таким образом, кошка владеет всем домом, хозяйничает повсюду.

Она расхаживает везде, где вздумает, по собственной прихоти обходит свои владения, спит во всех постелях, все видит и все слышит, знает все секреты, все привычки, все постыдные тайны дома. Она везде у себя; этот зверь с бесшумной поступью, молчаливый бродяга, ночной гуляка по стенным проходам проникает повсюду.

И мне припомнились еще одни стихи Бодлера:

То здешних мест привычный гений,
Судья, глава, душа всего.
Что есть в кругу его владений,
Но кто он: фея, божество? [1].

[1] Перевод Георгия Шенгели.

ГОСПОЖА ПАРИС

I

Я сидел на молу небольшого порта Оберион, близ деревушки Сали, и любовался Антибом при закате солнца. Никогда не видел я ничего более захватывающего и более прекрасного.

Городок, замкнутый в тяжелые крепостные стены, возведенные Вобаном, вдавался в самое море, посреди огромного залива, на берегу которого расположена Ницца. Высокие морские валы разбивались о его подножие, окружая его облаком пены, а дома над крепостными стенами карабкались друг на друга до самых башен, устремленных в небо, как два рога античного шлема. И обе башни вырисовывались на молочной белизне Альп, на огромной и далекой снежной стене, заграждавшей горизонт.

Между белой пеной у подножия стен и белым снегом у края небес, на синеватом фоне предгорий, стоял сверкающий городок, и лучи заходящего солнца играли на пирамиде домов с бурыми кровлями, домов тоже белых и все же таких различных по оттенкам, что они казались чуть не разноцветными.

И самое небо над Альпами было почти белой голубизны, словно обесцвеченное снегом; кое-где у бледных вершин серебрились облачка, а по другую сторону залива Ницца прильнула к воде, белой ниткой протянувшись между морем и горами. Два больших ла-

тинских паруса, подгоняемые свежим бризом, казалось, бежали по волнам. Я смотрел, как завороженный.

Такие отрадные, необычные, чарующие взор картины проникают в душу и не забываются, как воспоминания о счастье. При этом живешь, думаешь, страдаешь, умиляешься, любишь глазами. Тот, кто умеет чувствовать зрением, созерцая одушевленные и неодушевленные предметы, испытывает такое же острое, изысканное и глубокое наслаждение, как человек с тонким и восприимчивым слухом, сердце которому будоражит музыка.

Я сказал своему спутнику, господину Мартини, чистокровному южанину:

— Пожалуй, никогда мне не доводилось любоваться таким редкостным зрелищем...

«Я видел, как на рассвете встает из песков гора Сен-Мишель, эта огромная драгоценность из гранита.

«Я видел в Сахаре, как серебрится при луне, яркой, точно наше солнце, озеро Райанешерги, протянувшееся на пятьдесят километров, и как витает над ним белый пар, молочным облаком поднимаясь к луне.

«Я видел на Липарских островах сказочный серный кратер Волканелло, он горит и дымится, этот гигантский цветок, желтый чудовищный цветок, распустившийся среди моря на стебле — вулкане.

«Так вот, я не видел ничего поразительнее, чем Антиб посреди Альп в лучах заката.

«И при этом мне почему-то не дают покоя античные реминисценции; мне приходят на память стихи Гомера, и кажется, что предо мною город древнего Востока, город из Одиссеи, Троя, хоть Троя и была далеко от моря».

Г-н Мартини достал из кармана путеводитель Сарти и прочитал:

— «Этот город первоначально был колонией, основанной марсельскими фокейцами около 340 до рождества Христова. От них он получил греческое наименование Антиполис, то есть «противогород»,— город напротив другого города, ибо он действительно расположен прямо насупротив Ниццы, тоже колонии марсельцев.

Завоевав Галлию, римляне сделали Антиб муниципией; жители его получили права римских граждан. Из эпиграммы Марциала мы знаем, что в его времена...»

Он собирался продолжать. Я перебил его:

— Мне все равно, каким он был. Говорю вам, что у меня перед глазами город из Одиссеи. Не все ли равно, азиатское это или европейское побережье; города и там и тут были схожи между собой, и по ту сторону Средиземного моря ни один город не пробуждал во мне с такой силой воспоминаний о героических временах.

Я обернулся, заслышав шаги,— женщина, высокая, черноволосая женщина шла по дороге, ведущей вдоль моря к мысу.

Г-н Мартини прошептал, напирая на последнюю букву имени:

— Это госпожа Парис, слыхали?

Нет, я не слыхал, но это случайно брошенное имя, имя троянского пастуха, давало новую пищу моей фантазии.

Все же я спросил:

— А кто такая госпожа Парис?

Он был явно поражен тем, что я не слыхал ее истории.

Я уверил его, что ничего не знаю, и стал смотреть на женщину, которая шла, не видя нас, погруженная в свои мысли, шла медленной и величавой поступью, как, вероятно, ходили античные женщины. Ей было лет тридцать пять, и она была еще красива, очень красива, хотя несколько полна.

Вот что рассказал мне г-н Мартини.

II

Г-жа Парис, урожденная Комбеломб, за год до войны 1870 года вышла замуж за чиновника г-на Париса. В ту пору она была юной красавицей, стройной и веселой, не то что сейчас, когда она располнела и стала печальной.

Нехотя согласилась она на брак с г-ном Парисом,

пузатым человеком, из тех коротышек, что семенят ножками в широких, не по росту брюках.

После войны гарнизонную службу в Антибе нес один-единственный пехотный батальон под командой г-на Жана де Кармелен, молодого офицера, отличившегося в последнюю кампанию и только что получившего четыре нашивки.

Майор Кармелен отчаянно скучал в крепости, в душной норе, зажатой в двойном кольце огромных стен, и потому часто уходил гулять на мыс, напоминавший парк или сосновый лес, открытый всем морским ветрам.

Там он встретил г-жу Парис, потому что и она летними вечерами приходила сюда под деревья подышать чистым воздухом. Как началась их любовь? Разве это узнаешь? Они встречались, смотрели друг на друга, а разойдясь, верно, вспоминали свои встречи. Образ черноглазой и темноволосой молодой женщины, образ красивой и сочной южанки, которая улыбалась, сверкая зубами, витал перед глазами офицера, и, продолжая прогулку, он покусывал сигару, вместо того чтобы курить ее; а образ майора с закрученными белокурыми усами, в мундире, расшитом золотом, в красных рейтузах тоже, вероятно, проносился по вечерам перед взором г-жи Парис, когда муж, плохо выбритый и плохо одетый, коротконогий и пузатый, возвращался домой к ужину.

Они часто встречались и, верно, начали улыбаться, завидев друг друга; они часто видались и, верно, вообразили, будто знакомы. Он, должно быть, поздоровался, она удивилась и наклонила голову, чуть-чуть, как раз настолько, чтобы он не счел ее неучтивой. Но к концу второй недели она отвечала на его поклоны уже издали, пока они еще не поравнялись.

Он заговорил с ней. О чем? Ну, конечно, о закате. И они принялись вместе восхищаться, любуясь им больше в глазах друг у друга, чем на небе. И каждый вечер, в течение двух недель, они неизменно прибегали к этому избитому предлогу, чтобы поболтать несколько минут.

Затем они решились пройтись вместе, беседуя на самые безразличные темы, но глазами они уже гово-

рили друг другу то самое заветное, то сокровенное и прекрасное, что сквозит в ласковости, в умиленности взгляда, от чего сильнее бьется сердце, так как тут душа раскрывается больше, чем в признании.

Затем он, вероятно, взял ее за руку и прошептал слова, которые женщина угадывает, как будто даже не слыша их.

И они поняли, что любят друг друга, хотя и не проявили свою любовь как-нибудь чувственно или грубо.

Она так и не пошла бы дальше этих нежных отношений — она, но не он, ему этого было мало. И с каждым днем он все более пылко уговаривал ее уступить его страстному желанию.

Она не сдавалась, не хотела и, казалось, твердо решила остаться непреклонной.

Однако раз вечером она промолвила как бы невзначай:

— Муж уехал в Марсель. Пробудет там четыре дня.

Жан де Кармелен бросился к ее ногам, умоляя сегодня же около одиннадцати вечера отворить ему дверь. Но она не стала слушать и ушла, сделав вид, что рассердилась.

Весь вечер майор был не в духе, а наутро чуть свет уже свирепо шагал по крепости, обходя взвод за взводом, от музыкантской команды до учебной, и на офицеров и солдат, словно камни в толпу, сыпался град наказаний.

Но, вернувшись к завтраку, он нашел у себя под салфеткой записку в четыре слова: «Сегодня вечером, в десять». И без всякого повода он дал лакею пять франков на чай.

День тянулся для него бесконечно долго. Часть времени он потратил на то, что прихорашивался и опрыскивал себя духами. Когда он садился обедать, ему опять подали письмо. В конверт была вложена телеграмма:

«Дорогая, с делами покончил. Возвращаюсь сегодня вечером девятичасовым. Париж».

Майор так громко выругался, что лакей уронил суповую миску на пол.

Как быть? Он желал, чтобы она принадлежала ему сегодня же во что бы то ни стало, и он твердо решил добиться своего. Добиться любой ценой, пусть даже придется арестовать мужа и посадить в тюрьму. Внезапно у него мелькнула безумная мысль. Он приказал подать бумагу и написал:

«Сударыня! Он сегодня вечером не вернется, клянусь вам, а я буду в десять часов, где условлено. Не бойтесь ничего, за все отвечаю я, верьте чести офицера.

Жан де Кармелен».

Приказав отнести письмо, он спокойно пообедал. Около восьми он попросил к себе капитана Грибуа, следующего за ним по чину, и сказал ему, вертя в руке смятую телеграмму господина Париса:

— Капитан, я получил телеграмму странного характера, содержание которой даже не имею возможности передать вам. Немедленно прикажите закрыть и охранять все ворота, ведущие в город, чтобы никто, слышите, никто не мог ни войти, ни выйти до шести утра. Разошлите по улицам патрули, а жителей обяжите быть дома с девяти вечера. Тот, кто окажется на улице после этого часа, должен быть отправлен домой manu militari [1]. Если ваши люди встретят меня сегодня ночью, пусть сейчас же удалятся, даже не подав виду, что узнали меня. Поняли?

— Да, господин майор.

— Вы отвечаете за выполнение приказа, капитан.

— Слушаю, господин майор.

— Не хотите ли рюмку шартреза?

— С удовольствием, господин майор.

Они чокнулись, выпили желтый ликер, и капитан Грибуа удалился.

III

Марсельский поезд пришел точно в девять, высадил на платформу двух пассажиров и отправился дальше, в Ниццу.

[1] Вооруженной силой *(лат.)*.

Один пассажир, высокий и тощий, был г-н Сариб, торговавший прованским маслом, другой, толстый и маленький, г-н Парис.

Взяв чемоданы, они отправились вместе в город, находившийся на расстоянии километра.

Но, когда они дошли до ворот со стороны порта, часовые скрестили штыки и приказали им удалиться.

Растерявшись, смутившись, оторопев от удивления, они отошли в сторонку и обсудили положение; затем, посоветовавшись, робко вернулись и начали переговоры, назвав себя.

Но солдатам, верно, дано было строгое предписание, они пригрозили, что будут стрелять; и оба путешественника в ужасе пустились наутек, бросив чемоданы, чтобы быть налегке.

Они обошли крепостную стену и появились у ворот, на дороге в Канны. Но и эти ворота были на запоре и под охраной грозного караула. Г-н Сариб и г-н Парис, как люди благоразумные, не настаивали и вернулись на вокзал в поисках пристанища, так как после захода солнца за крепостными стенами было не безопасно.

Дежурный, ничего не понимая спросонья, разрешил им дождаться утра в зале для пассажиров.

Там они и просидели рядышком на зеленом бархатном диване, без света, до того напуганные, что даже и не помышляли о сне.

Ночь показалась им очень долгой.

Около половины седьмого они узнали, что ворота открыты и что теперь наконец можно проникнуть в Антиб.

Они снова пустились в путь, но чемоданов, оставленных на дороге, уже не нашли.

Когда они, еще немного робея, прошли в ворота, майор де Кармелен, с лукавым видом и лихо закрученными усами, сам подошел, чтобы опросить их.

Затем он вежливо поклонился, извинившись, что по его вине они плохо провели ночь. Но он обязан был выполнить данное ему приказание.

В Антибе все умы были возбуждены. Одни говорили о внезапном нападении, замышляемом итальянцами, другие — о высадке императорского принца,

третьи предполагали заговор орлеанистов. Истину узнали гораздо позднее, когда стало известно, что батальон г-на де Кармелена отправлен очень далеко, а сам майор примерно наказан.

IV

Г-н Мартини окончил рассказ. Г-жа Парис возвращалась с прогулки. Она прошла мимо меня величавой поступью, устремив взор на Альпы, вершины которых розовели в последних лучах солнца.

Мне хотелось ей поклониться, поклониться печальной и обездоленной женщине, которая, верно, все еще вспоминает далекую ночь любви и отважного человека, не побоявшегося ради ее поцелуя ввести в городе осадное положение и загубить свою карьеру.

Теперь он, конечно, уже позабыл ее и, разве только подвыпив, рассказывает об этой дерзкой шутке, смешной и трогательной.

Виделись ли они еще? Любит ли она его и сейчас? И я думал: «Вот вам эпизод современной любви, нелепый и в то же время героический. Чтобы воспеть эту Елену и похождения ее Менелая, понадобился бы Гомер с душой Поль де Кока. А между тем герой этой покинутой женщины смел, неустрашим, красив, силен, как Ахиллес, и, пожалуй, хитрее Улисса!»

ЖЮЛИ РОМЭН

Два года назад, весной, я много бродил пешком по побережью Средиземного моря. Идти по дороге широким шагом и думать... Что может быть приятнее? Идешь вдоль гор, по берегу моря, под ярким солнцем, овеваемый ласковым ветром! И мечтаешь! Сколько обманчивых грез, любовных переживаний и всевозможных приключений промелькнет в душе, увлеченной мечтами, за два часа пути! Сколько смутных, но радостных надежд вливается в грудь вместе с теплым и чистым воздухом; впиваешь их в дуновении бриза, сердце томит жажда счастья, а от прогулки разыгрывается аппетит. Мысли же, быстрые, пленительные мысли, проносятся и поют, как птицы.

Итак, я шел длинной дорогой, которая ведет из Сен-Рафаэля в Италию, вернее, шел мимо сменяющихся великолепных декораций, как будто созданных для сценического обрамления всех любовных поэм на земле. И размышлял я о том, что от Канн, где царит тщеславие, и до Монако, где царит рулетка, в эти края приезжают лишь для того, чтобы пускать пыль в глаза или разоряться, и под этим прекрасным небом, в этом саду цветущих роз и апельсиновых деревьев, люди выставляют напоказ свое пошлое чванство, глупые претензии, низкие вожделения, обнажая натуру человеческую во всем ее раболепии, невежестве, наглости и алчности.

И вдруг на берегу очаровательной бухты, какие тут встречаются за каждым изгибом горного кряжа, я увидел у самого моря несколько вилл — четыре или пять

не больше, а позади них по двум глубоким лощинам далеко-далеко тянулся дремучий сосновый лес, и, казалось, не было там ни дорог, ни тропинок, ни хода, ни выхода. Перед одной из этих вилл я остановился, как вкопанный: уж очень хорош был белый домик с темными панелями, до самой кровли затянутый вьющимися розами.

А сад! Живой ковер из цветов всех размеров и всевозможной окраски, перемешанных в изысканном и кокетливом беспорядке. Газон пестрел цветами; на каждой ступеньке крыльца, слева и справа, возвышался целый сноп цветов; по ослепительно белому фасаду свисали из окон ярко-синие и желтые гроздья, а каменную балюстраду, украшавшую кровлю, обвивали гирлянды крупных красных колокольчиков, алевших, как пятна крови.

За домиком виднелась длинная аллея цветущих апельсиновых деревьев, доходившая до самой горы.

На двери я прочел надпись небольшими золотыми буквами: «Вилла «Минувшие дни».

Я спрашивал себя, какой поэт или какая фея живет здесь, какой вдохновенный отшельник открыл этот уголок и создал сказочный домик, словно сам собою выросший посреди букета цветов?

Немного поодаль рабочий дробил на дороге щебень. Я спросил у него, кому принадлежит это сокровище. Он ответил:

— Госпоже Жюли Ромэн.

Жюли Ромэн... Когда-то, еще в детстве, я очень много слышал о великой актрисе Жюли Ромэн, сопернице Рашель.

Ни одной женщине не рукоплескали так, как ей, ни одну столько не любили, как ее,— да, главное, любили. Как много было из-за нее дуэлей, самоубийств и нашумевших похождений!

Но сколько же теперь лет этой обольстительнице? Шестьдесят, семьдесят, семьдесят пять? Жюли Ромэн... Она здесь, в этом домике. Женщина, которую обожали самый великий музыкант и самый утонченный поэт нашей страны! Я помню, как взволновал всю Францию (мне было тогда двенадцать лет) ее бурный разрыв с музыкантом и бегство в Сицилию с поэтом.

Она уехала вечером, после премьеры какого-то спектакля, когда весь зал аплодировал ей целых полчаса и вызывал ее одиннадцать раз подряд; она уехала с поэтом в дормезе, как тогда ездили; они переплыли на пакетботе море, чтобы уединиться на древнем острове, детище Греции, и любить друг друга под сенью огромной апельсиновой рощи, которая окружает Палермо и носит название «Золотая раковина».

Рассказывают, что они поднялись на Этну и, прильнув друг к другу, щека к щеке, наклонились над исполинским кратером, словно хотели броситься в огненную бездну.

Он умер, этот создатель волнующих стихов, таких глубоких, что от них кружилась голова у всего его поколения, и таких утонченных, таких таинственных, что они открыли новым поэтам новый мир.

Умер и другой — покинутый ею,— тот, кто находил для нее музыкальные фразы, сохранившиеся в памяти у всех, мелодии, исполненные торжества и отчаяния, окрыляющие и мучительные.

А она еще жива, она тут, в этом домике, укрытом цветами.

Я не колебался ни минуты, я позвонил у двери.

Мне отпер слуга, глуповатый на вид юнец лет восемнадцати, с нескладными руками. Я написал на визитной карточке несколько строк: галантный комплимент старой актрисе с горячей просьбой принять меня. Может быть, ей известно мое имя, и она согласится открыть для меня двери своего дома.

Молодой лакей ушел, затем вернулся и, попросив пожаловать, провел меня в опрятную гостиную чопорного стиля Луи-Филиппа, обставленную тяжеловесной и неудобной мебелью, с которой в мою честь снимала чехлы молоденькая горничная, стройная, тоненькая дурнушка лет шестнадцати.

Затем меня оставили одного.

На стенах висело три портрета: хозяйки дома в одной из ее ролей, поэта, одетого в длинный редингот, перехваченный в талии, и в сорочку с пышным жабо, по старинной моде, и музыканта за клавикордами; манера живописи была четкая, тонкая, изящная и сухая.

Актриса улыбалась прелестными губами и голу-

быми глазами — белокурая, очаровательная, но жеманная, как все красавицы на портретах того времени. Поэт и музыкант как будто уже видели перед собой будущие поколения.

В этой гостиной все говорило о прошлом, об ушедшей жизни, о людях, которых не стало.

Открылась дверь, и вошла старушка, совсем старенькая, вся седая, с белыми, как снег, волосами, с белыми бровями,— настоящая белая мышка, проворная и бесшумная.

Она протянула мне руку и все еще молодым, звучно вибрирующим голосом сказала:

— Благодарствуйте за внимание, сударь. Как это мило с вашей стороны. Стало быть, нынешние мужчины еще вспоминают о женщинах прошлого! Садитесь, пожалуйста.

Я сказал, что меня пленил ее домик и мне захотелось узнать имя владельца, а услышав ее имя, я не мог побороть желания постучаться к ней в дверь.

Она ответила:

— Очень приятно, сударь, тем более, что подобное посещение для меня теперь великая редкость. Когда мне подали визитную карточку и я прочла ваши любезные слова, у меня забилось сердце, словно я получила весть о возвращении друга, исчезнувшего на целых двадцать лет. Ведь я покойница, сударь, право, покойница, обо мне никто не вспомнит, никто не подумает до того дня, как я умру по-настоящему. А тогда все газеты дня три будут говорить о Жюли Ромэн, печатать анекдоты, воспоминания, напыщенные похвалы. А затем со мной будет покончено навсегда...

Помедлив немного, она добавила:

— И уж этого недолго ждать. Пройдет несколько месяцев, может быть, несколько дней, и от маленькой старушки, которая пока еще жива, останется только маленькая горстка костей.

Она подняла глаза к своему портрету — он улыбался ей, этой старой женщине, этой карикатуре на него, затем взглянула на портреты обоих своих возлюбленных — высокомерного поэта и вдохновенного музыканта, а они, казалось, говорили друг другу: «Что нужно от нас этой развалине?»

Сердце у меня сжалось от печали, от неизъяснимой, смутной и горькой печали о прожитых жизнях, которые еще борются со смертью в воспоминаниях, словно утопающий в глубокой реке.

В окно видно было, как по дороге из Ниццы в Монако проносятся блестящие экипажи, а в них мелькают молодые, красивые, богатые, счастливые женщины и улыбающиеся, довольные мужчины. Жюли Ромэн заметила мой взгляд, угадала мои мысли и еле слышно промолвила с покорной улыбкой:

- Жизни не удержать...

— А как, наверно, прекрасна была ваша жизнь! — ответил я.

Она глубоко вздохнула:

— Да, прекрасна и радостна. Вот почему я так жалею о ней.

Я видел, что она не прочь поговорить о себе, и потихоньку, очень осторожно, словно прикасаясь к больному месту, принялся ее расспрашивать.

Она говорила о своих успехах, о своем упоении славой, о своих друзьях, о своей блистательной жизни.

Я спросил:

— Самую глубокую радость, истинное счастье дал вам, конечно, театр?

Она быстро ответила:

— О нет!

Я улыбнулся; она печальным взглядом окинула портреты двух своих возлюбленных и сказала:

— Нет, счастье мне дали только они.

Я не удержался от вопроса:

— Кто же из них?

— Оба. Я порою немного путаю их в памяти,— по-старушечьи, а к тому же перед одним из них чувствую себя теперь виноватой.

— В таком случае, сударыня, ваша признательность относится не к ним, а к самой любви. Они были только ее истолкователями.

— Возможно. Но какими!..

— А не думаете ли вы, что гораздо сильнее вас любил или мог бы любить кто-нибудь другой, какой-нибудь простой человек,— пусть он не был бы гением, но отдал бы вам всего себя, все свое сердце, все мысли,

все мгновения своей жизни, тогда как в любви двух этих великих людей у вас были опасные соперницы: музыка и поэзия.

Она воскликнула удивительно молодым своим голосом, задевающим какие-то струны в душе:

— Нет, сударь, нет. Другой человек, возможно, любил бы меня сильнее, но любил бы не так, как они. Ах, они пели мне песню любви, какой не спеть никому в мире! Она опьяняла меня. Да разве кто-нибудь другой, обыкновенный человек, мог бы создать то, что они создавали в мелодиях и словах? И много ли радости в любви, если в нее не могут вложить всю поэзию, всю музыку неба и земли! А они умели свести женщину с ума чарами песен и слов. Да, быть может, в нашей страсти было больше мечты, чем действительности, но такая мечта уносит за облака, а действительность всегда тянет вниз, к земле. Если другие и любили меня сильнее, чем они, то лишь через них двоих я познала, постигла любовь и преклонилась перед нею!

И вдруг она заплакала.

Она плакала беззвучно, слезами отчаяния.

Я делал вид, будто ничего не замечаю, и смотрел вдаль. Через несколько минут она заговорила:

— Видите ли, сударь, почти у всех людей вместе с телом стареет и сердце. А у меня не так. Моему жалкому телу шестьдесят девять лет, а сердцу — все еще двадцать. Вот почему я живу в одиночестве, среди цветов и воспоминаний.

Настало долгое молчание. Она успокоилась и сказала, уже улыбаясь:

— Право, вы посмеялись бы надо мною, если б знали... если б знали, как я провожу вечера... в хорошую погоду!.. Мне самой и стыдно и жалко себя.

Сколько я ни упрашивал, она больше ничего не захотела сказать. Наконец я встал, собираясь откланяться.

Она воскликнула:

— Уже?

Я сослался на то, что должен обедать в Монте-Карло, и тогда она робко спросила:

— А не хотите ли пообедать со мной? Мне это доставит большое удовольствие.

Я тотчас согласился. Она пришла в восторг, позвонила горничной, отдала распоряжения, а после этого повела меня осматривать дом.

Из столовой дверь выходила на застекленную веранду, уставленную растениями в кадках; оттуда была видна вся длинная аллея апельсиновых деревьев, убегавшая вдаль до самого подножия горы. Скрытое зеленью удобное низкое кресло указывало, что старая актриса частенько приходит посидеть здесь.

Затем мы отправились в сад полюбоваться цветами. Спускался тихий вечер, мягкий, теплый вечер, в воздухе струились все благоухания земли. Совсем уже смеркалось, когда мы сели за стол. Обед был вкусный, за столом мы сидели долго и стали друзьями, ибо она почувствовала, какая глубокая симпатия к ней пробудилась в моем сердце. Она выпила немного вина — «с наперсток», как говорили когда-то, и стала доверчивее, откровеннее...

— Пойдемте посмотрим на луну,— сказала она.— Милая луна!.. Обожаю ее. Она была свидетельницей самых живых моих радостей. И мне кажется, что теперь в ней таятся все мои воспоминания; стоит мне посмотреть на нее, и они тотчас воскресают. И даже... иногда... вечерами я балую себя красивым... зрелищем... очень, очень красивым. Если бы вам сказать.. Да нет, вы бы посмеялись надо мной... Нет, не скажу... не могу... нет, нет...

Я принялся упрашивать:

— Полноте! Что вы! Расскажите. Обещаю вам, что не буду смеяться! Даю слово! Ну, пожалуйста.

Она колебалась. Я взял ее руки, жалкие, сухонькие, холодные ручки, и поцеловал одну и другую несколько раз подряд, как это делали когда-то «они». Она была тронута. Она колебалась.

— Так обещаете не смеяться?

— Честное слово!

— Ну, хорошо, идемте.

Она встала, и когда слуга, неуклюжий юнец в зеленой ливрее, отодвигал ее кресло, она что-то сказала ему на ухо быстрым шепотом.

Он ответил:

— Слушаю, сударыня. Сию минуту.

Она взяла меня под руку и повела на веранду.

Аллея апельсиновых деревьев в самом деле была чудесна. Луна уже взошла, большая, круглая луна, и протянула по середине аллеи длинную полосу света, падавшего на желтый песок меж круглых и плотных крон темных деревьев. Деревья стояли все в цвету, и ночь была напоена их сильным и сладким ароматом. А в черной листве порхали тысячи крылатых светляков, огненных мух, похожих на звездные зернышки.

Я восхитился.

— О, какая декорация для любовной сцены!

Она улыбнулась.

— Ведь правда, правда? Сейчас вы увидите.

Она усадила меня рядом с собой. И, помолчав, сказала тихонько:

— Вот почему жалко, что жизнь ушла. Но ведь вы, нынешние мужчины, о любви не думаете. Вы теперь биржевики, коммерсанты, дельцы. Вы даже разучились разговаривать с нами. Я говорю «с нами», но имею в виду, конечно, молодых женщин. Любовь превратилась теперь просто в связь и нередко начинается со счета портнихи, который женщине надо скрыть. Если вы найдете, что женщина не стоит таких денег, вы отступаете; если найдете, что женщина стоит больше, вы оплатите счет. Хороши нравы! Хороша любовь!

Она взяла меня за руку.

— Смотрите...

Я взглянул и замер от удивления и восторга... Вдали, в глубине аллеи, по лунной дорожке, обнявшись, шла влюбленная пара. Они шли медленно, прижавшись друг к другу, очаровательные, юные, и то пересекали лужицы света, который тогда ярко озарял их, то внезапно исчезали в тени. Он был в белом атласном кафтане, какой носили в минувшем веке, и в шляпе со страусовым пером; она — в платье с фижмами и в высокой пудреной прическе красавиц времен Регентства.

В ста шагах от нас они остановились посреди аллеи и с жеманной грацией поцеловались.

Тут я узнал в них обоих молодых слуг актрисы и весь скорчился на стуле, едва сдерживая безумное, нестерпимое желание расхохотаться. Все же я пересилил себя и не рассмеялся. Я изнемогал, мучился, дергался,

но подавил в себе смех, как человек, которому ампутируют ногу, подавляет крик, рвущийся из горла и с губ.

Но вот юная чета повернулась, направилась в глубину аллеи и снова стала прелестной. Она уходила, удалялась, исчезала и, наконец, совсем исчезла, как греза. Ее уже не было видно. Опустевшая аллея стала печальной.

Я тоже ушел, ушел, чтобы больше не видеть их: я понял, что этот спектакль длится долго, ибо он возрождает прошлое, далекое прошлое любви и рампы, искусственное, обманчивое и пленительное прошлое, полное ложного и настоящего очарования, от которого все еще билось сердце бывшей актрисы и былой любовницы.

ОТЕЦ АМАБЛЬ

I

Мокрое, серое небо нависло над широкой бурой равниной. Запах осени, печальный запах голой, сырой земли, палых листьев, засохшей травы разливался в неподвижном вечернем воздухе тяжелой, густой струей. Крестьяне еще работали кое-где в поле, ожидая звона к вечерне, чтобы вернуться на фермы, соломенные крыши которых проглядывали сквозь обнаженные сучья деревьев, защищающих от ветра яблоневые сады.

У дороги, на груде тряпья, сидел, растопырив ножки, крошечный ребенок и играл картофелиной, роняя ее иногда на свою рубашонку, а рядом на поле пять женщин, согнувшись до земли так, что видны были только зады, сажали брюкву. Быстрым, мерным движением они втыкали деревянные колышки вдоль глубокой борозды, проведенной плугом, и тотчас сажали в образовавшиеся ямки рассаду, уже немного поблекшую и спадающую набок; потом они прикрывали корни землей и продолжали работу.

Проходивший мимо мужчина, с голыми ногами в сабо, с кнутом в руке, остановился возле ребенка, взял его на руки и поцеловал. Тогда одна из женщин выпрямилась и подошла к нему. Это была рослая, румяная девушка, широкая в бедрах, в талии и в плечах, крупная нормандская самка, желтоволосая и краснощекая.

Она сказала решительным голосом:

— Вот и ты, Сезэр. Ну, как?

Мужчина, худощавый парень с печальным лицом, пробормотал:

— Да никак. Все то же.

— Не хочет?

— Не хочет.

— Что ж ты будешь делать?

— А почем я знаю?

— Сходи к кюре.

— Ладно.

— Сходи сейчас.

— Ладно.

Они взглянули друг на друга. Он все еще держал ребенка на руках, поцеловал его еще раз и посадил на кучу женского тряпья.

На горизонте, между двумя фермами, видно было, как лошадь тащит плуг и как на него налегает человек. Лошадь, плуг и пахарь медленно двигались на фоне тусклого вечернего неба.

Женщина продолжала:

— Что же твой отец говорит?

— Говорит, что не хочет.

— Да отчего же он не хочет?

Парень указал жестом на ребенка, которого опустил на землю, и взглядом — на человека, шедшего за плугом. И добавил:

— Потому что ребенок от него.

Девушка пожала плечами и сказала сердито:

— Подумаешь! Всем известно, что ребенок от Виктора! Ну и что же? Ну, согрешила! Да разве я первая? И моя мать грешила до меня, да и твоя тоже — прежде чем выйти за твоего отца! Кому это у нас не приходилось грешить? А у меня грех вышел с Виктором потому, что он взял меня, когда я спала в овине. Это истинная правда. Ну, потом бывало, конечно, что я и не спала да грешила. Я бы вышла за него, кабы он не жил в работниках. Неужели же я от этого хуже стала?

Парень ответил просто:

— По мне ты хороша, что с ребенком, что без

ребенка. Только вот отец не согласен. Ну, да я как-нибудь все улажу.

Она повторила:

— Сходи сейчас же к кюре.

— Иду.

И он пошел дальше тяжелой крестьянской поступью, а девушка, упершись руками в бедра, пошла сажать брюкву.

Парень, направлявшийся теперь к священнику, Сезэр Ульбрек, сын глухого старика Амабля Ульбрека, действительно хотел жениться против воли отца на Селесте Левек, хотя она прижила ребенка с Виктором Лекоком, простым батраком на ферме ее родителей, которого они выгнали после этого.

Впрочем, в деревне не существует кастовых различий, и если батрак бережлив, то он со временем сам приобретает ферму и становится ровней бывшему своему хозяину.

Итак, Сезэр Ульбрек шел, держа кнут под мышкой, думая все ту же думу и медленно переступая тяжелыми сабо, на которых налипла земля. Конечно, он хотел жениться на Селесте и хотел взять ее с ребенком, потому что это была та самая женщина, какая ему нужна. Он не мог бы объяснить, почему именно, но знал это, был в этом уверен. Достаточно ему было взглянуть на нее, чтобы убедиться в этом: он сразу чувствовал себя как-то чудно́, растроганно, глупо-блаженно. Ему даже приятно было целовать ребенка, Виктора малыша, потому что он родился от нее.

И он без всякой злобы поглядывал на далекий силуэт человека, шедшего за плугом на краю горизонта.

Но отец Амабль не желал этого брака. Он противился ему с упрямством глухого, с каким-то бешеным упорством.

Напрасно Сезэр кричал ему в самое ухо, в то ухо, которое еще различало некоторые звуки:

— Мы будем ухаживать за вами, папаша. Говорю вам, она хорошая девушка, работящая, бережливая.

Старик твердил одно:

— Пока я жив, этому не бывать.

И ничто не могло убедить его, ничто не могло сломить его упорство. У Сезэра оставалась одна надежда. Отец Амабль побаивался кюре из страха перед смертью, приближение которой он чувствовал. Он, собственно, не боялся ни бога, ни черта, ни ада, ни чистилища, о которых не имел ни малейшего представления, но он боялся священника, вызывавшего у него мысль о похоронах, как боятся врача из страха перед болезнью. Селеста знала эту слабость старика и уже целую неделю уговаривала Сезэра сходить к кюре. Но Сезэр все не решался, так как и сам недолюбливал черные сутаны: они представлялись ему не иначе, как с рукой, протянутой за даянием или за хлебом для церкви.

Но наконец он собрался с духом и пошел к священнику, обдумывая, как бы лучше рассказать ему свое дело.

Аббат Раффен, маленький, худой, подвижной и вечно небритый, дожидался обеда, грея ноги у кухонного очага.

Увидев вошедшего крестьянина, он только повернул в его сторону голову и спросил:

— А, Сезэр, что тебе нужно?

— Мне бы поговорить с вами, господин кюре.

Крестьянин робко переминался на месте, держа в одной руке фуражку, а в другой кнут.

— Ну, говори.

Сезэр взглянул на старую служанку, которая, шаркая ногами, ставила хозяйский прибор на край стола перед окном. Он пробормотал:

— Мне бы вроде как на духу, господин кюре.

Тут аббат Раффен пристально взглянул на крестьянина и, заметив его растерянный вид, сконфуженное лицо, бегающие глаза, приказал:

— Мари, уйди к себе в комнату минут на пять, пока мы тут потолкуем с Сезэром.

Старуха бросила на парня сердитый взгляд и вышла, ворча.

Священник продолжал:

— Ну, теперь выкладывай свое дело.

Парень все еще колебался, разглядывал свои сабо, теребил фуражку, но потом вдруг осмелел:

— Вот какое дело. Я хочу жениться на Селесте Левек.

— Ну и женись, голубчик, кто же тебе мешает?

— Отец не хочет.

— Твой отец?

— Да.

— Что же он говорит, твой отец?

— Он говорит, что у нее ребенок.

— Ну, это не с ней первой случилось со времени нашей праматери Евы.

— Да ребенок-то у нее от Виктора, от Виктора Лекока, работника Антима Луазеля.

— Ах, вот как! И отец, значит, не хочет?

— Не хочет.

— Нипочем не хочет?

— Да. Не в обиду сказать, уперся, как осел.

— Ну, а что ты ему говоришь, чтобы он согласился?

— Я говорю, что она хорошая девушка, работящая и бережливая.

— А он все-таки не соглашается? Ты, значит, хочешь, чтобы я с ним поговорил?

— Вот, вот!

— Ну, а что же мне ему сказать, твоему отцу?

— Да... то самое, что вы говорите на проповеди, чтобы мы деньги давали.

В представлении крестьянина все усилия религии сводились к тому, чтобы наполнять небесные сундуки, заставлять прихожан раскошеливаться, выкачивать деньги из их карманов. Это было нечто вроде огромного торгового дома, где кюре являлись приказчиками, хитрыми, пронырливыми, оборотистыми, и обделывали дела господа бога за счет деревенских жителей.

Он, конечно, знал, что священники оказывают услуги, немалые услуги бедным людям, больным, умирающим, что они напутствуют, утешают, советуют, поддерживают, но все это за деньги, в обмен на беленькие монетки, на славное блестящее серебро, которым оплачиваются таинства и мессы, советы и покровительство, прощение и отпущение грехов, чистилище или рай, в зависимости от доходов и щедрости грешника.

Аббат Раффен, хорошо понимавший своих прихожан и никогда не сердившийся на них, рассмеялся:

— Ну, ладно! Я поговорю с твоим отцом, но ты, голубчик мой, должен ходить на проповедь.

Ульбрек поднял руку:

— Если вы мне это устроите, даю честное слово бедняка, буду ходить.

— Значит, поладили. Когда же ты хочешь, чтобы я сходил к твоему отцу?

— Да чем раньше, тем лучше. Если можно, хоть сегодня.

— Хорошо, я приду через полчаса, как поужинаю.

— Через полчаса?

— Да. До свидания, голубчик.

— Счастливо оставаться, господин аббат, спасибо вам.

— Не за что.

И Сезэр Ульбрек воротился домой, чувствуя, что с сердца его спала большая тяжесть.

Он арендовал маленькую, совсем маленькую ферму, так как они с отцом были небогаты. Одни со служанкой, пятнадцатилетней девочкой, которая варила им похлебку, ходила за птицей, доила коров и сбивала масло, они еле-еле сводили концы с концами, хотя Сезэр был хороший хозяин. Но у них не хватало ни земли, ни скота, и заработать им удавалось только на самое необходимое.

Старик уже не мог работать. Угрюмый, как все глухие, разбитый болезнями, скрюченный, сгорбленный, он бродил по полям, опираясь на палку, и мрачно, недоверчиво оглядывал людей и животных. Иногда он садился на краю канавы и просиживал там в неподвижности целыми часами, смутно думая о том, что заботило его всю жизнь,— о ценах на яйца и на хлеб, о солнце и о дожде, которые будут полезны или вредны посевам. И его старые члены, сведенные ревматизмом, продолжали впитывать в себя сырость почвы, как уже впитывали в течение семидесяти лет испарения низкого домика, крытого сырой соломой

Он возвращался домой к вечеру, садился на свое место в кухне, у края стола, и когда перед ним ставили глиняный горшок с похлебкой, он обхватывал его

скрюченными пальцами, как будто сохранявшими округлую форму посуды, и, прежде чем приняться за еду, грел об него руки зимой и летом, чтобы не пропало ничего, ни единой частицы тепла от огня, который стоит так дорого, ни единой капли супа, куда положены сало и соль, ни единой крошки хлеба, на который идет пшеница.

Потом он взбирался по лесенке на чердак, где лежал его сенник; сын спал внизу, в закоулке за печью, а служанка запиралась на ночь в погреб, в темную яму, куда раньше ссыпали картофель.

Сезэр и его отец почти не разговаривали. Лишь время от времени, когда надо было продать урожай или купить теленка, молодой человек советовался со стариком и, сложив рупором руки, выкрикивал ему в ухо свои соображения; отец Амабль соглашался с ним или медленно возражал глухим голосом, выходившим словно из самого его нутра.

И вот однажды вечером Сезэр подошел к отцу, как бывало, когда дело шло о приобретении лошади или телки, и прокричал ему в ухо, что было силы, о своем намерении жениться на Селесте Левек.

Но тут отец рассердился. Почему? По моральным соображениям? Нет, конечно. В деревне девичья честь никакой ценности не представляет. Но скупость и глубокий, свирепый инстинкт бережливости возмутились в нем при мысли, что сын будет растить ребенка, который родился не от него. В одно мгновение представил он себе, сколько мисок супа проглотит ребенок, пока от него будет польза в хозяйстве, вычислил, сколько фунтов хлеба съест, сколько литров сидра выпьет этот мальчишка, прежде чем ему исполнится четырнадцать лет, и в нем вспыхнула дикая злоба против Сезэра, который не подумал обо всем этом.

И он ответил непривычно резким голосом:

— Да ты рехнулся, что ли?

Тогда Сезэр начал перечислять все доводы, описывать достоинства Селесты, доказывая, что она заработает во сто раз больше, чем будет стоить ребенок. Но старик в ее достоинствах сомневался, между тем как существование ребенка не вызывало у него никаких

сомнений, и упорно твердил одно и то же, не вдаваясь в подробности:

— Не хочу! Не хочу! Пока я жив, этому не бывать.

И за три месяца дело не сдвинулось с места, так как ни тот, ни другой не шли на уступки и возобновляли не менее раза в неделю тот же спор, с теми же доводами, словами, жестами и с теми же бесплодными результатами.

Тогда-то Селеста и посоветовала Сезэру обратиться за помощью к местному кюре.

От священника Сезэр пришел домой с опозданием и застал отца уже за столом.

Они пообедали молча, сидя друг против друга, съели после супа немного хлеба с маслом, выпили по стакану сидра и продолжали неподвижно сидеть на стульях при тусклом свете свечи, которую девочка-служанка внесла, чтобы вымыть ложки, перетереть стаканы и заранее нарезать хлеб на завтрашнее утро.

Раздался стук в дверь; она тотчас же распахнулась, и вошел священник. Старик поднял на него беспокойный, подозрительный взгляд и, предчувствуя недоброе, собрался было залезть на чердак, но аббат Раффен положил ему руку на плечо и прокричал у самого его виска:

— Мне надо поговорить с вами, отец Амабль.

Сезэр скрылся, воспользовавшись тем, что дверь осталась открытой. Он не хотел ничего слышать, так ему было страшно; он не хотел, чтобы его надежда убывала по капле с каждым упорным отказом отца; он предпочитал потом, сразу, узнать решение, хорошее или плохое, и ушел из дому. Вечер был безлунный, беззвездный, один из тех туманных вечеров, когда воздух от сырости кажется салным. Легкий запах яблок несся из каждого двора; наступило время сбора ранних яблок, «скороспелок», как их называют в этой стране сидра. Когда Сезэр проходил мимо хлевов, на него сквозь узкие окна веяло теплым запахом скота, дремавшего на навозе, из конюшен доносилось топотание лошадей и похрустывание сена, которое они выбирали из кормушек и перемалывали челюстями.

Он шел и думал о Селесте. В его простом уме, где мысли возникали только как образы, непосредственно порождаемые предметами, мечты о любви воплощались в облике высокой румяной девушки, которая стояла у дороги, в ложбине, и смеялась, упершись руками в бедра.

Такой он увидел ее в тот день, когда в нем впервые зародилось влечение к ней. Правда, он знал ее с детства, но никогда до этого утра не обращал на нее внимания. Они поговорили несколько минут, и он ушел, повторяя на ходу: «А ведь хороша девка! Жаль, что у нее был грех с Виктором». Он думал о ней до самого вечера, а также и на другой день.

Когда они встретились снова, он почувствовал, что у него защекотало в горле, как будто ему запустили петушиное перо через рот в самую грудь И с тех пор каждый раз, когда он бывал подле нее, он с удивлением ощущал то же неизменное, странное нервное щекотание.

Не прошло и трех недель, как он решил жениться на ней,— так она ему нравилась. Он бы не сумел объяснить, откуда взялась ее власть над ним, и только говорил: «На меня нашло»,— как будто желание обладать этой девушкой, которое он носил в себе, овладело им, как бесовское наваждение. Ее грех больше не тревожил Сезэра. Не все ли равно, в конце концов, ведь от этого она хуже не стала; и он не питал злобы к Виктору Лекоку.

Но если кюре потерпит неудачу, что тогда? Сезэр старался не думать об этом: слишком уж терзала его тревога.

Он дошел до дома священника и сел подле деревянной калитки, чтобы дождаться возвращения кюре.

Посидев там, пожалуй, не меньше часа, он услышал на дороге шаги и вскоре разглядел, хотя ночь была очень темная, еще более темную тень сутаны.

Он встал, ноги его подкашивались, он боялся заговорить, боялся спросить.

Священник, увидев его, весело сказал:

— Ну, вот, голубчик, все и уладилось.

Сезэр забормотал:

— Как уладилось?.. Не может быть!

— Да, да, мальчик, правда, не без труда. Твой отец упрям, как старый осел.

Крестьянин все повторял:

— Не может быть!

— Ну да, уладилось! Приходи ко мне завтра в полдень поговорить насчет оглашения.

Сезэр схватил руку кюре. Он жал ее, тряс, тискал и твердил, заикаясь:

— Так правда?.. Правда?.. Господин кюре!.. Даю слово честного человека, я приду в воскресенье... на вашу проповедь!

II

Свадьбу сыграли в середине декабря. Свадьба была скромная, так как молодые были небогатые. Сезэр, одетый во все новое, порывался уже с восьми утра идти за невестой и вести ее в мэрию; но было еще слишком рано, и он уселся за кухонный стол, поджидая родных и друзей, которые должны были зайти за ним.

Снег шел целую неделю; и бурая земля, уже оплодотворенная осенними посевами, побелела, заснула под ледяным покровом.

В домиках, накрытых белыми шапками снега, было холодно; круглые яблони во дворах, напудренные снежной пылью, казалось, цвели, как в прекрасную пору своего расцвета.

В тот день большие тучи с севера, серые тучи, набухшие снежным дождем, рассеялись, и голубое небо распростерлось над белой землей, на которую восходящее солнце бросало серебристые блики.

Сезэр глядел в окно и ни о чем не думал, только чувствовал себя счастливым.

Дверь отворилась, вошли две женщины, две крестьянки, разодетые по-праздничному,— тетка и двоюродная сестра жениха; за ними явилось трое мужчин — его двоюродные братья, потом соседка. Они разместились на стульях и сидели неподвижно и молча — женщины на одной стороне кухни, мужчины на другой,— внезапно скованные той робостью, тем тоскливым смущением, которое нападает на людей, собрав-

шихся для какой-нибудь церемонии. Немного погодя один из двоюродных братьев спросил:

— Не пора ли?

Сезэр ответил:

— Пожалуй, пора.

— Ну, так пойдемте,— сказал другой.

Они встали. Тогда Сезэр, начинавший беспокоиться, влез по лестнице на чердак, посмотреть, готов ли отец. Обычно старик вставал очень рано, но сегодня он еще не появлялся. Сын нашел его в постели: он лежал, завернувшись в одеяло, с открытыми глазами и злым лицом.

Сезэр крикнул ему в ухо:

— Вставайте, папаша, вставайте. Пора на свадьбу!

Глухой забормотал жалобным голосом:

— Не могу! Мне, должно быть, спину продуло. Никак двинуться не могу.

Сын удрученно глядел на него, догадываясь, что это притворство.

— Ну, папаша, понатужьтесь.

— Не могу.

— Давайте я вам пособлю.

И, нагнувшись к старику, он размотал одеяло, взял отца за руки и приподнял. Но старик Амабль принялся вопить:

— Ой, ой, ой!.. Горе мое!.. Ой, ой, не могу! Всю спину разломило! Верно, меня ветром продуло через эту проклятую крышу.

Сезэр понял, что ничего не добьется, и, впервые в жизни рассердившись на отца, крикнул ему:

— Ну, тогда и сидите без обеда. Ведь обед-то я заказал в трактире у Полита. Будете знать, как упрямиться.

Он сбежал с лестницы и пустился в путь в сопровождении родных и приглашенных.

Мужчины засучили брюки, чтобы не обить их края о снег, женщины высоко подбирали юбки, показывая худые щиколотки, серые шерстяные чулки и костлявые ноги, прямые, как палки. Они шли, покачиваясь, гуськом, молча и медленно из осторожности, чтобы не сбиться с дороги, занесенной ровною, однообразною, сплошною пеленой снега.

Когда они подходили к фермам, к ним присоединялось по два, по три человека, которые их поджидали, и процессия беспрестанно растягивалась, извивалась, следуя по невидимым поворотам дороги, и напоминала живые четки, черные бусы, колыхавшиеся по белой равнине.

Перед домом невесты жениха ждала целая группа людей, переминавшихся с ноги на ногу. Когда он появился, его приветствовали криками. Скоро и Селеста вышла из своей комнаты, в голубом платье, с красной шалью на плечах, с флердоранжем в волосах.

Все спрашивали Сезэра:

— А где же отец?

Он отвечал сконфуженно:

— У него такие боли приключились, что встать не может.

И фермеры недоверчиво и лукаво покачивали головами.

Процессия направилась к мэрии. Позади будущих супругов одна из крестьянок несла на руках ребенка Виктора, как будто предстояли крестины. Остальные крестьяне, взявшись под руки, шагали по снегу теперь уже попарно, качаясь, как шлюпки на волнах.

После того как мэр соединил молодых в маленьком доме муниципалитета, кюре, в свою очередь, обвенчал их в божьем доме. Он благословил их союз, обещая им плодородие, а потом произнес проповедь о супружеских добродетелях, о простых здоровых добродетелях сельской жизни, о трудолюбии, о супружеском согласии, о верности; тем временем ребенок, продрогнув, пищал за спиной у невесты.

Когда молодые показались на церковном пороге, из кладбищенского рва грянули выстрелы. Сначала видны были только концы ружейных стволов, из которых быстро вылетали клубы дыма, потом показалась голова, смотревшая на процессию. Это Виктор Лекок приветствовал свадьбу своей подруги, праздновал ее счастье и в громе выстрелов приносил ей свои поздравления. Для этих торжественных залпов он привел своих приятелей, человек пять — шесть батраков с ферм. Все нашли, что это очень мило с его стороны.

Обед состоялся в трактире Полита Кашпрюна. Стол на двадцать персон был накрыт в большом зале, где обедали в базарные дни; огромная баранья нога на вертеле, птица, жарящаяся в собственном соку, колбаса, шипящая на ярком, веселом огне, наполняли дом густым запахом, чадом залитых жиром углей, крепким, тяжким духом деревенской пищи.

В полдень сели за стол, и тарелки тотчас же наполнились супом. Лица уже оживились, рты готовы были открыться и выкрикивать шутки, глаза смеялись, лукаво прищуриваясь. Все собрались повеселиться, черт возьми!

Дверь распахнулась, и появился отец Амабль. Вид у него был недобрый, выражение лица свирепое, он тащился, опираясь на две палки и охая на каждом шагу, чтобы видно было, как он страдает.

При его появлении все умолкли; но вдруг его сосед, дядя Маливуар, известный шутник, видевший каждого насквозь, завопил, сложив руки рупором, как это делал Сезэр:

— Эге, старый хитрец! Ну и посище у тебя, если ты из дома учуял, чем у Полита пахнет!

Могучий хохот вырвался из всех глоток. Маливуар, поощренный успехом, продолжал:

— Нет лучше средства от ломоты, чем колбасная припарка! Если еще стаканчик водки в придачу, вот нутро-то и согреется!

Мужчины орали, колотили кулаками по столу, хохотали, то наклоняясь в сторону всем телом, то выпрямляясь, точно качали воду. Женщины кудахтали, как куры, служанки корчились со смеху, стоя у стены. Один отец Амабль не смеялся и, ничего не отвечая, ждал, чтобы ему очистили место.

Его посадили посредине, напротив снохи; и не успел он сесть за стол, как тотчас же принялся за еду. Раз сын платит, надо урвать свою долю. С каждой ложкой супа, попавшей в его желудок, с каждым куском хлеба или мяса, растертым его беззубыми деснами, с каждым стаканом сидра или вина, влитым в горло, он, казалось, отвоевывал частицу своего добра, возвращал часть денег, проедаемых этими обжорами, спасал крохи своего имущества. Он ел молча, с алчностью скупца, припря-

тывающего каждое су, с тем угрюмым рвением, какое раньше прилагал к своим неустанным трудам.

Но, увидев вдруг за столом, на коленях у одной из женщин, ребенка Селесты, он больше уже не сводил с него глаз. Он продолжал есть, но взгляд его был прикован к мальчику, жевавшему кусочки жаркого, которые женщина время от времени подносила к его ротику. И старика гораздо больше мучили те крохи, которые сосала эта личинка человека, чем все то, что поглощали остальные.

Пир длился до вечера. Потом все разошлись по домам. Сезэр приподнял отца Амабля.

— Пора домой, папаша,— сказал он и подал ему обе его палки.

Селеста взяла ребенка на руки, и они медленно побрели сквозь белесую мглу ночи, освещенной снегом. Глухой старик, изрядно выпивший, еще более злой от вина, упорно не желал двигаться. Не раз он даже садился в тайной надежде, что сноха простудится. Он хныкал, не произнося ни слова, испуская протяжные жалобные стоны.

Когда они добрались до дому, он тотчас же залез на чердак, между тем как Сезэр устраивал постель для ребенка подле того закоулка, где собирался лечь с женой. Новобрачные заснули далеко не сразу, и они долго еще слышали, как старик ворочался на своем леннике; он даже несколько раз громко проговорил что-то, может быть, со сна, а может быть, потому, что был во власти навязчивой мысли и слова против воли вырывались у него изо рта.

Когда он наутро спустился с лестницы, то увидел, что сноха хлопочет по хозяйству.

Она крикнула ему:

— Поторапливайтесь, папаша, вот вам хорошая похлебка.

И она поставила на край стола круглый глиняный дымящийся горшок. Старик Амабль сел, ничего не ответив, взял горячий горшок, по обыкновению погрел об него руки и, так как было очень холодно, даже прижал его к груди, пытаясь вобрать в себя, в свое старое тело, застывшее от зимних холодов, немного живого тепла кипящей воды.

Потом он взял свои палки и ушел в замерзшие поля до полудня, до самого обеда — ушел из-за того, что увидел в большом ящике из-под мыла ребенка Селесты, который еще спал.

Старик так и не примирился. Он продолжал жить в доме, как раньше, но, казалось, уже был здесь чужим, ничем не интересовался, относился к этим людям — к сыну, к женщине, к ребенку,— как к посторонним, которых он не знает и никогда с ними не разговаривал.

Зима миновала. Она была долгая и суровая. Потом ранней весной взошли посевы, и крестьяне, как трудолюбивые муравьи, снова проводили в поле целые дни, работая от зари до зари, под ветром и под дождем, согнувшись над бороздами черной земли, рождавшими хлеб для людей.

Для молодых супругов год начался хорошо. Всходы выдались крепкие, густые, поздних заморозков не было, цветущие яблони роняли в траву бело-розовый снег, обещая на осень горы плодов.

Сезэр работал не покладая рук, вставал рано и возвращался поздно, чтобы не тратиться на батрака.

Жена не раз говорила ему:

— Смотри, надорвешься!

Но он отвечал:

— Ничего, дело привычное.

Все же однажды вечером он вернулся домой настолько усталый, что лег, не поужинав. Наутро он встал в обычный час, но не мог есть, хотя накануне улегся натощак; днем он вынужден был вернуться домой отдохнуть. Ночью он начал кашлять и метался на постели в жару, страдая от жажды, лицо у него пылало, во рту пересохло.

Тем не менее на рассвете он отправился в поле, но на следующий день пришлось позвать врача, который объявил, что он серьезно болен, болен воспалением легких.

И Сезэр больше уж не вышел из темного закоулка, служившего ему спальней. Слышно было, как он кашляет, тяжело дышит и ворочается в этой темной норе. Чтобы его увидеть, чтобы дать ему лекарство или поставить банки, надо было в этот закоулок приносить

свечу. Тогда становилось видно его изможденное лицо, неопрятное из-за отросшей бороды, а над ним — густое кружево паутины, колебавшейся от движения воздуха. Руки больного казались мертвыми на серой простыне.

Селеста ухаживала за ним с тревожной заботливостью, давала ему пить лекарство, ставила банки, хлопотала по хозяйству, а отец Амабль, сидя у входа на чердак, следил издали за темным углом, где умирал его сын. Он не подходил к нему, потому что ненавидел его жену, и злился, как ревнивый пес.

Прошло еще шесть дней. Утром седьмого дня, когда Селеста, спавшая теперь на охапке соломы, расстеленной на полу, встала, чтобы взглянуть, не легче ли мужу, она не услышала больше из темного угла его прерывистого дыхания. В испуге она спросила:

— Ну, как ты нынче, Сезэр?

Он не ответил.

Она протянула руку, чтобы потрогать его, и коснулась застывшего лица. Она закричала громко и протяжно, как кричат испуганные женщины. Он был мертв.

При этом крике глухой старик появился на верху лестницы; увидев, что Селеста бросилась бежать за помощью, он быстро спустился, в свою очередь, ощупал лицо сына и, поняв вдруг, в чем дело, запер дверь изнутри, чтобы не дать снохе вернуться и снова завладеть домом теперь, когда сына уже нет в живых.

Потом он сел на стул рядом с покойником.

Соседи приходили, звали, стучали. Он не слышал. Один из них разбил оконное стекло и влез в комнату. Другие последовали за ним; дверь снова отперли, и Селеста вошла, вся в слезах, с распухшим лицом и красными глазами. Тогда отец Амабль, побежденный, не промолвив ни слова, снова залез к себе на чердак.

Похороны состоялись на следующий день; после церемонии свекор и сноха очутились на ферме одни с ребенком.

Был час обеда. Селеста зажгла огонь, размочила хлеб в похлебке и собрала на стол, между тем как старик ждал, сидя на стуле, и как будто не глядел на нее.

Когда обед поспел, она крикнула ему в ухо:

— Идите, папаша, надо поесть.

Он встал, сел за стол, съел горшок супа, сжевал кусок хлеба, тонко намазанный маслом, выпил два стакана сидра и ушел.

Стоял один из тех теплых благодатных дней, когда чувствуется, как на всей поверхности земли всходит, трепещет, расцветает жизнь.

Отец Амабль шел по тропинке через поля. Он глядел на молодые хлеба, на молодые овсы и думал о том, что его сын, родной его сын, лежит теперь под землею. Он шел усталой походкой, волоча ногу, прихрамывая. Он был совсем один в поле, совсем один под голубым небом, среди зреющего урожая, совсем один с жаворонками, которых видел над своей головой, не слыша их звонкого пения; он шел и плакал.

Потом он сел подле лужи и просидел там до вечера, глядя на птичек, которые прилетали напиться, а когда стало темнеть, вернулся домой, поужинал, не говоря ни слова, и влез к себе на чердак.

И жизнь его потекла так же, как раньше. Ничто не изменилось, только Сезэр, его сын, спал на кладбище.

Да и что было делать старику? Работать он больше не мог, он годился теперь только на то, чтобы есть похлебку, которую варила сноха. И он молча съедал ее, утром и вечером, следя злыми глазами за ребенком, который тоже ел, сидя против него, по другую сторону стола. Потом он уходил из дому, шатался по окрестностям, как бродяга, прятался за овинами, чтобы соснуть часок-другой, как будто боясь, что его увидят, и лишь к ночи возвращался домой.

Между тем серьезные заботы начали тревожить Селесту. Земля нуждалась в мужчине, который ухаживал бы за ней и обрабатывал ее. Надо было, чтобы кто-нибудь постоянно находился на полях, и притом не простой наемный работник, а настоящий земледелец, опытный хозяин, болеющий о ферме. Женщина одна не может обрабатывать землю, следить за ценами на хлеб, покупать и продавать скот. И в голове Селесты возникли мысли, простые, практические мысли, которые она передумывала целыми ночами. Она не могла снова выйти замуж раньше, как через год, а между тем следовало немедленно позаботиться о самых насущных нуждах.

Только один человек и мог вывести ее из затруднения — Виктор Лекок, отец ее ребенка. Он был хороший работник и знал все, что касалось земли; будь у него хоть немного денег, он стал бы прекрасным хозяином. Селесте это было известно, потому что она видела, как он работал на ферме у ее родителей.

И вот как-то утром, когда он проезжал мимо с телегой навоза, она вышла ему навстречу. Заметив ее, он остановил лошадь, и она обратилась к нему, как будто они виделись не далее, как вчера:

— Здравствуй, Виктор, как живешь?

Он ответил:

— Помаленьку, а вы как?

— Я бы ничего, да вот только одна я в доме и очень беспокоюсь о земле.

И они пустились в долгий разговор, прислонясь к колесу тяжелой телеги. Мужчина порой почесывал себе лоб под фуражкой и погружался в раздумье, а она, раскрасневшись, говорила с жаром, высказывая свои доводы, соображения, планы на будущее. Наконец он пробормотал:

— Ну что ж, это можно.

Она протянула руку, как делают крестьяне, заключая торг, и сказала:

— Значит, по рукам?

Он пожал протянутую руку:

— По рукам!

— Так в воскресенье?

— В воскресенье.

— Ну, до свидания, Виктор.

— До свидания, госпожа Ульбрек.

III

В то воскресенье был деревенский праздник, ежегодный престольный праздник, который в Нормандии называют «гуляньем».

Всю неделю по дорогам медленно тащились повозки, запряженные серыми или гнедыми клячами, крытые повозки, в которых живут со своими семьями бродячие ярмарочные фокусники, владельцы лотерей, ти-

ров, разных игр и содержатели тех паноптикумов, где, как говорят крестьяне, «показывают разные штуки».

На площади, у мэрии, один за другим останавливались грязные фургоны с развевающимися занавесками, сопровождаемые унылым псом, который, понурив голову, трусил между колесами. Вскоре перед каждым из этих кочевых жилищ вырастала палатка, а в палатке сквозь дыры в парусине можно было разглядеть блестящие предметы, возбуждавшие восхищение и любопытство мальчишек.

В праздник все эти палатки открывались с самого утра, выставляя напоказ свои сокровища из стекла и фаянса. Крестьяне, направляясь к обедне, с простодушным удовольствием поглядывали на эти незатейливые лавки, несмотря на то, что видели их ежегодно.

К полудню площадь наполнилась народом. Со всех соседних деревень съезжались фермеры, трясясь с женами и детьми на двухколесных шарабанах, громыхающих железными частями и шатких, как качели. Приезжающие распрягали лошадей у знакомых, и все дворы были загромождены нелепыми серыми колымагами, высокими, тонкими, крючковатыми, похожими на животных с длинными щупальцами, обитателей морских глубин.

И все семьи — маленькие впереди, взрослые сзади — отправлялись на гулянье тихим шагом, с довольным видом, болтая руками, грубыми, костлявыми, красными руками, которые привыкли к работе и словно стыдились своей праздности.

Фокусник играл на дудке; шарманка карусели раздирала воздух плачущими, прерывистыми звуками; лотерейное колесо трещало, как материя, которую разрывают; ежеминутно раздавались выстрелы из карабинов. И медлительная толпа лениво двигалась вдоль палаток, расползаясь, как тесто, волнуясь, как стадо неуклюжих животных, случайно выпущенных на свободу.

Девушки, взявшись за руки, гуляли по шесть, по восемь в ряд и визгливо пели песни; парни шли за ними, балагуря, сдвинув набекрень фуражки, и накрахмаленные блузы пузырились на них, как большие голубые шары.

Тут собралась вся округа — хозяева, батраки, служанки.

Даже отец Амабль нарядился в свой древний позеленевший сюртук и пожелал принять участие в гулянье, потому что никогда не пропускал его.

Он глядел на лотереи, останавливался перед тиром посмотреть, как стреляют, и в особенности заинтересовался простой игрой, состоящей в том, чтобы попадать большим деревянным шаром в разинутый рот человека, нарисованного на доске.

Вдруг кто-то хлопнул его по плечу. То был дядя Маливуар. Он крикнул старику:

— Эй, папаша, пойдем выпьем коньяку, я угощаю.

И они уселись за столик кабачка, устроенного на открытом воздухе. Они выпили по рюмочке, потом по другой и по третьей, после чего отец Амабль снова пошел бродить. Мысли его стали немного путаться, он улыбался, сам не зная чему, улыбался, глядя на лотерею, на карусель и, главное, на фигурные кегли. Он долго стоял перед ними, приходя в восторг каждый раз, как какой-нибудь любитель сбивал жандарма или священника — двух представителей власти, которых старик инстинктивно страшился. Потом он вернулся к кабачку и выпил стакан сидра, чтобы освежиться. Было поздно, надвигалась ночь. Кто-то из соседей окликнул его:

— Смотрите, отец Амабль, не опоздайте к ужину.

Тогда он отправился домой, на ферму. Тихие сумерки, теплые сумерки весенних вечеров медленно опускались на землю.

Когда он дошел до дверей, ему показалось, что в освещенном окне видны два человека. Он остановился в изумлении, потом вошел и увидел, что за столом, перед тарелкой с картошкой, на том самом месте, где раньше сидел его сын, сидит и ужинает Виктор Лекок.

Старик сразу круто повернулся, как будто хотел уйти. Ночь была уже совсем черная. Селеста вскочила и крикнула ему:

— Скорее, скорее, папаша, нынче у нас ради праздника хорошее рагу.

Тогда он машинально подошел к столу и сел, огля-

дывая поочередно мужчину, женщину и ребенка. Потом, по своему обычаю, медленно принялся за еду.

Виктор Лекок чувствовал себя, как дома, время от времени заговаривал с Селестой, брал ребенка на руки и целовал его. А Селеста подкладывала ему еды, наполняла его стакан и, казалось, с большим удовольствием разговаривала с ним. Отец Амабль следил за ними пристальным взглядом, не слыша их слов. После ужина — а он почти не ел, так у него было тяжело на сердце — он встал и, вместо того чтобы влезть, как всегда, на чердак, открыл дверь во двор и вышел в поле.

Когда он ушел, Селеста, немного обеспокоившись, спросила:

— Что это с ним?

Виктор равнодушно заметил:

— Не бойся. Придет, когда устанет.

Тогда она занялась хозяйством, перемыла тарелки, вытерла стол, между тем как мужчина спокойно раздевался. Потом он улегся в глубоком темном закоулке, где она раньше спала с Сезэром.

Дверь со двора отворилась. Вошел отец Амабль и тотчас же огляделся по сторонам, будто принюхиваясь, как старый пес. Он искал Виктора Лекока. Не видя его, он взял свечу со стола и пошел к темному углу, где умер его сын. В глубине его он увидел мужчину, вытянувшегося под одеялом и уже уснувшего. Тогда глухой тихо повернулся, поставил свечу и опять вышел из дому.

Селеста закончила работу, уложила сына, прибрала все по местам и ждала только возвращения свекра, чтобы тоже улечься рядом с Виктором.

Она сидела на стуле, свесив руки, глядя в пространство.

Но старик все не возвращался, и она с досадой и раздраженно пробормотала:

— Из-за этого старого дармоеда мы свечу спалим на целых четыре су.

Виктор откликнулся с кровати:

— Он уже больше часа на дворе. Взглянуть бы, не заснул ли он на скамейке у крыльца.

— Сейчас схожу,— сказала она, встала, взяла свечу

и вышла, приложив руки щитком ко лбу, чтобы лучше видеть в темноте.

Никого не было перед дверью, никого на скамейке, никого у навозной кучи, куда отец по привычке приходил иногда посидеть в тепле.

Но, собираясь уже вернуться в дом, она нечаянно подняла глаза на большую развесистую яблоню у ворот фермы и вдруг увидела ноги, две мужские ноги, висевшие на уровне ее лица.

Она отчаянно закричала:

— Виктор! Виктор! Виктор!

Он прибежал в одной рубашке. Она не могла выговорить ни слова и, отвернувшись, чтобы не видеть, показывала протянутой рукой на дерево.

Ничего не понимая, он взял свечу, чтобы посмотреть, что там такое, и увидел среди освещенной снизу листвы отца Амабля, который висел очень высоко на недоуздке.

К стволу яблони была прислонена лестница.

Виктор сбегал за ножом, влез на дерево и разрезал ремень. Но старик уже застыл, высунув изо рта язык, в ужасной гримасе.

ОРЛЯ

ОРЛЯ

8 *мая*. Какой восхитительный день! Все утро я провел, растянувшись на траве перед моим домом, под огромным платаном, который целиком закрывает его, защищает и окутывает тенью. Я люблю эту местность, люблю здесь жить, потому что здесь мои корни, те глубокие, чувствительные корни, которые привязывают человека к земле, где родились и умерли его предки, привязывают его к определенному образу мыслей, к определенной пище, к обычаям и кушаньям, к местным оборотам речи, к произношению крестьян, к запаху почвы, деревень и самого воздуха.

Я люблю дом, где я вырос. Из окон я вижу Сену, которая течет мимо моего сада, за дорогой, совсем рядом со мной, — полноводную и широкую Сену, от Руана до Гавра покрытую плывущими судами.

Налево — Руан, обширный город синих крыш под остроконечным лесом готических колоколен. Хрупкие или кореластые, возглавленные литым шпилем собора, они бесчисленны, и там множество колоколов, которые звонят в голубом просторе прекрасного утреннего часа, распространяя мягкое гудение металла, свою бронзовую песню; когда ветер доносит ее до меня, она звучит то сильнее, то слабее, смотря по тому, пробуждается ли ветер или засыпает.

Как хорошо было это утро!

Часов в одиннадцать крохотный, как муха, пароходик, изрыгая густой дым и хрипя от натуги, протащил на буксире мимо моей ограды целый караван судов.

Вслед за двумя английскими шхунами, красный флаг которых развевался высоко в небе, прошел великолепный бразильский трехмачтовый корабль, весь белый, удивительно чистый, сверкающий. Я приветствовал его, сам не знаю почему,— так приятно мне было видеть этот корабль.

12 *мая*. Уже несколько дней меня лихорадит; мне нездоровится или, вернее, мне как-то грустно.

Откуда струятся эти таинственные влияния, которые превращают наше счастье в уныние, а надежды в отчаяние? Как будто самый воздух, невидимый воздух наполнен неведомыми Силами, таинственную близость которых мы испытываем на себе. Я просыпаюсь радостный, желание запеть переполняет мою грудь. Почему? Я иду низом вдоль берега и вдруг, после короткой прогулки, возвращаюсь расстроенный, как будто дома меня ожидает какое-то несчастье. Почему? Может быть, это струя холода, коснувшись моей кожи, потрясла мне нервы и омрачила душу? Или же это форма облаков, краски дня, оттенки предметов, такие изменчивые, воспринятые зрением, встревожили мою мысль? Как знать? Все, что нас окружает, все, что мы видим, не всматриваясь, все, с чем мы соприкасаемся, не вникая, все, к чему мы притрагиваемся, не осязая, все, что мы встречаем, не познавая, оказывает быстрое, неожиданное и необъяснимое воздействие на нас, на наши органы и через них — на наши мысли, на самое сердце.

Как глубока эта тайна Невидимого! Мы не можем проникнуть в нее с помощью наших жалких органов чувств. Нам не могут помочь наши глаза, которые не умеют видеть ни слишком малого, ни слишком большого, ни слишком близкого, ни слишком далекого, ни обитателей звезд, ни обитателей капли воды... Нам не может помочь наш слух, который лишь обманывает нас, так как передает нам колебания воздуха превращенными в полнозвучные тона. Наш слух той же природы, что и феи: он чудесно претворяет это колебание в звук и метаморфозой этой рождает музыку, которая придает певучесть немому волнению природы... А что уж говорить о нашем обонянии, более слабом, чем

чутье собаки... о нашем вкусе, едва различающем возраст вина!

Ах, будь у нас другие органы, которые творили бы к нашему благу другие чудеса, сколько всего могли бы мы еще открыть вокруг себя!

16 *мая.* Я болен, это ясно! А я так хорошо чувствовал себя последний месяц! У меня лихорадка, жестокая лихорадка, или, вернее, лихорадочное возбуждение, доставляющее не меньше страданий моей душе, чем телу. Все время у меня ужасное предчувствие угрожающей мне опасности, боязнь надвигающегося несчастья или близкой смерти, то ощущение, которое, несомненно, является приступом болезни, еще неизвестной, но гнездящейся в крови и плоти.

18 *мая.* Я посоветовался с доктором, потому что стал страдать бессонницей. Он нашел у меня учащенный пульс, расширение зрачков, повышенную нервозность, но не обнаружил ни одного тревожного симптома. Мне нужно принимать душ и пить бромистый калий.

25 *мая.* Никакой перемены! В самом деле, какое странное состояние! Лишь только близится вечер, мною овладевает непонятное беспокойство, как будто ночь таит страшную для меня угрозу. Я наскоро обедаю, потом пытаюсь читать, но не понимаю ни слова, еле различаю буквы. Тогда я принимаюсь ходить взад и вперед по гостиной под гнетом смутной, но непреодолимой боязни, боязни сна и боязни постели.

Часам к десяти я подымаюсь в спальню. Едва войдя, запираю дверь на два поворота ключа и задвигаю засов: я боюсь... но чего?.. До сих пор я совершенно не боялся... Я открываю шкафы, заглядываю под кровать, прислушиваюсь... прислушиваюсь... но к чему?.. Не странно ли, что простое недомогание, быть может, некоторое расстройство кровообращения, возбуждение какого-нибудь нервного узла, небольшой прилив крови, ничтожнейший перебой в работе нашей одушевленной машины, столь несовершенной и столь хрупкой, способны сделать меланхоликом самого веселого человека и трусом — храбреца? Затем я ложусь и жду сна, как ожидают палача. Я с ужасом жду его прихода, сердце у меня колотится, ноги дрожат, и все тело трепещет в

жаркой постели до тех пор, пока я вдруг не проваливаюсь в сон, как падают в омут, чтобы утопиться. Я не чувствую, как прежде, приближения этого вероломного сна, который прячется где-то рядом, подстерегает и готов схватить меня за голову, закрыть мне глаза, уничтожить меня.

Я сплю долго, два — три часа, потом какое-то сновидение, нет, кошмар, начинает душить меня. Я прекрасно чувствую, что лежу и сплю... Я это чувствую и знаю... но чувствую также, что кто-то приближается ко мне, смотрит на меня, трогает меня, вскакивает на кровать, становится коленями мне на грудь, охватывает руками мою шею и сжимает... сжимает ее... изо всех сил, чтобы задушить меня.

Я сопротивляюсь, но связан той страшной немощью, что парализует нас во сне: хочу закричать — и не могу, хочу пошевелиться — и не могу; задыхаясь, делаю невероятные усилия, чтобы повернуться, сбросить с себя существо, которое давит и душит меня, — и не могу!

И внезапно я просыпаюсь, обезумевший, покрытый потом. Зажигаю свечу. Я — один.

После этого припадка, который повторяется каждую ночь, я наконец спокойно засыпаю и сплю до рассвета.

2 *июня.* Мое состояние еще ухудшилось. Что же со мной? Бром не помогает, души не помогают. Недавно, чтобы утомить тело, и без того усталое, я отправился прогуляться в Румарский лес. Сначала мне казалось, что свежий воздух, легкий и приятный, насыщенный запахом трав и листьев, вливает в мои жилы новую кровь, а в сердце новую силу. Я пошел большой охотничьей дорогой, потом свернул на Ла-Буй, по узкой тропинке меж двумя полчищами высоченных деревьев, воздвигавших зеленую, густую, почти черную кровлю между небом и мной.

Вдруг меня охватила дрожь,— не дрожь холода, но странная дрожь тоски.

Я ускорил шаг, испугавшись того, что я один в лесу, бессмысленно и глупо устрашась одиночества. И мне показалось, что за мной кто-то идет, следует по пятам, совсем близко, вплотную, почти касаясь меня.

Я резко обернулся. Я был один. Позади себя я увидел только прямую и широкую аллею, пустынную, глу-

бокую, жутко пустынную; и по другую сторону она тянулась тоже бесконечно, совершенно такая же, наводящая страх.

Я закрыл глаза. Почему? И начал вертеться на каблуке, очень быстро, словно волчок. Я чуть не упал; открыл глаза; деревья плясали, земля колебалась; я принужден был сесть. Потом, ах! потом я уже не мог вспомнить, какою дорогой пришел сюда! Дикая мысль! Дикая! Дикая мысль! Я больше ничего не узнавал. Пошел в ту сторону, что была от меня направо, и возвратился на дорогу, которая привела меня перед тем в чащу леса.

3 *июня*. Я провел ужасную ночь. Хочу уехать на несколько недель. Небольшое путешествие, наверно, успокоит меня.

2 *июля*. Возвратился. Я исцелен. Кроме того, я совершил очаровательное путешествие. Я побывал на горе Сен-Мишель, которой до сих пор не видел.

Какой открывается вид, когда приезжаешь в Авранш под вечер, как приехал я! Город расположен на холме; меня провели в городской сад, находящийся на окраине. Я вскрикнул от изумления. Огромный залив неоглядно простирался передо мною, меж двух расходящихся берегов, которые тонули вдали в тумане; посреди этого беспредельного желтого залива под светло-золотистым небом возвышалась среди песков странная сумрачная островерхая гора. Солнце закатилось, и на горизонте, еще пылавшем, обрисовывался профиль этой фантастической скалы с фантастическим зданием на ее вершине.

На рассвете я отправился к нему. Как и накануне вечером, был отлив, и я смотрел на чудесное аббатство, все ближе выраставшее передо мной. После нескольких часов ходьбы я достиг огромной гряды валунов, на которой расположился городок с большой церковью, царящей над ним. Взобравшись по узенькой крутой уличке, я вошел в самое изумительное готическое здание, когда-либо построенное на земле для бога, обширное, как город, полное низких зал, придавленных сводами, и высоких галерей на хрупких колоннах. Я вошел внутрь этой гигантской драгоценности из гранита, воздушной, как кружево, покрытой башенками, куда

ведут извилистые лестницы, и стройными колоколенками, которые вздымают в голубое небо дня и в темное небо ночи свои диковинные головы, вздыбившиеся химерами, дьяволами, невероятными животными, чудовищными цветами, и соединяются друг с другом тонкими, искусно украшенными арками.

Взобравшись наверх, я сказал монаху, сопровождавшему меня:

— Отец, как вам, должно быть, здесь хорошо!

— Здесь очень ветрено, сударь,— ответил он, и мы принялись беседовать, глядя, как подступает океан, как он бежит по песку и покрывает его стальной броней.

Монах стал мне рассказывать разные предания, все древние предания этих мест — легенды, много легенд.

Одна из них чрезвычайно поразила меня. Местные старожилы, живущие на горе, утверждают, будто ночью в песках слышны голоса, затем слышно, как блеют две козы, одна погромче, другая потише. Маловеры скажут вам, что это крики морских птиц, похожие иногда на блеяние, иногда на человеческие стоны; но рыбаки, которым случалось запоздать с возвращением, клянутся, что им встречался во время отлива старый пастух, бродивший по дюнам вокруг маленького, удаленного от мира городка: голова его постоянно закутана плащом, и он ведет за собою козла с лицом мужчины и козу с лицом женщины; у них обоих длинные седые волосы, и оба без умолку говорят и бранятся на неведомом языке, а потом вдруг перестают кричать, чтобы изо всех сил заблеять.

Я спросил монаха:

— Вы верите этому?

Он промолвил:

— Не знаю.

Я продолжал:

— Если бы на земле, кроме нас, жили другие существа, то разве мы не узнали бы о них уже давно? Разве вы не увидели бы их? Разве их не увидел бы я?

Он ответил:

— А разве мы видим хотя бы стотысячную часть того, что существует? Возьмите, например, ветер, кото-

рый является величайшей силой природы, который валит с ног людей, разрушает здания, вырывает с корнем деревья, вздымает на море горы воды, опрокидывает береговые утесы и разбивает о подводные скалы большие корабли, ветер, смертоносный, свистящий, стонущий, ревущий,— разве вы его видели, разве можете видеть? Однако он существует.

Я замолчал, услышав это простое рассуждение. Этот человек был мудр, а быть может, и глуп. Я не мог этого решить наверно, но все же замолчал. О том, что он говорил, я и сам часто думал.

3 *июля*. Я плохо спал; здесь безусловно какое-то лихорадочное поветрие, потому что мой кучер страдает тем же недугом, что и я. Возвратившись вчера домой, я заметил, что он как-то особенно бледен. Я спросил его:

— Что с вами, Жан?

— Да вот не могу спать, сударь, ночи убивают меня. После вашего отъезда на меня словно порчу навели.

Остальные слуги, однако, чувствуют себя хорошо, но я ужасно боюсь, что со мной начнется прежнее.

4 *июля*. Ясно, со мной началось то же самое. Вернулись прежние кошмары. Сегодня ночью я почувствовал, что кто-то сидит у меня на груди и, припав губами к моим губам, пьет мою жизнь. Да, он высасывал ее из меня, как пиявка. Потом он встал, насытившись, а я проснулся настолько обескровленным, разбитым и подавленным, что не мог прийти в себя. Если это продлится еще несколько дней, я, конечно, уеду снова.

5 *июля*. Не схожу ли я с ума? То, что случилось, то, что я видел нынешней ночью, настолько необыкновенно, что голова у меня идет кругом, едва об этом подумаю.

Вечером, по обыкновению, я запер дверь на ключ, потом, почувствовав жажду, выпил полстакана воды и случайно заметил, что графин был полон до самой хрустальной пробки.

Затем я улегся спать и погрузился в обычный свой мучительный сон, из которого меня вывело часа через два еще более ужасное потрясение.

Представьте себе, что человека убивают во сне, и он просыпается с ножом в груди, хрипит, обливается кровью, задыхается и умирает, ничего не понимая,— вот что я испытал.

Когда я пришел в себя, мне опять захотелось пить; я зажег свечу и подошел к столу, на котором стоял графин. Я взял его, наклонил над стаканом, но вода не потекла. Графин был пуст! Он был совершенно пуст! Сначала я ничего не понял, потом меня сразу охватило такое ужасное волнение, что я вынужден был сесть, вернее, упал на стул! Затем вскочил и огляделся вокруг; затем снова сел, обезумев от недоумения и страха при виде прозрачного стекла! Я в упор смотрел на него, стремясь разгадать загадку. Руки у меня дрожали. Значит, вода выпита? Кем же? Мной? Наверно, мной! Кто же это мог быть, кроме меня? Значит, я лунатик, я живу, сам того не зная, двойной таинственной жизнью, заставляющей заподозрить, что в нас два существа? Или же это какое-то другое непонятное существо, неведомое и незримое, которое, когда наша душа скована сном, оживляет полоненное им тело, повинующееся ему, как нам самим, больше, чем нам самим?

О, кто поймет мою ужасную тоску! Кто поймет волнение человека, находящегося в здравом уме, бодрствующего, полностью владеющего своим рассудком, когда он со страхом ищет сквозь стекло графина воду, исчезнувшую, пока он спал!

И я просидел так до наступления дня, не смея снова лечь в постель.

6 *июля*. Я схожу с ума. Сегодня ночью опять выпили весь графин; вернее, его выпил я сам!

Но я ли это? Я ли? Кто же тогда? Кто? О господи! Я схожу с ума! Кто спасет меня?

10 *июля*. Я проделал поразительные опыты.

Решительно — я сумасшедший! Но тем не менее...

6 июля, перед сном, я поставил на стол вино, молоко, воду, хлеб и землянику.

Выпили — или я выпил — всю воду и немного молока. Не тронули ни вина, ни хлеба, ни земляники.

7 июля я повторил опыт, и он дал те же результаты.

8 июля я не поставил воды и молока. Не тронули ничего.

Наконец 9 июля я поставил только воду и молоко, предварительно обмотав графины белой кисеей и привязав пробки. Потом я натер себе губы, усы и руки графитом и лег спать.

Меня охватил непреодолимый сон, за которым вскоре последовало ужасное пробуждение. Во сне я не пошевельнулся: даже на подушке не оказалось ни пятнышка. Я бросился к столу. Белая кисея, в которую были завернуты графины, оставалась нетронутой. Я размотал тесемки, трепеща от страха. Вся вода была выпита! Все молоко выпито! О боже!..

Сейчас же уезжаю в Париж.

12 *июля*. Париж. В последние дни я, как видно, совсем потерял голову! Я стал игрушкой расстроенного воображения, если только я действительно не лунатик или не подвергся одному из тех доказанных, но до сих пор не объясненных влияний, которые называются внушением. Во всяком случае, расстройство моих чувств граничило с сумасшествием, но мне достаточно было прожить сутки в Париже, чтобы вновь обрести равновесие.

Вчера после разъездов и визитов, вливших мне в душу свежий живительный воздух, я закончил вечер во Французском театре. Играли пьесу Александра Дюма-сына; силой своего живого и богатого дарования он довершил мое исцеление. Безусловно, одиночество опасно для деятельных умов. Мы должны жить среди людей, которые мыслят и говорят. Долго оставаясь в одиночестве, мы населяем пустоту призраками.

В отличном настроении я возвращался бульварами в гостиницу. Пробираясь в толпе, я не без иронии вспоминал страхи и предположения прошлой недели, когда я был уверен,— да, уверен! — что какое-то невидимое существо живет под моей крышей. Как быстро слабеет, путается и мутится наш разум, стоит лишь какому-нибудь непонятному пустяку поразить нас!

Вместо того, чтобы сделать простой вывод: «Я не понимаю потому, что причина явления ускользает от меня»,— мы тотчас же выдумываем страшные тайны и сверхъестественные силы.

14 *июля*. Праздник Республики. Я гулял по улицам. Ракеты и знамена забавляли меня, как ребенка. До

чего же, однако, глупо радоваться в определенное число по приказу правительства! Народ — бессмысленное стадо, то дурацки терпеливое, то жестоко бунтующее. Ему говорят: «Веселись». Он веселится. Ему говорят: «Иди, сражайся с соседом». Он идет сражаться. Ему говорят: «Голосуй за императора». Он голосует за императора Потом ему говорят: «Голосуй за республику». И он голосует за республику.

Те, кто им управляет, тоже дураки; только, вместо того чтобы повиноваться людям, они повинуются принципам, которые не могут не быть вздорными, бесплодными и ложным именно потому, что это принципы, то есть идеи, признанные достоверными и незыблемыми,— это в нашем-то мире, где нельзя быть уверенным ни в чем, потому что свет всего лишь иллюзия, потому что звук — такая же иллюзия!

16 *июля.* Вчера я видел вещи, которые меня глубоко взволновали.

Я обедал у моей кузины госпожи Сабле; ее муж командует 76-м стрелковым полком в Лиможе. Я встретился у нее с двумя молодыми женщинами; одна из них замужем за врачом, доктором Параном, который усиленно занимается нервными болезнями и необыкновенными явлениями, обнаруженными в настоящее время благодаря опытам с гипнотизмом и внушением.

Он долго рассказывал нам об удивительных результатах, достигнутых английскими учеными и врачами нансийской школы.

Факты, которые он приводил, показались мне настолько диковинными, что я наотрез отказывался верить им.

— Мы накануне открытия одной из самых значительных тайн природы,— утверждал он,— я хочу сказать, одной из самых значительных тайн на земле, потому что есть, конечно, тайны гораздо более значительные,— там, в звездных мирах. С тех пор, как человек мыслит, с тех пор, как он умеет высказать и записать свою мысль, он чувствует рядом с собою какую-то тайну, недоступную для его грубых и несовершенных чувств, и пытается возместить их бессилие напряжением ума. Когда его ум пребывал еще в рудиментар-

ном состоянии, это вечное ощущение невидимых явлений воплотилось в банально-жуткие образы. Так родились народные верования в сверхъестественное, легенды о блуждающих духах, феях, гномах, призраках, я сказал бы даже, миф о боге, ибо наши представления о творце-зиждителе, из какой бы религии они ни исходили,— это до последней степени убогие, нелепые, неприемлемые вымыслы, порожденные запуганным человеческим умом. Нет ничего вернее изречения Вольтера: «Бог создал человека по образу своему, но человек воздал ему за это сторицей».

Но вот уже немного более столетия, как стали предчувствовать что-то новое. Месмер и некоторые другие направили нас на неожиданный путь, и мы действительно достигли, особенно за последние четыре — пять лет, поразительных результатов.

Моя кузина тоже улыбалась очень недоверчиво. Доктор Паран обратился к ней:

— Хотите, сударыня, я попытаюсь вас усыпить?

— Хорошо. Согласна.

Она села в кресло, и он стал пристально смотреть на нее гипнотизирующим взглядом. Я сразу почувствовал какое-то беспокойство, у меня забилось сердце, сжало горло. Я видел, как веки г-жи Сабле тяжелели, рот искривился, дыхание стало прерывистым.

Через десять минут она уже спала.

— Сядьте позади нее,— сказал мне доктор.

Я сел. Он вложил ей в руки визитную карточку, говоря:

— Это — зеркало. Что вы видите в нем?

Она ответила:

— Я вижу моего кузена.

— Что он делает?

— Крутит ус.

— А сейчас?

— Вынимает из кармана фотографию.

— Чья это фотография?

— Его собственная.

Так оно и было на самом деле! Эту фотографию мне только что принесли в гостиницу.

— Как он снят на этой фотографии?

— Он стоит со шляпой в руке.

Значит, визитная карточка, белый кусочек картона, давала ей возможность видеть, как в зеркале. Молодые женщины испуганно повторяли:

— Довольно! Довольно! Довольно!

Но доктор приказал ей:

— Завтра вы встанете в восемь часов, поедете в гостиницу к вашему кузену и будете умолять его дать вам взаймы пять тысяч франков, которые просит у вас муж и которые потребуются ему в ближайший его приезд.

Затем он разбудил ее.

Возвратясь в гостиницу, я размышлял об этом любопытном сеансе, и меня охватили подозрения; я, конечно, не усомнился в безусловной, бесспорной правдивости кузины, которую знал с детства как сестру, но я счел возможным плутовство со стороны доктора. Не прятал ли он в руке зеркальце, держа его перед усыпленной молодой женщиной вместе со своей визитной карточкой? Профессиональные фокусники проделывают ведь еще и не такие удивительные вещи.

Итак, я вернулся в гостиницу и лег спать.

А сегодня утром в половине девятого меня разбудил лакей и доложил:

— Госпожа Сабле желает немедленно поговорить с вами, сударь.

Я наспех оделся и принял ее.

Она села в большом волнении, опустив глаза, не поднимая вуали, и сказала:

— Дорогой кузен, я хочу вас попросить о большом одолжении.

— О каком же, кузина?

— Мне очень неловко говорить об этом, но иначе нельзя. Мне необходимы, совершенно необходимы пять тысяч франков.

— Полноте! Вам?..

— Да, мне или, вернее, моему мужу,— он поручил мне достать эту сумму.

От изумления я в ответ пробормотал что-то невнятное. Я задавал себе вопрос: уж не насмехается ли она надо мной вместе с доктором Параном, уж не простая ли все это шутка, заранее подготовленная и умело разыгранная?

Но все мои подозрения рассеялись, когда я внимательно посмотрел на кузину. Она дрожала от волнения,— настолько тягостна была для нее эта просьба,— и я понял, что она готова разрыдаться.

Я знал, что она очень богата, и заговорил снова:

— Как? У вашего мужа нет в наличности пяти тысяч франков? Подумайте-ка хорошенько. Уверены ли вы, что он поручил вам попросить их у меня?

Несколько мгновений она колебалась, как будто силясь что-то припомнить, затем ответила:

— Да... да... уверена.

— Он написал вам об этом?

Она снова заколебалась, раздумывая. Я догадывался, как мучительно работает ее мысль. Она не знала. Она знала только одно: ей нужно добыть пять тысяч франков для мужа. И она отважилась солгать:

— Да, он мне написал.

— Когда же? Вчера вы ничего мне об этом не говорили.

— Я получила от него письмо сегодня утром.

— Вы можете мне его показать?

— Нет... нет... нет... оно очень интимное... очень личное... я... я его сожгла.

— Значит, ваш муж наделал долгов?

Она еще раз заколебалась, потом прошептала:

— Не знаю.

Тогда я сразу отрезал:

— В настоящий момент у меня нет пяти тысяч франков, милая кузина.

У нее вырвался страдальческий вопль:

— О! Прошу вас, прошу, достаньте мне их!..

Она страшно встревожилась и умоляюще сложила руки. Я слышал, как изменился ее голос; одержимая и порабощенная непреодолимым приказанием, она плакала и лепетала:

— Умоляю вас... если бы вы знали, как я страдаю... Деньги нужны мне сегодня.

Я сжалился над нею:

— Вы их получите, даю вам слово.

Она воскликнула:

— Благодарю вас, благодарю! Как вы добры!

Я продолжал:

— А вы помните, что произошло вчера у вас?

— Помню.

— Вы помните, что доктор Паран усыпил вас?

— Помню.

— Так вот, это он велел вам прийти ко мне нынче утром, чтобы взять у меня взаймы пять тысяч франков, и сейчас вы повинуетесь этому внушению.

Немного подумав, она ответила:

— Но ведь их просит мой муж!

Целый час я пытался ее убедить, но не мог ничего добиться.

Как только она ушла, я помчался к доктору. Я столкнулся с ним в дверях его дома, и он выслушал меня, улыбаясь. Затем спросил:

— Теперь верите?

— Да, приходится верить.

— Едемте к вашей родственнице.

Истомленная усталостью, она дремала в шезлонге. Доктор пощупал у нее пульс и некоторое время смотрел на нее, подняв руку к ее глазам; она медленно опустила веки, подчиняясь невыносимому гнету этой магнетической власти.

Усыпив ее, он сказал:

— Ваш муж не нуждается больше в пяти тысячах франков! Вы забудете о том, что просили кузена дать их вам взаймы, и если он заговорит с вами об этом, ничего не будете понимать.

После этого он разбудил ее. Я вынул из кармана бумажник:

— Вот, дорогая кузина, то, что вы просили у меня утром.

Она была настолько удивлена, что я не посмел настаивать. Я попытался все же напомнить ей, но она энергично отрицала, думая, что я смеюсь над нею, и в конце концов чуть не рассердилась.

. . . . . .

Вот история! Я только что вернулся домой и не в состоянии был позавтракать — настолько этот опыт взбудоражил меня.

19 *июля.* Многие из тех, кому я рассказывал об этом приключении, посмеялись надо мной. Не знаю, что и думать. Мудрец говорит: «Быть может».

24 *июля*. Я пообедал в Буживале, а вечер провел на балу гребцов. Несомненно, все зависит от местности и окружающей среды. Поверить в сверхъестественное на острове Лягушатни было бы верхом безумия... но на вершине горы Сен-Мишель? Но в Индии? Мы ужасно подвержены влиянию того, что нас окружает. На следующей неделе я возвращаюсь домой.

30 *июля*. Вчера я вернулся домой. Все благополучно.

2 *августа*. Ничего нового. Великолепная погода. Провожу дни, созерцая бегущую Сену.

4 *августа*. Среди моих слуг ссоры. Они утверждают, будто ночью в шкафах кто-то бьет стаканы. Лакей обвиняет кухарку, кухарка обвиняет экономку, экономка — их обоих. Кто виноват? Догадлив будет тот, кто скажет!

6 *августа*. На этот раз я уже не безумец. Я видел... видел... видел!.. Теперь уже нечего сомневаться... Я видел!.. Озноб еще пробирает меня до кончиков пальцев... страх еще пронизывает меня до мозга костей... Я видел!

В два часа дня я гулял на солнцепеке у себя в саду, среди розовых кустов... в аллее расцветающих осенних роз.

Остановившись полюбоваться на «Великана битв», распустившегося тремя восхитительными цветками, я увидел, ясно увидел, что совсем возле меня стебель одной из этих роз согнулся, как бы притянутый невидимой рукою, а потом сломался, словно та же рука сорвала его! Потом цветок поднялся по дуге, которую могла бы описать рука, подносящая его к чьим-то губам, и один, без опоры, неподвижный, повис пугающим красным пятном в прозрачном воздухе в трех шагах от меня.

В безумном ужасе я бросился схватить его! Но не схватил ничего: он исчез. Тогда я бешено рассердился на самого себя: нельзя же, чтобы у серьезного, рассудительного человека бывали подобные галлюцинации!

Но была ли это галлюцинация? Я повернулся, чтобы отыскать стебель, и тотчас же нашел его на кусте, между двух роз, оставшихся на ветке; излом его был еще свеж.

Тогда я возвратился домой, потрясенный до глубины души; ведь теперь я уверен, так же уверен, как в чередовании дня и ночи, что возле меня живет невидимое существо, которое питается молоком и водой, которое может трогать предметы, брать их и переставлять с места на место, что, следовательно, это существо наделено материальной природой, хотя и недоступной нашим ощущениям, и оно так же, как я, живет под моим кровом...

7 *августа.* Я спал спокойно. Он выпил воду из графина, но ничем не потревожил моего сна.

Задаю себе вопрос: не сумасшедший ли я? Только что, гуляя вдоль реки на самом солнцепеке, я начал сомневаться, в здравом ли я рассудке, и мои сомнения уже не были неопределенными, как до сих пор, а, наоборот, стали ясными, безусловными. Мне случалось видеть сумасшедших: я знавал среди них людей, которые во всем, кроме одного какого-нибудь пункта, сохраняли былое здравомыслие, логичность, даже проницательность. Обо всем они судили толково, всесторонне, глубоко, но внезапно их мысль, задев подводный камень присущего им помешательства, раздиралась в клочья, дробилась и тонула в том яростном, страшном океане, полном взлетающих волн, туманов и шквалов, который зовется *безумием.*

Конечно, я счел бы себя безумным, совершенно безумным, если бы не сознавал, не понимал бы вполне своего состояния, если бы не разбирался в нем, анализируя его с полной ясностью. Итак, меня можно назвать рассуждающим галлюцинантом. В моем мозгу, по-видимому, произошло какое-то неведомое расстройство, одно из тех расстройств, которые для современных физиологов являются предметом наблюдения и изучения, и этим расстройством вызван глубокий разлад в моем уме, в порядке и последовательности моих мыслей. Подобные явления имеют место во сне, который ведет нас сквозь самые невероятные фантасмагории, и они не удивляют нас, потому что способность проверки и чувство контроля усыплены, между тем как способность воображения бодрствует и работает. А не могло ли случиться так, что один из незаметных клавишей моей мозговой клавиатуры оказался парали-

зованным? Вследствие различных несчастных случаев люди теряют память то на собственные имена, то на глаголы, то на цифры, то на одни хронологические даты. Локализация всех мельчайших функций нашего мышления теперь доказана. Что же удивительного, если способность отдавать себе отчет в нереальности некоторых галлюцинаций в настоящее время у меня усыплена?

Я думал обо всем этом, идя по берегу реки. Солнце заливало светом водную гладь, ласкало землю, наполняло мои взоры любовью к жизни, к ласточкам, чей стремительный полет — радость для глаз, к прибрежным травам, чей шелест — отрада для слуха.

Но мало-помалу необъяснимое беспокойство овладевало мною. Какая-то сила, мне казалось,— тайная сила, сковывала меня, останавливала, мешала идти дальше, влекла обратно. Меня мучительно тянуло вернуться, как бывает, когда оставишь дома больного любимого человека и тебя охватывает предчувствие, что его болезнь ухудшилась.

И вот я вернулся против собственной воли, в уверенности, что дома меня ждет какая-нибудь неприятная новость: письмо или телеграмма. Ничего этого, однако, не оказалось, и я был озадачен и обеспокоен даже более, чем если бы снова предо мной явилось какое-нибудь фантастическое видение.

8 *августа.* Вчера я провел ужасную ночь. Он больше ничем себя не проявляет, но я чувствую его возле себя, чувствую, как он шпионит за мною, неотвязно смотрит на меня, читает в моих мыслях, подчиняет меня своей власти; прячась таким образом, он более страшен, чем если бы давал знать о своем невидимом и постоянном присутствии сверхъестественными явлениями.

Тем не менее я спал.

9 *августа.* Ничего, но мне страшно.

10 *августа.* Ничего; что-то будет завтра?

11 *августа.* По-прежнему ничего; я не могу больше оставаться дома, ибо этот страх и эта мысль вторглись мне в душу; я уеду.

12 *августа.* 10 часов вечера. Весь день я хотел уехать и не мог. Хотел выполнить этот акт свободной воли, столь легкий, столь естественный — выйти, сесть в коляску, отправиться в Руан,— и не мог. Почему?

13 *августа.* Есть болезни, при которых все пружины нашего физического существа как будто сломаны, вся энергия уничтожена, все мускулы расслаблены, кости становятся мягкими, как плоть, а плоть жидкой, как вода. Все это я странным и печальным образом ощущаю в моем нравственном существе. У меня нет больше никакой силы, никакого мужества, никакой власти над собой, нет даже возможности проявить свою волю. Я не могу больше хотеть. Но кто-то хочет вместо меня, и я повинуюсь.

14 *августа.* Я погиб. Кто-то овладел моей душой и управляет ею! Кто-то повелевает всеми моими поступками, всеми движениями, всеми моими мыслями. Сам по себе я уже ничто, я только зритель, порабощенный и запуганный всем, что меня заставляют делать. Я хочу выйти. Не могу! Он не хочет, и я, растерянный, трепещущий, остаюсь в кресле, где он держит меня. Я хочу хотя бы только подняться, встать, чтобы почувствовать, что я еще господин над самим собою. И не могу! Я прикован к креслу, а оно так приросло к полу, что никакая сила не поднимет нас.

Потом вдруг оказывается, что мне нужно — нужно, нужно! — идти в сад собирать клубнику и есть ее. И я иду. Собираю ягоды и ем их! О боже мой! Боже мой! Боже мой! Есть ли бог? Если есть, пусть он освободит меня, оградит, спасет. Пощады! Жалости! Милосердия! Спасите меня! О, какая мука! Какая пытка! Какой ужас!

15 *августа.* Несомненно, именно так была одержима и порабощена моя бедная кузина, когда пришла ко мне занимать пять тысяч франков. Она подчинялась посторонней воле, вселившейся в нее, словно другая душа, другая, паразитирующая и господствующая душа. Не приближается ли конец света?

Но каков же он, тот, кто управляет мною, этот Невидимка, этот незнакомец, этот бродяга сверхъестественной породы?

Значит, Невидимки существуют! Тогда почему же, от сотворения мира и до сих пор, они никому не показывались так явственно, как мне? Я никогда не читал о чем-либо похожем на то, что происходит в моем доме. О, если бы я мог покинуть его, если бы мог уехать,

бежать и не возвращаться! Я был бы спасен, но я не могу.

16 *августа*. Сегодня мне удалось ускользнуть на два часа, как пленнику, который нашел дверь своей темницы случайно отпертой. Я почувствовал, что стал вдруг свободен, что он далеко. Я приказал поскорей запрягать лошадей и поехал в Руан. О, какая радость, когда можешь сказать: «В Руан!» — человеку, который тебе повинуется.

Я велел остановиться у библиотеки и попросил дать мне объемистый труд доктора Германа Геренштаусса о неизвестных обитателях древнего и современного мира.

Потом, садясь в карету, я хотел сказать: «На вокзал!», — но крикнул (не сказал, а крикнул) так громко, что прохожие обернулись: «Домой!» — и вне себя от тоски упал на подушки экипажа. Он снова меня нашел и снова овладел мною.

17 *августа*. О, какая ночь! Какая ночь! А между тем мне следовало бы радоваться. До часу ночи я читал. Герман Геренштаусс, доктор философии и истории религии, написал историю и указал форму проявления всех невидимых существ, носящихся вокруг человека или измышленных им. Он описывает их происхождение, сферу их действия, их силу. Но ни одно из них не походит на то, которое неотвязно преследует меня. Можно сказать, что человек с тех самых пор, как он мыслит, всегда предчувствовал и боялся какого-то нового существа, более сильного, чем он, своего преемника в этом мире, и, чувствуя близость этого властелина, но не умея разгадать его природу, в смятении своем создал целое фантастическое племя сверхъестественных существ, неясных призраков, порожденных страхом.

Так вот, почитав до часу ночи, я уселся возле отворенного окна, чтобы освежить голову и мысли тихим ночным ветром.

Стояла хорошая погода, было тепло. Как я любил такие ночи раньше!

Луны не было. В глубине черного неба трепетно мерцали звезды. Кто населяет эти миры? Какие там формы, какие существа, какие животные, какие растения? Мыслящие существа этих далеких вселенных

больше ли знают, чем мы? Могущественнее ли они, чем мы? Способны ли они видеть что-либо из того, что остается непознанным нами? И не явится ли когда-нибудь одно из них, преодолев пространство, на нашу Землю, чтобы покорить ее, как норманны пересекали море, чтобы поработить более слабые народы?

Мы ведь так немощны, так безоружны, так невежественны, так ничтожны на этом вращающемся комочке грязи, разжиженном каплей воды!

Думая над этим, я задремал под дуновением свежего ночного ветра.

Проспав минут сорок, я открыл глаза, но не двигался, разбуженный каким-то странным, непонятным ощущением. Сначала я не заметил ничего, но потом вдруг мне почудилось, что страница книги, лежавшей на столе, перевернулась сама собою. Из окна не проникало ни малейшего дуновения. Я удивился и ждал. Минуты через четыре я увидел, да, увидел воочию, как следующая страница приподнялась и легла на предыдущую, словно ее перевернула чья-то рука. Мое кресло было пустым, казалось пустым, но я понял, что он там, что он, сидя на моем месте, читает. Бешеным прыжком, прыжком разъяренного зверя, готового распороть брюхо своему укротителю, я пересек комнату, чтобы схватить его, задушить, убить! Но кресло, прежде чем я подскочил к нему, опрокинулось, будто кто-то бросился бежать от меня... стол качнулся, лампа упала и погасла, а окно шумно закрылось, словно его с размаху захлопнул грабитель, который ринулся в ночь, спасаясь от погони.

Значит, он бежал, он боялся, боялся меня!

Если так... если так... тогда завтра... или послезавтра... или когда-нибудь в другой раз... мне все же удастся сгрести его и раздавить! Разве собаки не кусают, не душат иногда своих хозяев?

18 *августа*. Я думал целый день. О, да, я буду ему повиноваться, следовать его внушениям, выполнять его приказания, стану кротким, покорным, трусливым! Он сильнее. Но мой час придет...

19 *августа*. Я знаю... знаю... знаю все! Я только что прочитал в *Обозрении научного мира* следующее: «Из Рио-де-Жанейро нами получено довольно любопытное

известие. Некое безумие, эпидемическое безумие, подобное заразному помешательству, охватывавшему народы Европы в средние века, свирепствует в настоящее время в провинции Сан-Паоло. Растерянные жители покидают дома, бегут из деревень, бросают свои поля, утверждая, будто их преследуют, будто ими овладевают и распоряжаются, как людским стадом, какие-то невидимые, хотя и осязаемые существа, вроде вампиров, которые пьют их жизнь во время сна и, кроме того, питаются водою и молоком, не трогая, по-видимому, никакой другой пищи.

«Профессор дон Педро Эприкес с несколькими врачами выехал в провинцию Сан-Паоло, чтобы на месте изучить источники и проявления этого внезапного безумия и доложить императору о мероприятиях, которые представляются наиболее целесообразными, чтобы возвратить умственное равновесие обезумевшему населению».

Так, так! Теперь я припоминаю, припоминаю прекрасный бразильский трехмачтовик, проплывший под моими окнами вверх по Сене 8 мая этого года! Он был таким красивым, таким белоснежным, таким веселым! На нем и приплыло Существо, приплыло оттуда, где зародилось его племя! И оно увидело меня! Оно увидело мой дом, такой же белый, и спрыгнуло с корабля на берег. О боже!

Теперь я знаю, я догадываюсь! Царство человека кончилось.

Пришел он, Тот, перед кем некогда испытывали ужас первобытные пугливые племена, Тот, кого изгоняли встревоженные жрецы, кого темными ночами вызывали колдуны, но пока что не видели, Тот, кого предчувствия преходящих владык земли наделяли чудовищными или грациозными обликами гномов, духов, гениев, фей, домовых. Миновали времена грубых представлений, внушенных первобытным страхом, и люди, более проницательные, стали предчувствовать его яснее. Месмер угадал его, а вот уже десять лет, как и врачи с полной точностью установили природу его силы, прежде чем он сам проявил ее. Они стали играть этим оружием нового божества — властью таинственной воли над порабощенной человеческой душой. Они

назвали это магнетизмом, гипнотизмом, внушением... и как-то там еще. Я видел, как они, словно неразумные дети, забавлялись этой страшной силой! Горе нам! Горе человеку! Он пришел, он... как назвать его... он... кажется, он выкрикивает мне свое имя, а я его не слышу... он... да... он выкрикивает имя... Я слушаю... я не могу... повтори!.. Орля... Я расслышал... Орля... это он... Орля... он пришел!

Ах! Ястреб заклевал голубку; волк растерзал барана; лев пожрал остророгого буйвола; человек убил льва стрелою, мечом, порохом; но Орля сделает с человеком то, что мы сделали с лошадью и быком: он превратит его в свою вещь, в своего слугу, в свою пищу — единственно силой своей воли. Горе нам!

Однако животное иногда выходит из повиновения и убивает того, кто его укротил... я тоже хочу... я бы мог... но нужно знать его, касаться его, видеть! Ученые утверждают, что глаз животного, не похожий на наш, не видит того, что видим мы... Так и мой глаз не может увидеть пришельца, который меня угнетает.

Почему? О, теперь я припоминаю слова монаха с горы Сен-Мишель: «Разве мы видим хотя бы стотысячную часть того, что существует? Возьмите, например, ветер, который является величайшею силой природы; который валит с ног людей, разрушает здания, вырывает с корнем деревья, вздымает на море горы воды, опрокидывает береговые утесы и разбивает о подводные скалы большие корабли, ветер смертоносный, свистящий, стонущий, ревущий,— разве вы его видели, разве можете видеть? Однако он существует!»

И я подумал еще: мое зрение столь слабо, столь несовершенно, что не различает даже твердых тел, когда они прозрачны, как стекло. Если стекло без амальгамы преградит мне дорогу, я натолкнусь на него, как птица, которая, залетев в комнату, разбивает себе голову об оконные стекла. Кроме этого, множество других явлений вводит в заблуждение, обманывает мой взор. Что же тогда удивительного, если глаза мои не в состоянии увидеть новое тело, сквозь которое проходит свет?

Новое существо! А почему бы и нет? Оно, конечно, должно появиться! Почему бы нам, людям, быть вен-

цом творения? Мы не постигаем это существо, как и все, созданное до нас. Это потому, что его природа более совершенна, тело более тонко и более закончено, чем наше. А ведь наше тело, столь слабое, столь неразумно задуманное, обремененное органами, вечно усталыми и вечно напряженными, как слишком сложные пружины, наше тело, которое живет, как растение и как животное, с трудом питаясь воздухом, травой и мясом,— что такое наше тело, как не животный организм, подверженный болезням, уродствам, гниению, одышке, плохо отрегулированный, примитивный и прихотливый, на редкость неудачно сделанный, грубое и вместе с тем хрупкое творение, черновой набросок существа, которое могло бы стать разумным и прекрасным?

В этом мире так мало разнообразия в живых существах от устрицы до человека! Почему же тогда не быть еще одному существу, если закончен период последовательного появления определенных видов?

Почему не быть еще одному? Почему бы так же не быть другим деревьям — с огромными ослепительными цветами, наполняющими благоуханием целые страны? Почему не быть другим стихиям, кроме огня, воздуха, земли и воды? Их четыре, только четыре, этих созидателей и кормильцев всего живого! Какая жалость! Почему их не сорок, не четыреста, не четыре тысячи? Как все убого, бедно, ничтожно! Как все скупо отпущено, скудно задумано, грубо сделано! Слон, гиппопотам — что за грация! Верблюд — что за изящество!

Но, скажете вы, а бабочка, этот летающий цветок? Да, но я мечтаю о другой бабочке, огромной, как сотня вселенных, а форму, красоту, цвет и движение ее крыльев я даже не в силах выразить. Но я вижу ее... со звезды на звезду несется она, освежая их и навевая аромат гармоничным и легким дуновением своего полета!.. И народы, обитающие там, вверху, восхищенные и очарованные, смотрят, как она пролетает!..

Что со мной? Это он, он, Орля, преследует меня, внушает мне эти безумные мысли! Он во мне, он стал моей душой; я убью его!

19 *августа*. Я убью его! Я его видел! Вчера вечером я сел за стол и притворился, будто сосредоточенно пишу. Я знал, что он явится и начнет бродить вокруг меня, близко, так близко, что, быть может, мне удастся прикоснуться к нему и схватить его. А тогда... тогда во мне пробудится вся сила отчаяния: я пущу в ход руки, колени, грудь, лоб, зубы, чтобы задушить его, раздавить, загрызть, растерзать!

И я подстерегал его всеми своими возбужденными нервами.

Я зажег обе лампы и восемь свечей на камине, словно мог обнаружить его при таком освещении.

Прямо напротив меня — моя кровать, старинная дубовая кровать с колонками; направо — камин, налево — старательно запертая дверь, которую я перед этим надолго оставил открытой, чтобы приманить его; сзади — очень высокий зеркальный шкаф, перед которым я каждый день бреюсь, одеваюсь и, по привычке, проходя мимо, постоянно осматриваю себя с головы до ног.

Итак, чтобы обмануть его, я притворился, будто пишу, потому что он тоже следил за мною; и вдруг я почувствовал, ясно ощутил, что он читает из-за моего плеча, что он тут, что он касается моего уха.

Я вскочил и, протянув руки, обернулся так быстро, что чуть не упал... И что же?.. Было светло, как днем, а я не увидел себя в зеркале!.. Залитое светом, оно оставалось пустым, ясным, глубоким. Моего отражения в нем не было... а я стоял перед ним! Я видел огромное стекло, ясное сверху донизу. Я смотрел безумными глазами и не смел шагнуть вперед, не смел пошевельнуться, хотя и чувствовал, что он тут; я понимал, что он опять ускользнет от меня,— он, чье неощутимое тело поглотило мое отражение.

Как я испугался! Потом вдруг я начал различать себя в глубине зеркала, но лишь в каком-то тумане, как бы сквозь водяную завесу; мне казалось, что эта вода медленно струится слева направо и мое отражение с минуты на минуту проясняется. Это было похоже на конец затмения. То, что заслоняло меня, как будто не имело резко очерченных контуров, а похо-

дило скорее на туманность, которая мало-помалу таяла.

Наконец я мог с полной ясностью различить себя, как это бывало каждый день, когда я смотрелся в зеркало.

Я видел его! Доныне содрогаюсь от ужаса при этом воспоминании.

20 *августа.* Убить его, но как? Ведь я не могу его настигнуть! Ядом? Но он увидит, как я подмешиваю яд в воду; а, кроме того, подействуют ли наши яды на его неощутимое тело? Нет... конечно, нет... но тогда... как же тогда?..

21 *августа.* Я вызвал из Руана слесаря и заказал ему для спальни железные ставни, какие из боязни грабителей делают в первых этажах особняков в Париже. Кроме того, он сделает мне такую же дверь. Пусть меня считают трусом,— мне все равно!..

10 *сентября.* Руан, гостиница «Континенталь». Дело сделано... сделано... но умер ли он? Я видел нечто такое, что потрясло меня до глубины души.

Итак, вчера, чуть только слесарь навесил железные ставни и дверь, я все оставил открытым до полуночи, хотя уже становилось холодно.

Вдруг я почувствовал, что он здесь,— и радость, сумасшедшая радость охватила меня. Я медленно поднялся, стал ходить из угла в угол по комнате и ходил долго, чтобы он ни о чем не догадался; потом снял ботинки и лениво надел туфли; потом закрыл железные ставни и, спокойно подойдя к двери, запер ее на два поворота ключа. Вернувшись вслед за этим к окну, я запер и его на замок, а ключ спрятал в карман.

Я понял сразу, что он заметался возле меня, что теперь и он испуган, что он приказывает мне отпереть. Я чуть было не уступил, но все же устоял и, прижавшись спиной к двери, приоткрыл ее ровно настолько, чтобы, пятясь, прошмыгнуть самому; я очень высокого роста, а потому задел головой за притолоку. Я был

уверен, что он не мог ускользнуть, и запер его совсем одного, совсем одного! Какая радость! Он был в моих руках! Тогда я бегом спустился вниз; в гостиной, находящейся под спальней, я схватил обе лампы, вылил из них масло на ковер, на мебель, потом поджег все это и бросился бежать, предварительно заперев на два поворота ключа парадную дверь.

И я спрятался в глубине сада, в чаще лавровых деревьев. О, как долго я ждал, как долго! Все было черно, безмолвно, неподвижно; ни ветерка, ни звезд, только громады невидимых облаков, которые тяжело, так тяжело давили мне душу.

Я смотрел на свой дом и ждал. Как долго это тянулось! Я уже думал, что огонь потух сам собой, или он его потушил, но вот одно из нижних окон треснуло под напором огня, и пламя, огромное, красно-желтое пламя, длинное, гибкое, ласкающее, взметнулось вдоль белой стены и лизнуло ее до самой крыши. Свет пробежал по деревьям, ветвям, листьям, а с ним пробежала и дрожь, дрожь ужаса! Встрепенулись птицы, завыла какая-то собака: мне показалось, что наступает рассвет! Тотчас разлетелись еще два окна, и я увидел, что весь нижний этаж моего жилища превратился в ужасный пылающий костер. И вдруг крик, страшный, пронзительный, душераздирающий крик, крик женщины прорезал ночь, и оба окна в мансарде раскрылись! Я забыл о слугах! Я видел их обезумевшие лица, их воздетые руки!..

Тогда, потеряв голову от ужаса, я бросился в деревню, крича: «На помощь! На помощь! Пожар! Пожар!» Я встретил людей, которые уже спешили ко мне, и вернулся с ними, чтобы видеть все.

Теперь весь дом был уже только ужасным и великолепным костром, чудовищным костром, освещавшим все вокруг, костром, на котором сгорали люди и сгорал также Он, Он, мой пленник, новое Существо, новый повелитель — Орля!

Вдруг вся крыша рухнула внутрь, и вулкан пламени взметнулся до самого неба. Сквозь окна я видел огненную купель и думал, что Он там, в этом жерле, мертвый.

Мертвый? Да так ли? А его тело? Ведь его свето-

проницаемое тело не уничтожить средствами, убивающими наши тела!

Что, если он не умер?.. Быть может, одно лишь время властно над Существом Невидимым и Грозным. К чему же эта прозрачная оболочка, эта непознаваемая оболочка, эта оболочка Духа, если и ей суждено бояться болезней, ран, немощи, преждевременного разрушения?

Преждевременного разрушения! Весь человеческий страх объясняется этим! После человека — Орля! После того, кто может умереть от любой случайности каждый день, каждый час, каждую минуту, пришел тот, кто может умереть только в свой день, в свой час, в свою минуту, лишь достигнув предела своего бытия!

Нет... нет... несомненно... несомненно... он не умер... Значит... значит, я должен убить самого себя!

ЛЮБОВЬ

Три странички из воспоминаний охотника

В отделе происшествий одной газеты я только что прочел о любовной драме. Он убил ее, потом покончил с собой — значит, он любил. Кто он, кто она, не все ли равно? Для меня важна только их любовь — не потому, чтобы она умилила, поразила, тронула меня или заставила призадуматься,— нет, она напомнила мне об одном странном охотничьем эпизоде времен моей юности, где мне явилась Любовь, как первым христианам являлся на небе крест.

Я родился со всеми инстинктами и чувствами первобытного человека, впоследствии обузданными воспитанием и рассудком. Охоту я люблю страстно, и при виде окровавленной птицы, крови на перьях и у меня на руках я теряю власть над собой.

В том году, к концу осени, внезапно наступили холода, и один из моих кузенов, Карл де Ровиль, пригласил меня к себе пострелять на рассвете уток в болотах.

Мой кузен, сорокалетний рыжий молодец, бородатый силач, помещик, сельский житель, радушный, жизнерадостный полудикарь, обладал тем галльским остроумием, которое даже посредственность делает приятной; дом его, полубарский, полукрестьянский, стоял в широкой долине, где протекала речка. Холмистые ее берега были покрыты лесами — вековыми, феодальными лесами, в которых сохранились великолепные деревья и са-

мые редкие породы дичи, какая только водится в этой полосе Франции. Здесь порой подстреливали орлов; а перелетные птицы, не часто посещающие наши слишком людные края, почти всегда спускались в эту вековую чащу; там они, казалось, знавали или узнавали укромные уголки, которые издавна служили им приютом на время короткого ночного отдыха.

В долине были большие разгороженные пастбища, которые орошались водой из реки, расчищенной до этого места; немного подальше она разливалась, образуя большое болото. Оно было великолепным угодьем для охоты, лучшим из всех мне известных, и предметом усердных забот моего кузена, который содержал его словно парк. От густых зарослей тростника оно было живым, зыбким, шелестящим, и плоскодонные лодки, подталкиваемые шестами, проходили узкими протоками, бесшумно скользили по стоячей воде, задевая тростник, разгоняли юрких рыбок, прятавшихся между трав, и вспугивали водяных курочек, черные остроконечные головки которых внезапно исчезали под водой.

Воду я люблю бурной любовью: люблю море, хотя оно слишком большое, беспокойное, непокорное; люблю реки, они красивы, но они несутся мимо, они текут, убегают; и особенно люблю я болота, где трепещет неведомая нам жизнь подводных существ. Болото — это целый мир на земле; здесь свое особое бытие, свои оседлые и странствующие обитатели, свои голоса и шорохи, а главное — своя тайна. Ничто так не волнует, не тревожит и не пугает порой, как болото. Откуда этот страх, витающий над низинами, покрытыми водой? Порождает ли его смутный шорох тростника, призрачные блуждающие огни, глубокое безмолвие, царящее там в тихие ночи, или причудливый туман, словно саван обволакивающий камыш, или, быть может, неуловимый плеск, нежный и легкий, который порой страшит больше, чем грохот пушек и небесный гром, и превращает болота в сказочную, опасную страну, таящую грозную неведомую загадку.

Нет. Другая, более глубокая, более значительная тайна скрыта в густых туманах, быть может, тайна мироздания! Разве не в стоячей, тинистой воде, не в

сырой земле, не просыхающей от солнечного жара, зашевелился, затрепетал и увидел свет первый зародыш жизни?

Я приехал к кузену вечером. Мороз стоял трескучий. В огромной столовой буфеты, стены, потолок были украшены чучелами ястребов, сов, козодоев, бородачей, сарычей, цапель, соколов, кречетов, висевших с распростертыми крыльями или же сидевших на ветках, которые были прибиты гвоздями; за обедом кузен мой, одетый в куртку из тюленьей шкуры и сам напоминавший какое-то диковинное животное полярных стран, рассказал мне о своих планах на сегодняшнюю ночь.

Мы должны были выехать в половине четвертого утра, чтобы около половины пятого быть на месте, выбранном для засады. Здесь сложили домик из ледяных глыб, чтобы нам было где укрыться от жестокого предутреннего ветра, того студеного ветра, который режет кожу, словно пилами, рассекает ее, как ножом, колет, словно отравленными стрелами, раздирает, точно каленными клещами, и жжет, как огонь.

Кузен потирал руки.

— Небывалый мороз,— говорил он,— в шесть часов вечера было уже двенадцать градусов ниже ноля!

Тотчас же после обеда я лег и уснул, согретый огнем, который пылал в камине.

Меня разбудили ровно в три. Я закутался в бараний тулуп, а кузен Карл облачился в медвежью шубу. Мы наскоро проглотили по две чашки горячего кофе, запили двумя рюмками коньяка и отправились в путь, сопровождаемые егерем и двумя собаками: Плонжоном и Пьеро.

С первых же шагов мороз прохватил меня до самых костей. Это была одна из тех ночей, когда кажется, что вся жизнь замерла от холода. Морозный воздух становится плотным, осязаемым и даже причиняет боль; он не колеблется, он застыл, он неподвижен; он жалит, он пронизывает насквозь, убивает деревья, растения, насекомых и даже мелких птичек, которые па-

дают с веток на окаменелую землю и тотчас каменеют сами.

Луна была на ущербе; склонясь набок и побледнев, она, казалось, угасала в пространстве и, обессилев, не могла уйти,— осталась там наверху, тоже скованная суровым холодом небес. Она скупо лила на землю тот печальный, тусклый, слабый свет, которым дарит нас каждый раз перед новолунием.

Мы с Карлом шли рядом, пригнувшись, спрятав руки в карманы, а ружья держали под мышкой. Чтобы ноги не скользили по замерзшей реке, мы обернули обувь шерстью и двигались бесшумно; я глядел на белый пар, который клубился от дыхания наших собак.

Вскоре мы очутились на краю болота и пошли по узкой тропинке, тянувшейся через низкорослый лес сухого тростника.

Мы задевали локтями длинные, точно ленты, листья, нам вослед раздавался легкий шорох, и мною овладело сильнее, чем когда-либо, то странное, глубокое волнение, которое охватывает меня при виде болота. Теперь оно умерло, застыло, ведь мы шли по нему среди сухих зарослей камыша.

И вдруг на повороте одной из тропинок я увидел ледяной домик, построенный для нас, чтобы мы могли укрыться. Нам предстояло больше часа ждать пробуждения перелетных птиц, поэтому я вошел туда и, чтобы немного отогреться, завернулся в одеяло.

Лежа на спине, я принялся разглядывать луну, которая сквозь слабо просвечивающие стены полярного домика казалась кривой и четырехрогой.

Но холод замерзшего болота, холод, исходивший от стен, холод, излучаемый небесным сводом, пронизывал меня насквозь; я начал кашлять. Кузен Карл заволновался:

— Не беда, если мы сегодня настреляем мало дичи, лишь бы ты не простудился; сейчас разведем костер.

И он приказал егерю нарезать тростника.

Посреди домика сложили кучей тростник, в потолке было сделано отверстие для дыма; и когда подня-

лись яркие языки пламени, сверкающие, кристальные стены начали медленно, чуть заметно таять,— казалось, что ледяные камни запотели. Карл был снаружи, он крикнул мне:

— Иди сюда, посмотри!

Я вышел и остановился, изумленный. Наш конусообразный дом казался гигантским алмазом с огненной сердцевиной, внезапно выросшим на льду болота. Внутри виднелись две фантастические фигуры: это были наши собаки, гревшиеся у огня.

Вдруг где-то в вышине прозвучал тревожный, дальний крик блуждающей стаи. Пламя нашего костра разбудило дичь. Ничто так не волнует меня, как этот первый зов невидимого существа: быстро несется он издалека в полной тьме, пока еще не забрезжил на горизонте первый свет зимнего дня. Мне чудится, что этот отдаленный призыв, занесенный к нам на крыльях птицы в студеный предрассветный час,— вздох души мира!

Карл сказал:

— Погасите костер. Солнце восходит.

Действительно, небо начало бледнеть, и стаи уток потянулись длинными пятнами, быстро таявшими на небесном своде.

В темноте вспыхнул свет: то выстрелил Карл, и наши собаки устремились вперед.

Теперь каждую минуту то он, то я поспешно нацеливались, как только над камышами появлялась тень пролетающей стаи. А Пьеро и Плонжон, запыхавшись, весело носили нам окровавленных птиц, которые иногда смотрели на нас еще живыми глазами.

Занимался ясный, безоблачный день; солнце вставало на другом конце долины; мы уже собирались домой, как вдруг две птицы, вытянув шею, расправив крылья, неожиданно пролетели у нас над головой. Я выстрелил. Одна из них упала почти у самых моих ног. Это был чирок с серебристым брюшком. И вдруг где-то в пространстве надо мной я услышал крик, крик птицы. Несколько раз повторила она свою краткую горестную жалобу; маленькая птичка, помилованная судьбой, кружила над нами в синеве неба, не спуская глаз с мертвой подруги, которую я держал в руках.

Карл, стоя на коленях, нацелившись, горящими глазами подстерегал птицу, ждал, чтобы та приблизилась.

— Ты убил самку,— сказал он,— самец теперь не уйдет.

И правда, он не улетал: он все кружил над нами и плакал. Никогда еще стон так не надрывал мне душу, как этот безутешный призыв, этот скорбный укор бедной птицы, затерявшейся в пространстве.

Боясь охотника, следившего за его полетом, чирок отлетал; казалось, он был готов одиноко продолжать свой путь в поднебесье. Но не мог решиться и снова возвращался за своей самкой.

— Положи ее на землю,— сказал мне Карл.— Он сейчас же подлетит.

И он подлетел, презирая опасность, ослепленный любовью, любовью одного живого существа к другому, убитому мной.

Карл выстрелил; казалось, оборвалась нить, на которой держалась птица. Промелькнул и упал какой-то черный комок, в камышах зашуршало. И Пьеро принес мне птицу.

Я положил их обеих, уже остывших, в ягдташ... и в тот же день уехал в Париж.

ЯМА

Побои и увечья, повлекшие за собою смерть. Таков был пункт обвинения, на основании которого перед судом присяжных предстал обойщик Леопольд Ренар.

Тут же, рядом с ним, главные свидетели: Фламеш — вдова жертвы, Луи Ладюро — столяр-краснодеревец и Жан Дюрдан — лудильщик.

Возле обвиняемого — его жена, вся в черном, маленькая, безобразная, похожая на мартышку, одетую дамой.

Вот что сообщает Ренар (Леопольд) о происшедшей драме:

— Видит бог, от этого несчастья я первый же и пострадал, и никакого умысла с моей стороны не было. Факты говорят сами за себя, господин председатель. Я честный человек, честный труженик, обойщик, проживаю на одной и той же улице уже шестнадцать лет, все меня знают, все любят, уважают, почитают; это вам подтвердили мои соседи и даже привратница наша, а уж она-то шутить не станет. Я люблю работать, люблю откладывать денежки, люблю честных людей и приличные удовольствия. Это-то меня и погубило, сам понимаю; но ведь моей злой воли тут не было; так что я продолжаю относиться к себе с уважением.

Так вот, уже лет пять, как мы с супругой, которая здесь присутствует, проводим каждое воскресенье в Пуасси. По крайней мере дышим свежим воздухом,

а потом и рыбку поудить любим, — да, уж нечего греха таить, это дело мы любим. Это моя Мели, чтобы ей провалиться, приохотила меня к нему, да и сама-то она от этого дела с ума сходит, язва этакая; из-за рыбалки-то вся беда и приключилась, как сами сейчас увидите.

Я человек сильный, но тихого нрава, злости во мне ни на грош. Но уж зато она!.. Ой-ой-ой! С виду и не скажешь, такая маленькая, тощая, ну, а на деле зловреднеи хорька. Не стану отрицать: у нее есть достоинства, и немаловажные для торгового дела. Но характер! Поговорите с соседями, да хоть бы с привратницей, которая только что за меня заступилась. Она вам о ней порасскажет.

Каждый день пилит она меня за мягкость: «Уж я бы этого дела не оставила! Уж я бы такому-то не спустила!» Послушать ее, господин председатель, так мне бы по меньшей мере раза три в месяц драться на кулачках...

Тут г-жа Ренар перебила его:

— Болтай, болтай себе; посмотрим, кто посмеется последним.

Он повернулся к ней и простодушно возразил:

— Что ж такое, на тебя валить можно, ведь не ты в ответе...

Затем вновь обратился к председателю:

— Значит, я продолжаю. Каждую субботу вечером мы, стало быть, отправляемся в Пуасси, чтобы на другой день с самого рассвета половить рыбки. Как говорится, привычка — вторая натура. Нынче летом будет уже три года, как я отыскал одно местечко, да какое местечко! Посмотреть стоит! В тени, футов на восемь глубины, а может, и на все десять, яма с заходами под берег; для рыбы это настоящий садок, а для рыболова прямо рай. Эту яму, господин председатель, я считал своей собственной: ведь я открыл ее, вроде как Христофор Колумб. Все кругом знали про это, и никто не спорил. Так и говорили: «Это место Ренара»,— и никто бы не пошел туда, даже господин Плюмо, хотя, не в обиду ему сказать, всем известно, что он любит на чужих местах проедаться.

Так вот, я был спокоен за свое местечко и каждый

раз являлся туда как хозяин. Приедем мы в субботу и тотчас вместе с женой садимся в *Далилу*. *Далила* — это моя норвежская лодка; я заказал ее у Фурнеза,— вещичка легонькая и прочная. Так вот, говорю, садимся мы в *Далилу* и отправляемся бросать приманку рыбе. Насчет приманки никому со мной не сравниться — мои приятели это хорошо знают. Вы, может, спросите, на что я приманиваю? Этого я не могу вам сказать. Это к делу не относится, а я сказать не могу, потому что секрет. Пожалуй, человек двести, а то и больше его у меня выпытывали. И рюмочкой угощали, и жареной рыбой, и рыбой по-матроссски, чтобы только я проболтался! Еще бы — так и пойдут к ним голавли, хотел бы я посмотреть! А уж как меня обхаживали, лишь бы мой состав выведать. Ну, нет!.. Только моя жена его и знает... да она-то скажет не больше моего! Правда, Мели?

Председатель прервал его:

— К делу! Не отклоняйтесь в сторону.

Обвиняемый отвечал:

— Сейчас, сейчас! Так вот, в субботу, восьмого июля, выехали мы с поездом в пять двадцать пять и, как всегда, отправились перед обедом бросить приманку. Погода обещала быть хорошей. Я сказал Мели: «Завтра будет чудесный денек».

«Похоже на то»,— ответила она. Особенно-то много мы с нею никогда не разговариваем.

Потом вернулись обедать. Я был доволен, захотелось выпить. Вот всему и причина, господин председатель. Я говорю Мели: «Послушай-ка, недурно бы мне выпить бутылочку головогрея». Это слабое белое вино, а головогреем мы назвали его потому, что если выпить побольше, так оно не дает заснуть, настоящий головогрей! Понимаете?

«Как хочешь,— отвечает она,— только ты опять захвораешь и завтра не встанешь». Что ж, она рассуждала правильно, умно, толково, предусмотрительно, признаю. Но я не удержался и выпил бутылочку. С этого все и пошло...

Так вот, лег — а заснуть не могу. Черт возьми! До двух часов утра мучил меня этот головогрей из виноградного сока. А потом — трах! — заснул, да так крепко,

Худ. Гранжуан. 1903. «ОТШЕЛЬНИК».

Худ Гранжуан. 1903. «РОЗАЛИ ПРЮДАН».

Худ. Гранжуан. 1903. «ГОСПОЖА ПАРИС».

что не услышал бы и трубы архангельской на Страшном суде.

Короче говоря, жена разбудила меня в шесть часов. Я вскочил с кровати, мигом натянул штаны, куртку, плеснул на морду водой, и мы прыгнули в *Далилу*. Да поздно! Подъехали к моей яме, а она уже занята! Ни разу этого не случалось, господин председатель, ни разу за три года! Это меня до того ошеломило, как будто меня при мне же обокрали. «Что за черт!» — говорю. А жена начинает меня пилить: «Вот тебе твой головогрей! Эх, ты, пьянчуга! Доволен, скот этакий?»

Я не спорил: все это было правильно.

Все-таки я высадился возле самого того места, чтобы попользоваться хоть остатками. А может быть, он, мошенник, ничего не поймает и уберется прочь?

А сидел там плюгавый малый в белой парусине и большой соломенной шляпе. С ним тоже была жена, толстуха такая, уселась позади него и вышивает.

Увидели они, что мы устраиваемся возле них, толстуха и зашипела: «Что это, нет на реке другого места, что ли?»

А моя разозлилась и отвечает: «Порядочные люди, раньше, чем занять чужое место, справляются, какие здесь обычаи».

Я не хотел подымать историю и говорю: «Помолчи, Мели. Оставь их, оставь. Там видно будет».

Ну, завели мы *Далилу* под ивы, высадились и стали вместе с Мели удить рядышком, возле тех двоих.

Здесь, господин председатель, мне придется вдаться в подробности.

Не прошло и пяти минут, как поплавок у соседа начинает нырять раз, другой, третий,— и он вытаскивает голавля, да здоровенного, с мою ляжку, ну, может быть, чуть-чуть поменьше, но почти что такого! У меня сердце так и екнуло, пот выступил на висках, а Мели зудит: «Что, пьяница, видел?»

В это самое время господин Брю, лавочник из Пуасси, любитель пескарей, плывет мимо на лодке и кричит: «Что это, ваше место заняли, господин Ренар?» «Да, господин Брю, — отвечаю я, — бывают такие неделикатные люди, которые не желают считаться с обычаями».

Плюгавый в парусине делает вид, будто не слышит, то же самое и жена его, толстуха, настоящая корова!

Председатель прерывает во второй раз:

— Будьте повежливей! Вы оскорбляете вдову Фламеш, которая здесь присутствует.

Ренар извинился:

— Простите, простите, очень уж мне обидно.

Так вот, не прошло и четверти часа, как плюгавый в парусине вытащил еще одного голавля, а за ним другого и минут через пять — третьего.

Я прямо готов был заплакать. И вдобавок супружница моя кипит и беспрестанно меня шпыняет: «Что, разиня, видишь, как воруют твою рыбу? Видишь? Тебе и лягушки не поймать, ничего не поймать, ничего. У меня просто руки чешутся, как только я об этом подумаю».

«Подождем полудня,— решил я про себя.— Негодяй пойдет завтракать, и тогда я захвачу свое местечко». Надо вам сказать, господин председатель, что я-то сам каждое воскресенье завтракаю тут же, на месте. Мы привозим еду с собой, на *Далиле*.

Не тут-то было! Наступил полдень, и этот мошенник достал курицу, завернутую в газету, а пока он ел, на его удочку попался еще один голавль!

Мы с Мели тоже перекусили, но так, самую малость, почти ничего,— не до того было.

Потом, для пищеварения, я взялся за газету. По воскресеньям я люблю посидеть в тени над рекой и почитать *Жиля Бласа*. Это ведь день Коломбины, как вам, наверно, известно, Коломбины, которая пишет статьи в *Жиле Бласе*. У меня привычка дразнить жену, будто я знаком с ней, с этой Коломбиной. Конечно, я ее не знаю и в глаза-то не видывал, но это неважно: уж больно хорошо она пишет и, кроме того, для женщины выражается очень смело. Мне она по душе; таких, как она, не много.

Начал было я поддразнивать жену, но она сразу же рассердилась, да так, что только держись. Я замолчал.

Как раз в это время к другому берегу пристали наши свидетели, которые находятся здесь, — господин Ладюро и господин Дюрдан. Мы не знакомы, но знаем друг друга в лицо.

Плюгавый снова принялся удить. И так у него клюет, что я прямо весь дрожу. А его жена и скажи: «Место действительно отличное, мы всегда будем приезжать сюда, Дезире».

У меня озноб прошел по спине. А супружница моя все зудит: «Ты не мужчина, не мужчина. У тебя цыплячья кровь в жилах».

Тут я сказал ей: «Знаешь, я лучше уйду, а то еще наделаю каких-нибудь глупостей».

А она так и ест меня поедом, прямо до белого каления доводит: «Ты не мужчина! Удираешь, теперь сам готов уступить место! Ну и беги, Базен».

Ну, чувствую, взяло меня за живое. А все-таки еще не поддаюсь.

Но вдруг он вытаскивает леща! Ох! Сроду я такого не видывал! Сроду!

Тут уж моя жена заговорила вслух и давай выкладывать все, что у нее на душе. С этого, как увидите, и заварилась каша. «Вот уж, что называется, краденая рыба,— шипит она,— ведь это мы приманили ее сюда, а не кто другой. Хоть бы деньги нам за приманку вернули!»

Тут толстуха, жена плюгавого, тоже заговорила: «Это уж не о нас ли вы, сударыня?» «Я о тех ворах, которые крадут рыбу и норовят поживиться на чужой счет». «Так мы, по-вашему, украли рыбу?»

И пошли у них объяснения, а потом посыпались слова покрепче. Черт побери, запас у них, мерзавок, большой! Они лаялись так громко, что наши свидетели стали кричать с того берега смеха ради: «Эй, вы там, потише! Не то всю рыбу у мужей распугаете».

Дело в том, что и я и плюгавый в парусине сидим и молчим, как два пня. Сидим, как сидели, уставившись в воду, словно и не слышим ничего.

Но слышим все отлично, черт их подери! «Вы лгунья!» «А вы девка!» «Вы шлюха!» «А вы скверная харя!» И пошло, и пошло! Матрос, и тот не сумел бы лучше.

Вдруг слышу позади шум. Оборачиваюсь. Смотрю, толстуха ринулась на мою жену и лупит ее зонтиком. Хлоп, хлоп! Два раза Мели получила. Ну, а Мели у меня бешеная: когда взбеленится, тоже кидается в дра-

ку. Как вцепится она толстухе в волосы — и шлеп, шлеп, шлеп,— затрещины посыпались, как сливы с дерева.

Я бы и оставил их, пусть дерутся. Женщины сами по себе, а мужчины сами по себе. Нечего лезть не в свое дело. Но плюгавый вскочил, как бес, и собирается броситься на мою жену. «Э, нет,— думаю,— нет, только не это, приятель». Я его, голубчика, встретил как следует. Кулаком. Бац! Бац! Раз в нос, другой в живот. Он руки вверх, ногу вверх и плашмя бухнулся спиной в реку, в самую-то в яму.

Я бы, конечно, вытащил его, господин председатель, будь у меня время. Но, как на беду, толстуха стала брать верх и так обрабатывала Мели, что лучше не надо. Конечно, не следовало бы спешить на подмогу жене, когда тот хлебал водицу. Но мне и в голову не приходило, что он утонет. Я думал: «Ничего, пусть освежится!»

Я бросился к женщинам, стал их разнимать. Уж и отделали они меня при этом — и руками, и зубами, и ногтями! Экие дряни, черт бы их побрал!

Короче говоря, мне понадобилось минут пять, а может быть, десять, чтобы расцепить этот репейник.

Оборачиваюсь. Ничего. Вода спокойная, как в озере. А те на берегу кричат: «Вытаскивайте его, вытаскивайте!»

Легко сказать: я ни плавать, ни нырять не умею!

Наконец прибежали сторож со шлюза и два господина с баграми, но на это ушло добрых четверть часа. Нашли его на самом дне ямы, а яма-то глубиной в восемь футов, как я уже говорил; там он и оказался, плюгавый-то, в парусиновой паре.

Вот, по совести, как было дело. Честное слово, я не виновен.

Свидетели высказались в том же смысле, и обвиняемый был оправдан.

ИЗБАВИЛАСЬ

I

Молодая маркиза де Реннедон влетела, словно пуля, пронизавшая стекло, и, не успев еще заговорить, начала смеяться, смеяться до слез, точь-в-точь как месяц тому назад, когда объявила своей подруге, что изменила маркизу из мести,— только из мести, и только один раз, потому что он, право, чересчур уж глуп и ревнив.

Баронесса де Гранжери бросила на канапе книгу, которую читала, и с любопытством смотрела на Аннету, заранее смеясь.

Наконец она спросила:

— Ну, что еще набедокурила?

— О, дорогая... дорогая... Это так смешно... так смешно... Представь себе... я избавилась... избавилась... избавилась!

— Как избавилась?

— Так, избавилась.

— От чего?

— От мужа, дорогая, избавилась! Я освобождена! Я свободна! Свободна! Свободна!

— Как свободна? В каком отношении?

— В каком! Развод! Да, развод! Я могу получить развод!

— Ты развелась?

— Да нет еще, какая ты глупая! Ведь за три часа нельзя развестись. Но у меня есть доказательства... до-

казательства... доказательства, что он мне изменяет... его застали с поличным... подумай только... застали с поличным... он в моих руках...

— О, расскажи! Значит, он тебе изменял?

— Да... то есть, как сказать... и да и нет. Не знаю. Но у меня есть доказательства, а это самое главное.

— Как же тебе это удалось?

— Как удалось?.. А вот как! О, я повела дело ловко, очень ловко! За последние три месяца он сделался невыносим, совершенно невыносим, груб, дерзок, деспотичен, словом, отвратителен! Я решила: так больше продолжаться не может — нужно развестись. Но как? Это было не легко. Я пыталась устроить, чтобы он побил меня. Но на это он не шел. Он только ссорился со мной с утра до вечера, заставлял меня выезжать, когда я не желала, и оставаться дома, когда мне хотелось обедать в гостях; он целыми неделями отравлял мне жизнь, но все-таки не бил меня.

Тогда я попыталась узнать, не завел ли он себе любовницу. И что же,— так оно и оказалось, но, отправляясь к ней, он принимал множество предосторожностей. Застичь их вместе было совершенно невозможно. Попробуй-ка догадаться, что я сделала?

— Не могу.

— О, никогда и не догадаешься! Я упросила брата достать мне фотографию этой женщины.

— Любовницы твоего мужа?

— Да. Жаку это обошлось в пятнадцать луидоров — стоимость вечера с семи часов до двенадцати, включая обед; в общем, по три луидора в час. А карточку он получил даром, в виде премии.

— По-моему, он мог бы добыть ее и дешевле, с помощью какой-нибудь уловки, и без... без... необходимости получить в придачу оригинал.

— О, она хорошенькая! Жаку это было отнюдь не противно. И, кроме того, мне нужно было узнать разные подробности о ее талии, груди, коже, ну, и о многом другом.

— Не понимаю.

— Сейчас поймешь. Узнав все, что мне было нужно, я отправилась к одному... как бы это сказать... к одному деловому человеку... Знаешь... к одному из тех, кто занимается понемножку всякими делами... какими угодно... К агенту... по... по разным... изобличениям... к одному из тех... из тех... Ну, сама понимаешь.

— Да, приблизительно. Что же ты ему сказала?

— Я показала ему карточку Клариссы (ее зовут Кларисса) и заявила: «Сударь, мне нужна горничная, похожая вот на эту особу. Я хочу, чтобы она была хорошенькая, элегантная, ловкая и опрятная. Я заплачу ей, сколько потребуется. Пусть это мне обойдется хоть в десять тысяч франков — не беда. Понадобится она мне не больше чем на три месяца».

Ну и удивился же этот человек! Он спросил:

— Вам нужна горничная безукоризненного поведения?

Я покраснела и пробормотала:

— Да, в смысле честности.

— А... в смысле нравственности? — продолжал он.

Я не посмела ответить. Я только покачала головой, в знак отрицания. Но вдруг сообразила, какое у него могло возникнуть подозрение, и, очертя голову, крикнула:

— Сударь... это для моего мужа... Он мне изменяет... изменяет где-то на стороне... а я хочу... я хочу, чтобы он изменял мне дома... Понимаете? Я хочу его поймать.

Человек расхохотался. И по его взгляду я поняла, что он проникся ко мне уважением. Он даже нашел, что я очень изобретательна. Держу пари, что в эту минуту ему хотелось пожать мне руку.

Он сказал:

— Через неделю, сударыня, я подберу то, что вам нужно. Если не подойдет одна, отыщем другую. За успех я ручаюсь. Вы заплатите мне только после благополучного окончания дела. Итак, это портрет любовницы вашего супруга?

— Да, сударь!

— Красивая особа и вовсе не такая худая, как кажется. А какие духи?

Я не поняла и переспросила:

— Что значит — какие духи?

Он улыбнулся:

— Духи, мадам,— весьма существенное обстоятельство в деле соблазна мужчины: запах рождает в нем бессознательные воспоминания, побуждающие его к действию; запах вызывает смутные сопоставления, томит и волнует, напоминая о привычных наслаждениях. Хорошо бы также узнать, какие блюда подаются к столу, когда ваш муж обедает с этой дамой. Вы можете заказать те же самые к ужину в тот вечер, когда решите захватить его. О мадам, он у нас в руках! Он у нас в руках!

Я ушла в полном восхищении. Действительно, мне посчастливилось напасть на очень смышленого человека.

II

Три дня спустя ко мне явилась высокая, смуглая и очень красивая девушка, скромного и в то же время вызывающего вида,— особа явно опытная. Со мной она держалась вполне прилично. Хорошенько не зная, кто она, я называла ее «мадмуазель», но она заявила: «Мадам, называйте меня просто Розой». Мы вступили в разговор:

— Итак, Роза, вам известно, для чего вас пригласили сюда?

— Вполне, мадам.

— Очень хорошо, милая... И это... вам не особенно неприятно?

— Мадам, я уж восьмой развод устраиваю; я привыкла.

— В таком случае — великолепно. А много вам для этого понадобится времени?

— Мадам, это всецело зависит от темперамента вашего супруга. Побыв с мосье минут пять наедине, я отвечу вам совершенно точно.

— Вы сейчас увидите его, милая. Но предупреждаю вас: он далеко не красив.

— Это для меня безразлично, мадам. Я разводила и совсем безобразных. Но позвольте спросить, узнали вы уже относительно духов?

— Да, милая Роза: вербена.

— Тем лучше, я очень люблю этот запах! Может быть, мадам, вы сообщите мне также, какое белье носит любовница мосье — шелковое?

— Нет, дитя мое, батистовое с кружевами.

— Так эта особа не лишена вкуса! Шелковым бельем теперь уже никого не удивишь.

— Вы совершенно правы.

— Итак, мадам, я приступаю к своим обязанностям.

Действительно, она немедленно приступила к своим обязанностям, как будто всю жизнь только этим и занималась.

Через час вернулся муж. Роза даже глаз на него не подняла, зато он прямо уставился на нее. Вербеной от нее уже так и разило. Минут через пять она вышла из комнаты.

Он тотчас же спросил меня:

— Что это за девушка?

— Это... моя новая горничная.

— Где вы ее нашли?

— Ее прислала ко мне баронесса де Гранжери с самыми лучшими рекомендациями.

— А! Она довольно хорошенькая.

— Вы находите?

— Да... для горничной, конечно.

Я была в восторге. Я чувствовала, что он клюнул.

В тот же вечер Роза сказала мне:

— Теперь могу вам обещать, мадам, что это больше двух недель не протянется. Мосье очень податлив.

— А, вы уже произвели опыт?

— Нет еще, мадам, но это видно с первого взгляда. Он уже не прочь обнять меня, проходя мимо.

— Он ничего вам не говорил?

— Нет, мадам, он только спросил, как мое имя... чтобы услышать мой голос.

— Отлично, милая Роза. Действуйте же как можно скорее.

— Не беспокойтесь, мадам. Я буду сопротивляться лишь столько, сколько нужно, чтобы не сбавить себе цену.

Через неделю муж уже почти перестал выходить

из дому. Он целый день слонялся по комнатам; весьма показательно для его намерений было и то, что он больше не мешал мне выезжать. И я пропадала целыми днями... чтобы... чтобы предоставить ему свободу.

На девятый день Роза, раздевая меня, скромно сказала:

— Сегодня утром, мадам, все устроилось.

Я была немного удивлена, даже чуточку взволнована, не самым событием, а скорее тем, как она мне об этом сообщила. Я прошептала:

— И... и... все хорошо?

— О! Очень хорошо, мадам. Уже три дня, как мосье сделался крайне настойчивым, но я не хотела уступить слишком быстро. Соблаговолите, мадам, назначить время, когда вам угодно будет... установить... факт...

— Отлично, моя милая... Назначим хотя бы четверг.

— Пусть будет в четверг, мадам. А до тех пор, чтобы раззадорить мосье, я не позволю ему ничего.

— Вы уверены, что это удастся?

— О, да, мадам, вполне уверена. Я сумею так разжечь мосье, что все случится именно в тот самый час, который вы соблаговолите мне указать.

— Назначим, милая Роза, на пять часов.

— Пусть будет в пять, мадам. А где?

— Ну... В моей спальне.

— Хорошо. В вашей спальне, мадам.

Теперь ты понимаешь, дорогая, что я сделала? Прежде всего позвала папу и маму, потом моего дядюшку д'Орвлена, председателя суда, и, кроме того, господина Рапле, судью, друга моего мужа. Я не предупредила их о том, что собираюсь им показать. Я попросила всех подойти на цыпочках, потихоньку, к дверям моей спальни. Подождала до пяти, ровно до пяти... О, как билось у меня сердце! Я позвала и привратника, чтобы было одним свидетелем больше. И потом... потом... когда часы начали бить — трах! — я настежь распахнула дверь... Ха! ха! ха!.. Роман был в самом разгаре... в самом разгаре... дорогая. Какое у моего супруга было лицо!.. Какое лицо! Если бы ты только видела его лицо!.. А он еще повернулся к нам... болван!.. Ах,

до чего же он был смешон... Я хохотала, хохотала... А папа так разъярился, что готов был броситься на него!.. Привратник же, верный слуга, помогал ему одеваться... при нас, при нас... Как он пристегивал подтяжки... вот была умора! Зато Роза оказалась на высоте! На высоте совершенства! Она расплакалась, превосходно расплакалась! Этой девушке цены нет... Если тебе когда-нибудь понадобится, имей ее в виду!

И вот я здесь... Я сейчас же прибежала рассказать тебе обо всем... сейчас же. Я свободна! Да здравствует развод!

И она завертелась посреди гостиной, а баронесса задумчиво и недовольно сказала:

— Почему же ты меня не пригласила посмотреть?

КЛОШЕТ

Удивительная вещь — воспоминания о давнем прошлом! Они неотступно преследуют нас, и мы не в силах от них избавиться.

Вот одно из них, такое далекое-далекое, что даже непонятно, как оно могло сохраниться в моей памяти со всей своей яркостью и силой. Я перевидал с тех пор столько мрачного, волнующего, ужасного, и все же, к моему удивлению, дня не проходит, ни одного дня, чтобы тетушка Клошет не возникала перед моим внутренним взором такой, какой я знал ее когда-то, в давние годы, когда мне было лет десять — двенадцать.

Это была старуха-швея, приходившая к нам по вторникам чинить белье. Мои родители жили в одном из тех сельских домов, которые пышности ради именуются «замком», хотя на самом деле это — просто старинное здание с островерхой крышей и четырьмя — пятью прилегающими к нему фермами.

Метрах в ста с лишним от усадьбы деревня, большое село, целый городок лепился вокруг церкви из красного кирпича, потемневшего от времени.

Итак, тетушка Клошет являлась каждый вторник между шестью и половиной седьмого утра, прямо поднималась в бельевую и садилась за работу.

Это была женщина высокого роста, сухопарая, бородатая или, вернее, волосатая — борода, удивительная, неправдоподобная борода росла у нее по всему лицу диковинными кустиками, курчавыми клочьями, словно какой-то сумасшедший разбросал их по обширной

физиономии этого солдата в юбке. Волосы росли у нее на носу, под носом, вокруг носа, на щеках, на подбородке, а брови, сказочно густые и длинные, совершенно седые, косматые и взъерошенные, очень были похожи на усы, попавшие сюда по ошибке.

Она прихрамывала, но не так, как обычно хромают калеки,— она ныряла, словно судно на якоре. Когда она ступала на здоровую ногу, ее костлявая кособокая фигура вырастала, будто с разбегу поднималась на гребень гигантской волны, а при следующем шаге она точно падала в пропасть, уходила в землю; походка ее вызывала представление о шторме — так сильно раскачивалась старушка на ходу; а ее голова, в неизменном огромном белом чепце, ленты которого развевались у нее за спиной, казалась парусом, пересекающим горизонт то с севера на юг, то с юга на север.

Я обожал тетушку Клошет. Едва проснувшись, я спешил в бельевую, где она уже сидела за шитьем, поставив ноги на грелку. Как только я прибегал, она меня усаживала на эту грелку, чтобы я не простудился в огромной холодной комнате под самой крышей.

— Это тебе кровь оттянет от горла,— уверяла она.

Она принималась рассказывать мне всевозможные истории, усердно штопая белье крючковатыми проворными пальцами; ее глаза за толстыми стеклами очков — от старости зрение у нее ослабело — казались мне огромными, странно глубокими, двойными.

Судя по ее рассказам, которые так трогали мою детскую душу, у нее было щедрое, великодушное сердце, как у многих обойденных судьбою женщин. Смотрела она на жизнь широко и просто. Она рассказывала мне о событиях в селе, о корове, убежавшей из хлева и в одно прекрасное утро оказавшейся перед мельницей Проспера Мале,— скотина глубокомысленно смотрела на вертевшиеся деревянные крылья; рассказывала о курином яйце, найденном на колокольне, причем так и осталось загадкой, как могла курица снести его там, и еще о собаке Жан-Жана Пиласа, которая помчалась за десять лье от деревни, чтобы принести обратно штаны своего хозяина, украденные прохожим, когда они сушились перед домом после дождя. Она так умела живописать все эти простые приключения,

что они разрастались для меня в незабываемые драмы, в величественные и таинственные поэмы, и хитроумные вымыслы писателей, которыми по вечерам меня развлекала мать, были лишены той сочности, широты и мощи, какими дышали повествования крестьянки.

Как-то во вторник я все утро слушал рассказы тетушки Клошет, затем ходил с нашим слугой за орехами в рощу Алле, позади фермы Нуарпре, и, вернувшись, решил еще раз сбегать наверх. Все происшедшее я помню так отчетливо, словно это случилось только вчера.

Я распахнул дверь бельевой и увидел, что старухашвея лежит ничком подле стула, раскинув руки и все еще держа в одной иголку с ниткой, в другой — мою рубашку. Одна нога в синем чулке, наверно, здоровая, была вытянута под стулом; очки отлетели к стене и поблескивали там.

Я бросился вон, громко крича. Все сбежались, и через несколько минут я узнал, что тетушка Клошет умерла.

Нет слов передать глубокое, страшное, беспросветное отчаяние, охватившее мое детское сердце. Я елеле спустился по лестнице в гостиную, где в темном уголке стояло огромное старинное кресло, взобрался на него и, встав на колени, заплакал. Вероятно, я пробыл там долго, так как стало уже темнеть.

Вдруг в комнату вошли и внесли лампу, но меня не заметили, и я услышал разговор моих родителей с врачом, которого я узнал по голосу.

За ним послали сейчас же, и он объяснял, какие причины вызвали смерть швеи. Впрочем, я ничего не понял. Затем он уселся, согласившись выпить рюмку ликера с печеньем.

Он продолжал говорить, и то, что он рассказал, глубоко врезалось мне в душу и останется в ней до самой моей смерти. Мне кажется, я могу повторить его рассказ почти слово в слово.

— Ах,— говорил он,— бедняжка! Она ведь была здесь моей первой пациенткой! Она сломала себе ногу как раз в день моего приезда; я только что вылез из дилижанса и даже рук не успел вымыть, как за мной прибежали: перелом ноги, и опасный, очень опасный!

Ей было семнадцать лет, и она была очень, очень

хороша, прямо красавица! Сейчас даже трудно поверить! Что же касается ее истории, то я никогда ничего не рассказывал, и никто ее не знает, кроме меня да еще одного человека, но он уже давно покинул наши места. Теперь, когда она умерла, я могу открыть ее тайну.

В ту пору сюда приехал помощником учителя некий молодой человек, красивый, статный, с военной выправкой. Все девушки были от него без ума, а он корчил из себя неприступного, главным образом, верно, оттого, что сильно побаивался школьного учителя, дядюшки Грабю, который чаще всего вставал с левой ноги.

Дядюшка Грабю уже тогда приглашал к себе шить красавицу Гортензию, которая только что скончалась у вас,— ее впоследствии прозвали Клошет[1]. Помощник учителя обратил свое благосклонное внимание на прелестную девушку, а она, несомненно, была польщена тем, что такой непобедимый сердцеед избрал именно ее; словом, она полюбила его, и он добился первого свидания на школьном чердаке, по окончании ее работы, в сумерки.

Она сделала вид, будто отправляется домой, а сама, вместо того, чтобы спуститься по лестнице, поднялась на чердак и спряталась в сене, ожидая своего возлюбленного. Тот вскоре пришел, но только он принялся изливаться в своих чувствах, как вдруг дверь чердака отворилась, на пороге появился школьный учитель и спросил: «Что это вы тут делаете, Сижисбер?»

Видя, что он попался, молодой учитель, совершенно растерявшись, ответил наобум: «Я хотел немножко отдохнуть на сене, господин Грабю».

Сеновал был очень большой, очень просторный и совершенно темный; Сижисбер, толкая вглубь испуганную девушку, шептал: «Туда, туда идите, спрячьтесь... Меня со службы прогонят! Спрячьтесь же!»

Школьный учитель, услыхав перешептывание, продолжал: «Значит, вы здесь не один?» «Нет, один, господин Грабю!» «Нет, не один, вы с кем-то разговариваете!» «Честное слово, я один, господин Грабю». «Вот сейчас узнаем»,— возразил старик; он запер дверь на ключ и пошел вниз за свечой.

Тогда молодой человек — трус, какие нередко встре-

[1] Слово «Clochette» значит «хромоножка».

чаются,— потерял голову и, внезапно разъярившись, зашипел: «Ну, спрячьтесь же, чтобы вас не было тут! Я из-за вас на всю жизнь куска хлеба лишусь! Вы погубите мою карьеру... Да спрячьтесь же!»

А ключ уже скрипел в замке.

Тогда Гортензия подбежала к выходящему на улицу слуховому окну, быстро распахнула его и сказала тихо и твердо: «Спуститесь и подберите меня, когда он уйдет».

И она спрыгнула вниз.

Дядюшка Грабю никого не нашел и, чрезвычайно озадаченный, удалился.

Спустя четверть часа ко мне явился Сижисбер и все рассказал. Девушка так и лежала у стены, она не могла встать: ведь упала-то она с чердака! Я отправился вместе с ним.

Шел проливной дождь; я перенес к себе несчастную девушку; у нее на правой ноге было три перелома, осколки костей прорвали кожу. Она не жаловалась, а только с удивительным смирением повторяла: «И поделом, и поделом мне!»

Я вызвал людей на помощь, вызвал ее родителей, сочинил историю насчет экипажа, который якобы ехал мимо, лошади понесли, сбили ее с ног и искалечили перед моим домом.

Мне поверили, и жандармы целый месяц безуспешно разыскивали виновника несчастного случая.

Вот и все. И я утверждаю, что эта женщина — героиня, из породы тех, которые совершают высокие исторические подвиги.

Это была ее единственная любовь. Она скончалась девственницей. Это мученица, благороднейшее создание, жертва самоотверженной преданности. Я беспредельно восхищаюсь ею, иначе бы я не поделился с вами этим воспоминанием, о котором никогда при ее жизни не рассказывал — вы сами понимаете почему.

Врач умолк. Мама плакала. Отец произнес несколько слов, которых я не разобрал; затем все ушли.

Я все стоял на коленях в уголке кресла и всхлипывал, а до слуха моего доносился необычный звук тяжелых шагов по лестнице и какие-то глухие толчки.

Это выносили тело тетушки Клошет.

МАРКИЗ ДЕ ФЮМРОЛЬ

Роже де Турнвиль рассказывал в кругу друзей, сидя верхом на стуле; в руке он держал сигару и время от времени, подпося ее ко рту, выпускал маленькие облачка дыма.

...Мы еще сидели за столом, когда нам подали письмо. Папа вскрыл его. Вы, конечно, знаете моего папашу, который считает себя временно замещающим короля во Франции. Я же зову его Дон-Кихотом, потому что он целых двенадцать лет сражался с ветряной мельницей республики, сам хорошенько не зная, во имя Бурбонов или во имя Орлеанов. Ныне он готов преломить копье только за Орлеанов, потому что остались они одни. Во всяком случае, папа считает себя первым дворянином Франции, самым известным, самым влиятельным, главою партии, а так как он несменяемый сенатор, то престолы соседних королей кажутся ему недостаточно прочными.

Что касается мамы, то она — душа отца, душа монархии и религии, правая рука господа на земле, бич всех нечестивцев.

Так вот: подали письмо, когда мы еще сидели за столом. Папа вскрыл его, прочитал, потом взглянул на маму:

— Твой брат при смерти.

Мама побледнела. О дяде в нашем доме почти никогда не говорили. Я совсем не знал его. Я знал только,

что, по общему мнению, он вел и продолжает вести беспорядочный образ жизни. Прокутив с бесчисленным количеством женщин свое состояние, он оставил при себе только двух любовниц, с которыми и жил в маленькой квартирке на улице Мучеников.

Бывший пэр Франции, отставной кавалерийский полковник, он, как говорили, не верил ни в бога, ни в черта. Сомневаясь в бытии грядущем, он злоупотреблял на все лады бытием земным и в сердце моей матери уподобился кровоточащей ране.

Она сказала:

— Дайте мне письмо, Поль.

Когда письмо было прочитано ею, я тоже попросил его. Вот оно:

«Ваше сиятельство, считаю своим долгом сообщить вам, что ваш шурин маркиз де Фюмроль помирает. Может, вам угодно как распорядиться, и не забудьте, что это я вас предупредила.

Ваша слуга *Мелани*».

Папа прошептал:

— Надо что-то предпринять. Мое положение обязывает меня позаботиться о последних минутах вашего брата.

Мама отвечала:

— Я пошлю за аббатом Пуавроном и посоветуюсь с ним. Потом вместе с аббатом и Роже отправлюсь к брату. Вы, Поль, останьтесь дома. Вам не следует себя компрометировать. Женщина может и должна заниматься такими делами. Но для политического деятеля, и на вашем посту — это неудобно. Кто-нибудь из ваших врагов легко может обратить против вас самый похвальный ваш поступок.

— Вы правы,— согласился отец.— Поступайте, мой друг, как вам подскажет внутренний голос.

Через четверть часа аббат Пуаврон появился в гостиной; положение дел было изложено, взвешено и всесторонне обсуждено.

Если маркиз де Фюмроль, носитель одного из славнейших имен Франции, умрет без покаяния, это будет ужасный удар для дворянства вообще и для графа де

Турнвиль в частности. Свободомыслящие будут торжествовать победу. Зловредные газетки полгода будут трубить о ней, имя моей матери окажется запятнанным, его станут упоминать в статейках социалистических листков; имя отца будет замарано. Невозможно допустить, чтобы все это случилось.

Таким образом, немедленно был решен крестовый поход под предводительством аббата Пуаврона, маленького, толстенького и благопристойного священника, слегка надушенного, настоящего викария большой церкви в аристократическом и богатом квартале.

Подали ландо, и вот мы втроем — мама, кюре и я — отбыли напутствовать дядю.

Было решено прежде всего переговорить с мадам Мелани, автором письма, — вероятно, привратницей или служанкой дяди.

В качестве разведчика я первый высадился из экипажа у подъезда семиэтажного дома и вошел в темный коридор, где едва разыскал мрачную каморку привратника. Этот человек подозрительно осмотрел меня с ног до головы.

Я спросил:

— Скажите, пожалуйста, где живет мадам Мелани?

— Не знаю!

— Я получил от нее письмо.

— Возможно. Но я не знаю. Она содержанка, что ли?

— Нет, по всей вероятности, горничная. Она просила у меня места.

— Горничная?.. Горничная?.. Может быть, это у маркиза? Поищите в шестом налево.

Узнав, что я разыскиваю не содержанку, он стал любезнее и даже вышел в коридор. То был высокий худой старик с седыми бакенбардами и размеренными жестами, похожий на церковного сторожа.

Я быстро взбежал по грязной витой лестнице, не рискуя прикасаться к перилам, и на шестом этаже тихо стукнул три раза в дверь налево.

Дверь тотчас же отворилась; передо мной стояла неопрятная женщина огромного роста; руками она упиралась в дверной косяк, загораживая вход.

Она пробурчала:

— Чего вам?

— Вы мадам Мелани?

— Она самая.

— Я виконт де Турнвиль.

— А, хорошо, войдите.

— Видите ли... моя мама внизу со священником.

— Хорошо! Ступайте за ними. Только берегитесь привратника.

Я сбежал вниз и снова поднялся с мамой, за которой следовал священник. Мне показалось, что за нами слышатся еще чьи-то шаги.

Когда мы очутились на кухне, Мелани предложила нам стулья. Мы все четверо уселись и приступили к совещанию.

— Ему очень плохо? — спросила мама.

— Да, сударыня, долго не протянет.

— Расположен он принять священника?

— Нет... не думаю!

— Могу я его видеть?

— Да... конечно... сударыня... но только... только... около него эти дамы.

— Какие дамы?

— Да... эти... ну, его приятельницы.

— А!

Мама густо покраснела.

Аббат Пуаврон опустил глаза.

Это начинало меня забавлять, и я сказал:

— Не войти ли сначала мне? Я посмотрю, как он меня примет; может быть, мне удастся подготовить его.

Мама, не поняв моей хитрости, ответила:

— Иди, дитя мое.

Но где-то открылась дверь, и женский голос крикнул:

— Мелани!

Толстая служанка устремилась туда.

— Что угодно, мамзель Клэр?

— Омлет, да поскорее.

— Сию минуту, мамзель.

Вернувшись, она объяснила нам, зачем ее звали:

— К двум часам заказан омлет с сыром, на завтрак.

И тотчас яростно принялась взбивать яйца в салатнике.

Я же вышел на лестницу и дернул звонок, чтобы официально возвестить о себе.

Мелани, открыв дверь, попросила меня присесть в прихожей и отправилась к дяде доложить, что я здесь, а потом пригласила меня войти.

Аббат спрятался за дверью, чтобы явиться по первому знаку.

Право, я был поражен, увидев дядю. Старый кутила был очень красив, очень величав, очень импозантен.

Он полулежал в огромном кресле; ноги его были закутаны одеялом, а руки, длинные и бледные, свисали с подлокотников; он ожидал смерти с библейским величием. Седая борода ниспадала ему на грудь, а волосы, тоже совершенно седые, сливались с нею на щеках.

За его креслом, как бы готовясь защищать его, стояли две молодые женщины, две толстухи, смотревшие на меня наглыми глазами уличных потаскушек. В нижних юбках и небрежно накинутых капотах, с обнаженными руками, с закрученными кое-как на затылке черными волосами, в стоптанных восточных туфлях, расшитых золотом и позволявших видеть их лодыжки и шелковые чулки, они казались возле этого умирающего непристойными фигурами какой-то аллегорической картины. Между креслом и постелью, на столике, накрытом скатертью, были приготовлены две тарелки, два стакана, две вилки и два ножа в ожидании омлета с сыром, только что заказанного Мелани.

Слабым голосом, задыхаясь, но отчетливо дядя произнес:

— Здравствуй, дитя мое. Поздновато ты пришел повидаться со мной. Наше знакомство долгим не будет.

Я пролепетал:

— Это не моя вина, дядя...

Он ответил:

— Да, я знаю. Это гораздо больше вина твоих родителей, чем твоя... Как они поживают?

— Благодарствуйте, неплохо. Узнав, что вы больны, они послали меня наведаться, как вы себя чувствуете.

— А! Почему же они не приехали сами?

Я поднял глаза на девиц и тихо сказал:

— Не их вина, дядя, что они не могут приехать. Отцу было бы трудно, а матери невозможно войти сюда.

Старик ничего не ответил и только протянул мне руку. Я взял эту бледную, холодную руку и удержал ее в своей. Дверь отворилась: Мелани принесла омлет и поставила его на стол. Женщины тотчас же уселись перед своими приборами и принялись за еду, не спуская с меня глаз.

— Дядя,— сказал я,— для матери было бы большой радостью обнять вас.

Он прошептал: «Я тоже... хотел бы...» И замолк. Я не знал, что еще сказать, и в комнате слышалось только постукивание вилок по фарфору и чавканье жующих ртов.

Тогда аббат, который подслушивал у двери, уловив заминку в нашем разговоре и считая дело уже выигранным, решил, что наступил подходящий момент, и вошел в комнату.

Дядя был настолько ошеломлен, что сначала и не пошевельнулся; затем он широко открыл рот, словно хотел проглотить священника, и закричал сильным, низким, яростным голосом:

— Что вам здесь нужно?

Аббат, привыкший к трудным положениям, подступал к нему все ближе и ближе, бормоча:

— Я пришел от имени вашей сестры, маркиз; это она послала меня к вам... Она была бы так счастлива, маркиз...

Но маркиз не слушал его. Подняв руку, он трагическим и величественным жестом указал на дверь и, задыхаясь, негодующе произнес:

— Убирайтесь вон!.. Убирайтесь вон... похитители душ... Убирайтесь вон, растлители совести...

Убирайтесь вон, не смейте вламываться в двери умирающего!..

Аббат отступал, за ним отступал к дверям и я, забив отбой вместе с духовенством, а две отмщенные толстухи, бросив недоеденный омлет, поднялись и стали по обе стороны кресла, положив руки на плечи дяде, чтобы успокоить его и защитить против преступных умыслов Семьи и Религии.

Мы с аббатом вернулись на кухню к маме. Мелани снова предложила нам сесть.

— Я заранее знала, что так просто дело не выйдет,— сказала она.— Нужно придумать что-нибудь другое, иначе он ускользнет от нас.

И снова началось совещание. Мама предлагала одно, аббат — другое, я — третье.

Мы препирались шепотом с полчаса, как вдруг страшный шум опрокидываемой мебели и крики дяди, еще более дикие и ужасные, чем раньше, заставили всех нас вскочить.

Сквозь двери и перегородки доносилось:

— Вон... вон... грубияны... мерзавцы... вон, негодяи... вон.. вон!..

Мелани бросилась в спальню дяди и тотчас вернулась, призывая меня на помощь. Я побежал туда. Дядя вопил, привстав от ярости с кресла, а прямо напротив него стояли один позади другого два человека, казалось, выжидавшие, когда он умрет от бешенства.

По длинному нелепому сюртуку, по узким английским ботинкам, по всей внешности, напоминавшей безработного учителя, по туго накрахмаленному воротничку, белому галстуку, прилизанным волосам, по смиренной физиономии лжесвященника ублюдочной религии я сразу узнал в первом из них протестантского пастора.

Второй же был привратник этого дома, по вероисповеданию лютеранин; выследив нас и убедившись в нашем поражении, он побежал за своим священником, рассчитывая на бóльшую удачу.

Дядя, казалось, обезумел от бешенства. Если вид католического аббата, священника его предков, вызвал у свободомыслящего маркиза де Фюмроля раздражение,

то лицезрение представителя религии собственного швейцара совершенно вывело его из себя.

Я схватил их за руки и вышвырнул вон с такой силой, что они дважды жестоко стукнулись друг о друга в дверях, выходивших на лестницу.

После этого я ретировался и вернулся в кухню, в наш главный штаб, посоветоваться с матерью и аббатом.

Но тут вбежала, рыдая, испуганная Мелани:

— Он умирает, он умирает... идите скорее... он умирает...

Мама вбежала в спальню. Дядя неподвижно лежал на полу, растянувшись во весь рост. Я был уверен, что он уже мертв!

Мама была великолепна в эту минуту! Она двинулась прямо на девиц, стоявших на коленях возле тела и пытавшихся его поднять. И властно, с достоинством, с непререкаемым величием показав им на дверь, она произнесла:

— Теперь извольте выйти отсюда!

И они вышли, не возражая, не сказав ни слова. Нужно прибавить, что я со своей стороны собирался выставить их не менее энергично, чем пастора и привратника.

Тогда аббат Пуаврон стал напутствовать дядю со всеми подобающими молитвами и отпустил ему грехи.

Мама рыдала, простершись возле брата.

Вдруг она воскликнула:

— Он узнал меня! Он пожал мне руку. Я уверена, что он узнал меня!.. И он поблагодарил меня!.. О боже, какое счастье!

Бедная мама! Если бы она поняла или догадалась, к кому и к чему должна была относиться эта благодарность!

Дядю положили на кровать. Теперь он был мертв бесспорно.

— Сударыня,— сказала Мелани,— у нас нет простынь, чтобы покрыть его. Все белье принадлежит этим дамам.

А я смотрел на омлет, который они так и не доели, и мне хотелось в одно и то же время и смеять-

ся и плакать. Бывают иногда в жизни странные минуты и странные переживания.

Мы устроили дяде великолепные похороны, пять речей было произнесено на его могиле. Сенатор барон де Круассель в возвышенных выражениях доказал, что господь всегда остается победителем в душах людей высокого рода, временно заблуждавшихся. Все члены роялистской и католической партии с энтузиазмом победителей шествовали в погребальной процессии, беседуя о столь прекрасной смерти после немного бурной жизни.

Виконт Роже замолчал. Вокруг смеялись. Кто-то сказал:

— Да! Это история всех обращений in extremis [1].

[1] В последние минуты жизни *(лат.)*

ЗНАК

Молодая маркиза де Реннедон еще почивала в запертой на ключ, благоухающей спальне, на огромной, мягкой, низкой кровати, среди легкого батистового белья, тонкого, как кружево, ласкающего, как поцелуй; она спала одна, безмятежно, счастливым и глубоким сном разведенной жены.

Голоса, ясно доносившиеся из маленькой голубой гостиной, разбудили ее. Она узнала свою близкую подругу, баронессу де Гранжери, которая хотела войти и спорила с горничной, не пускавшей ее в спальню.

Маркиза встала, отодвинула задвижку, повернула ключ и, подняв портьеру, высунула головку, одну только головку, окутанную облаком белокурых волос.

— Что случилось? — сказала она.— Почему ты пришла так рано? Еще нет и девяти.

Баронесса, чрезвычайно бледная и лихорадочно возбужденная, ответила:

— Мне нужно с тобой поговорить. Со мной случилось нечто ужасное.

— Входи же, дорогая.

Баронесса вошла, они расцеловались, и маркиза снова улеглась в постель, пока горничная открывала окна, впуская солнечный свет и воздух. Когда служанка вышла, г-жа де Реннедон промолвила:

— Ну, рассказывай.

Г-жа де Гранжери начала плакать, проливая те прелестные светлые слезинки, которые придают женщи-

нам еще больше очарования, и пролепетала, не вытирая их, чтобы не покраснели глаза:

— О, дорогая, то, что со мной случилось, омерзительно, омерзительно! Я не спала всю ночь, ни одной минуты; понимаешь, ни минутки! Послушай только, как у меня бьется сердце.

И, взяв руку подруги, она положила ее себе на грудь, на округленную и плотную оболочку женского сердца, которой мужчины часто довольствуются, не стремясь проникнуть глубже. Сердце у нее действительно билось очень сильно.

Она продолжала:

— Это случилось со мной вчера днем... часа в четыре... или в половине пятого. Не помню точно. Тебе хорошо знакома моя квартира; ты знаешь, что маленькая гостиная во втором этаже, та, где я чаще всего бываю, выходит на улицу Сен-Лазар. Ты знаешь также, что я страшно люблю сидеть у окна и смотреть на прохожих. Этот привокзальный квартал такой веселый, такой шумный, такой оживленный... Словом, я люблю все это! Ну, так вот вчера я сидела в низеньком кресле, которое велела поставить у окна; окно было открыто, и я не думала ни о чем, просто вдыхала прозрачный воздух. Помнишь, какой чудесный день был вчера!

Вдруг я замечаю, что на той стороне улицы, напротив меня, тоже сидит у окна женщина, женщина в красном платье; а я была в сиреневом, ты знаешь мое любимое сиреневое платье. Женщина была мне незнакома — какая-то новая жилица, поселившаяся там с месяц назад; так как целый месяц идет дождь, я еще ни разу ее не видела. Но я тут же заметила, что это девица дурного поведения. Сначала я была возмущена и шокирована тем, что она сидит у окна, так же, как я, но потом мало-помалу наблюдение за нею стало меня забавлять. Она сидела, облокотившись на подоконник, и высматривала мужчин, а мужчины тоже поглядывали на нее — все или почти все. Можно было подумать, что, подходя к дому, они уже каким-то образом были предупреждены или чуяли ее, как собака чует дичь: они внезапно подымали голову и обменивались с нею торопливым взглядом заговорщиков. Ее взгляд говорил: «Хотите?»

Их взгляд отвечал: «Нет времени», или: «В другой раз», или еще: «Нет ни гроша», или: «Убирайся, дрянь этакая!» Последнюю фразу произносили глаза почтенных отцов семейств.

Ты не можешь себе представить, как было забавно смотреть на ее уловки. или, вернее, на ее работу.

Иногда она внезапно закрывала окно, и я видела, как в подъезде исчезал какой-нибудь господин. Она вылавливала его, как рыбак ловит пескаря на удочку. Тогда я смотрела на часы. Они проводили вместе от двенадцати до двадцати минут — ни разу больше. Право, в конце концов она взволновала меня, эта паучиха. Притом она была недурна.

Я задавала себе вопрос: «Что она делает, чтобы ее понимали так легко, так быстро и вполне точно? Не подает ли она какого-нибудь знака головой или рукой в дополнение к взгляду?»

И я вооружилась театральным биноклем, чтобы разобраться в ее приемах! О, все было очень просто: сначала быстрый взгляд, потом улыбка, затем чуть заметное движение головой, как бы вопрос: «Не зайдете ли?» Но движение такое легкое, такое неопределенное, такое сдержанное, что действительно нужно быть на высоте искусства, чтобы уметь это делать, как она.

Я подумала: «А у меня вышло бы так же хорошо это движение головой снизу вверх, вызывающее и в то же время милое?» Она действительно проделывала это очень мило.

Я подошла к зеркалу и попробовала. Знаешь, дорогая, у меня это выходило лучше, гораздо лучше! Я была в восторге и опять вернулась к окну.

Теперь она не завлекла больше никого, бедная девушка, совсем никого. Решительно ей не везло. Как все-таки должно быть ужасно таким способом зарабатывать себе на хлеб,— ужасно, хотя порой и занятно: ведь среди мужчин, которых видишь на улице, встречаются далеко не уроды.

Теперь они все проходили по моему тротуару, и ни одного не было на ее стороне. Солнце повернуло к закату. Они проходили одни за другими, молодые, старые, брюнеты, блондины, седеющие, совсем седые.

Были среди них очень привлекательные, право,

очень привлекательные, дорогая, гораздо интереснее моего мужа, да и твоего, вернее, бывшего твоего мужа, ведь ты развелась. Теперь ты можешь выбирать!

Я подумала: «Сумею ли я, порядочная женщина, дать им знак, какой полагается?» И вот меня охватило безумное желание сделать этот знак, желание такое сильное, как каприз беременной... безудержное желание,— знаешь, одно из желаний... которым невозможно противиться! Со мной это бывает. Ну, не глупо ли это? Я думаю, что у нас, у женщин, души обезьян. Кстати, меня уверяли (один доктор говорил мне об этом), что мозг обезьяны очень походит на наш. Нам всегда необходимо кому-нибудь подражать. В первые месяцы брачной жизни мы подражаем нашим мужьям, если любим их, потом нашим любовникам, подругам, духовникам, если они нам нравятся. Мы заимствуем их манеру думать и говорить, их выражения, жесты — словом, все. Как это глупо!

В конце концов то, что мне очень хочется сделать, я всегда делаю!

И я решила: «Ну, хорошо,— попробую на одном, только на одном, просто так, чтобы посмотреть, как выйдет. Что может со мной случиться? Ничего! Мы обменяемся улыбками — и только, и я никогда больше его не увижу, а если и увижу, то он не узнает меня; если же узнает, я стану отрекаться — вот и все».

Начинаю выбирать. Мне хотелось найти кого-нибудь получше. Вдруг вижу: идет высокий блондин, очень красивый молодой человек. Ты знаешь, я люблю блондинов.

Я смотрю на него. Он смотрит на меня. Я улыбаюсь; он улыбается; я делаю это движение — о! едва-едва заметное; кивком головы он отвечает «да», и вот он уже входит, дорогая! Он входит в парадный подъезд нашего дома!

Ты не можешь себе представить, что со мной творилось в эту минуту! Право, я думала, что сойду с ума. О, какой ужас! Подумай только,— он сейчас заговорит с лакеем! А ведь Жозеф так предан моему мужу! Жозеф решит, что я давно знакома с этим господином.

Что было делать, скажи? Что делать? Сейчас, сию секунду он позвонит к нам! Что делать, скажи? Я ре-

шила, что лучше всего броситься ему навстречу, сказать, что он ошибся, умолять его уйти. Он сжалится над женщиной, над несчастной женщиной! Я помчалась к двери и открыла ее как раз в ту минуту, когда он прикасался к звонку.

Совершенно обезумев, я пролепетала:

— Уходите, сударь, уходите, вы ошиблись, я честная женщина, я замужем! Это ошибка, ужасная ошибка; я приняла вас за знакомого, на которого вы очень похожи. Сжальтесь надо мной, сударь!

Дорогая моя! В ответ он начинает смеяться и говорит:

— Отлично, кошечка. Знаешь, сказка мне эта давно знакома. Ты замужем, значит, два луидора вместо одного. Ты их получишь. Пойдем, показывай дорогу.

Он отстраняет меня, закрывает двери. Я стою перед ним, застыв от ужаса. Он целует меня, обнимает за талию и ведет в гостиную,— дверь туда оставалась отворенной.

Затем он осматривается кругом, словно судебный пристав, и заявляет:

— Черт возьми, да у тебя очень мило, очень шикарно. Видно, в кармане у тебя совсем уж пусто, если ты промышляешь окошком.

Я снова начинаю его умолять:

— Сударь, уйдите! Уйдите! Сейчас вернется муж! Он вернется сию минуту, он всегда возвращается в это время! Клянусь вам, вы ошиблись!

А он мне спокойно отвечает:

— Ну, крошка, будет кривляться. Если муж вернется, я дам ему пять франков, чтобы он пошел выпить чего-нибудь напротив.

Потом он увидел на камине фотографию Рауля и спрашивает:

— Это и есть твой... твой муж?

— Да, это он.

— Гнусная рожа. А это кто такая? Подруга?

Это была твоя фотография, дорогая, знаешь — в бальном туалете. Я уж не знала, что говорю, и пробормотала:

— Да, подруга.

— Она прехорошенькая. Ты меня с ней познакомь.

И вот часы бьют пять, а Рауль каждый день возвращается в половине шестого! Подумай только — что было бы, если бы он вернулся раньше, чем ушел этот человек! И вот... и вот... я потеряла голову... совершенно потеряла... я решила... решила... что... что самое лучшее будет... будет избавиться от него... как можно скорее... Чем скорее все это кончится... понимаешь... и вот... вот... раз уж это было необходимо... а это было необходимо, дорогая... без этого он не ушел бы... я... я... я... я заперла дверь гостиной... и... Ну и все...

Маркиза де Реннедон хохотала, как безумная, хохотала, уткнувшись в подушку, сотрясая всю кровать.

Немного успокоившись, она спросила:

— А... он был красивый?

— Ну да.

— И ты жалуешься?

— Но... Но видишь ли, дорогая... он сказал... что вернется завтра... в то же время... и я... я ужасно боюсь... Ты не можешь себе представить, до чего он настойчив... и своеволен... Что мне делать... скажи... что делать?

Маркиза уселась в постели, чтобы поразмыслить; потом неожиданно объявила:

— Вели его арестовать.

Баронесса была озадачена. Она пролепетала:

— Как? Что ты говоришь? Что ты придумала? Арестовать его? Но под каким предлогом?

— Очень просто. Отправляйся к полицейскому комиссару и скажи ему, что какой-то господин преследует тебя уже три месяца, что вчера он имел наглость ворваться к тебе, что он угрожал тебе снова явиться завтра и что ты требуешь защиты закона. Тебе дадут двух полицейских, которые его арестуют.

— Но, дорогая, а если он расскажет?..

— Глупенькая, ему же не поверят, в особенности, если ты как следует разукрасишь свою историю в разговоре с комиссаром. Поверят тебе: ведь ты — дама из безупречного круга.

— О, я ни за что не решусь!

— Нужно решиться, дорогая, иначе ты погибла.

— Подумай только, ведь... ведь он может оскорбить меня... когда его арестуют.

— Пускай, но у тебя будут свидетели, и его приговорят...

— Приговорят? К чему?

— К денежному штрафу. В таком случае нужно быть безжалостной!

— Ах, да, кстати о деньгах... меня ужасно угнетает одно обстоятельство... ужасно. Он оставил... два луидора... на камине.

— Два луидора?

— Да.

— Только и всего?

— Только.

— Мало. Меня бы это унизило. Ну, так что же?

— Что же! Как мне быть с этими деньгами?

Маркиза раздумывала несколько секунд, потом ответила серьезным тоном:

— Дорогая... нужно... нужно... сделать маленький подарок твоему мужу... это будет только справедливо.

Худ. Жюльян-Дамази. 1908. «ЗНАК».

Худ. Жюльян-Дамази. 1908. «БРОДЯГА».

ДЬЯВОЛ

Крестьянин стоял перед доктором у постели умирающей. Старуха, затихшая, покорившаяся, ясным взором смотрела на мужчин и слушала их разговор. Она умирала и не противилась этому: ее время прошло,— ей было девяносто два года.

Июльское солнце вливалось в открытые окна и дверь; пламенные потоки его лучей падали на темный земляной пол, весь в буграх и впадинах, выбитых деревянными башмаками четырех крестьянских поколений. В дуновениях жаркого ветра сюда долетали запахи полей, запахи трав, хлебов, листвы, палимых полуденным зноем. Звонко трещали кузнечики, и все вокруг было полно их отчетливого стрекотания, напоминавшего звук деревянных трещоток, которые продают на ярмарках ребятишкам.

Доктор, повысив голос, сказал:

— Оноре, нельзя оставлять вашу матушку одну, когда она в таком состоянии. С минуты на минуту она может умереть.

Но огорченный крестьянин твердил свое:

— А пшеницу-то нужно мне свезти? Уж больно она долго лежит в поле. Да и погода подходящая. Как по-твоему, матушка?

Умирающая, все еще во власти нормандской скупости, взглядом и выражением лица ответила «да»,— пусть сын возит пшеницу и оставит ее умирать в одиночестве.

Но доктор рассердился и топнул ногой:

— Знаете, вы просто скотина! Я не позволю вам делать это! И если уж необходимо свезти пшеницу именно сегодня, так пойдите, черт побери, за теткой Рапе, пусть она побудет с вашей матерью! Я, знаете, требую этого! А не послушаетесь, так я вас, знаете, оставлю подыхать, как собаку, когда вы сами заболеете!

Крестьянин, тощий верзила, медлительный в движениях, мучимый нерешительностью, животной страстью к скопидомству и боязнью перед доктором, колебался, высчитывал и наконец пробормотал:

— Сколько же берет тетка Рапе, чтобы присмотреть?

— А я почем знаю? — закричал доктор.— Смотря на какое время вы ее позовете. Сговоритесь с ней, черт возьми! Но я, знаете, требую, чтобы она была здесь через час!

Крестьянин решился.

— Иду, иду; зря гневаетесь, господин доктор

И врач ушел, прибавив:

— То-то, берегитесь; не до шуток будет, когда я рассержусь!

Когда он вышел, крестьянин повернулся к матери и покорно сказал:

— Пойду за теткой Рапе, раз уж он требует. Потерпи, покуда вернусь.

И тоже ушел.

Тетка Рапе, старуха-гладильщица, нанималась, кроме того, дежурить при покойниках и умирающих как в своей деревне, так и во всей округе. Но, зашив этих своих заказчиков в саван, из которого им уже не суждено было выбраться, она опять хваталась за утюг, чтобы гладить белье для живых. Сморщенная, как прошлогоднее яблоко, злая, привередливая, на редкость жадная и до того сгорбленная, что, казалось, от постоянного глажения полотна ее крестец переломился, она, как говорили, питала особенную, чудовищную и мерзкую страсть к зрелищу предсмертной агонии. Она вечно толковала о людях, умерших на ее глазах, о всевозможных случаях смерти, при которых ей приходилось присутствовать, и, рассказывая, старалась изложить дело во всех подробностях, всегда одних и тех

же, — точь-в-точь как охотник, рассказывающий о своих охотничьих приключениях.

Войдя к ней, Оноре Бонтан застал ее за разведением синьки для воротничков крестьянок.

— Добрый вечер, тетушка Рапе,— сказал он.— Ну, как дела?

Она обернулась к нему.

— Помаленьку, помаленьку. А у вас как?

— У меня-то все в порядке, только вот с матушкой плохо.

— С матушкой?

— Да.

— Что же с ней такое?

— Пришло время помирать.

Старуха вынула руки из воды; синеватые прозрачные капли стекали по ее пальцам, падая в корыто. С внезапным участием она спросила:

— Совсем плохо ей?

— Доктор говорит, что и дня не протянет.

— Ну, значит, плохо.

Оноре был в затруднении. Следовало повести разговор издалека, прежде чем приступить к делу, с которым он пришел. Но он ничего не мог придумать и сразу спросил:

— Сколько вы возьмете с меня, чтобы присмотреть за ней до конца? Мы ведь небогатые, сами знаете. И работницу не на что нанять. Оттого моя матушка и свалилась, что работала вовсю и уж очень уставала! За десятерых работала, хоть ей и девяносто два года. Старики работать умели!..

Тетка Рапе степенно ответила:

— У меня две цены: сорок су за день и три франка за ночь — это для богатых. Ну, а для прочих — двадцать су за день и сорок за ночь. С вас возьму двадцать и сорок.

Но крестьянин раздумывал. Он хорошо знал свою мать. Знал, какая она живучая, выносливая, крепкая. Она могла протянуть еще целую неделю, что бы там ни толковал доктор.

И он нерешительно сказал:

— Нет, уж лучше бы вы взяли с меня цену сразу за все, до самого конца. Так, чтобы с обеих сторон риск

был. Доктор говорит, что она скоро уберется. Если так, вам будет выгода, а мне убыток. Ну, а если она протянет до завтра или еще дольше,— моя выгода, а убыток для вас.

Сиделка с удивлением смотрела на него. Никогда еще ей не предлагали таких условий — сдельную плату. Она колебалась, прельщенная возможностью оказаться в барыше. Но потом заподозрила, что ее хотят надуть.

— Ничего не могу сказать, пока сама не увижу вашу матушку, — ответила она.

— Так пойдемте посмотрим.

Она вытерла руки и тотчас же отправилась с ним.

По дороге они не разговаривали. Она торопливо семенила, а он делал огромные шаги, словно каждую минуту собирался переступить через ручей.

Истомленные зноем коровы, лежавшие в поле, тяжело поднимали головы в сторону проходивших людей и слабо мычали, как бы выпрашивая свежей травы.

Подходя к дому, Оноре Бонтан пробормотал:

— А что, если все уже кончилось?

И бессознательное желание этого проявилось в самом звуке его голоса.

Но старуха и не собиралась умирать. Она по-прежнему лежала на спине, на своей убогой кровати, под лиловым ситцевым одеялом, сложив поверх него руки,— ужасающе худые, узловатые руки, походившие на странных животных, на каких-то крабов, скрюченные ревматизмом, усталостью и почти столетней работой, которую они выполняли.

Тетка Рапе подошла к кровати и принялась разглядывать умирающую. Она пощупала ей пульс, потрогала грудь, прислушалась к дыханию, задала ей вопрос, чтобы услышать ее голос, и долго еще присматривалась к ней, после чего вышла вместе с Оноре. Дело казалось ей ясным: старуха не переживет и ночи. Оноре спросил:

— Ну, что?

Сиделка ответила:

— А то, что она протянет еще дня два, а может, и три. Давайте мне шесть франков за все.

— Шесть франков! Шесть франков! — закричал он.— Да вы свихнулись? Говорю вам, что ей жить пять — шесть часов, не больше!

Они долго, с остервенением спорили. И так как сиделка хотела уйти, а время шло, а пшеница сама не могла сняться с места, то в конце концов он согласился.

— Ну, ладно, идет — шесть франков за все до выноса тела.

— Ладно, шесть франков.

И он, широко шагая, отправился к своей сжатой пшенице, лежавшей на земле под палящими лучами солнца.

Сиделка вошла в дом. Она принесла с собой работу, потому что возле умирающих и покойников все равно работала, не переставая, то для самой себя, то для нанявшей ее семьи, которая платила ей за это особо.

Вдруг она спросила:

— Вас хоть напутствовали, матушка Бонтан?

Крестьянка отрицательно мотнула головой, и святоша Рапе живо вскочила с места.

— Господи боже, да разве это возможно! Я позову господина кюре.

И она побежала к дому священника с такой быстротой, что мальчишки на площади, увидев, как она мчится, решили, что случилось какое-нибудь несчастье.

Священник облачился в стихарь и отправился в путь, предшествуемый мальчиком, который звонил в колокольчик, возвещая о шествии божества по спокойной и знойной равнине. Мужчины, работавшие вдали от дороги, снимали свои большие шляпы и стояли неподвижно, ожидая, пока белое одеяние исчезнет за какой-нибудь фермой; женщины, вязавшие снопы, выпрямлялись, чтобы перекреститься; черные куры в смятении бежали, переваливаясь, вдоль канав до какой-нибудь хорошо им знакомой дыры в изгороди, куда они внезапно исчезали; жеребенок, привязанный на лугу, испугался при виде стихаря и стал кружить на веревке и брыкаться. Мальчик-служка в красном облачении шел быстрым шагом; священник в четырехугольной

шапочке следовал за ним, склонив голову и шепча молитвы, а тетка Рапе тащилась позади, перегнувшись в три погибели, словно припадая к земле, и сложив руки, как в церкви.

Оноре видел издали, как они проходили.

— Куда это идет наш кюре? — спросил он.

Его работник, более сообразительный, ответил:

— Побожусь, что он — с причастием к твоей матери!

Крестьянин не удивился.

— Пожалуй, что и так.

И снова принялся за работу.

Старуха Бонтан исповедалась, получила отпущение грехов, причастилась, и священник отправился обратно, оставив женщин вдвоем в душной хижине.

Тогда тетка Рапе принялась разглядывать умирающую, соображая, долго ли протянется дело.

Наступал вечер; резкие дуновения посвежевшего воздуха шевелили на стене лубочную картинку, прикрепленную двумя булавками; небольшие занавески на окне, когда-то белые, а теперь пожелтевшие и засиженные мухами, точно хотели улететь, сорваться, исчезнуть вместе с душой старухи.

Она лежала неподвижно, открыв глаза, и, казалось, равнодушно ожидала смерти, такой близкой, но медлившей с приходом. Короткое дыхание вырывалось с легким свистом из ее сдавленной груди. Скоро это дыхание остановится совсем, и на земле станет одной женщиной меньше, и никто о ней не будет жалеть.

Когда стемнело, вернулся Оноре. Подойдя к постели, он увидел, что мать еще жива, и спросил: «Ну, что?» — как обычно спрашивал раньше, когда ей нездоровилось.

Потом он отпустил тетку Рапе, напомнив ей:

— Так завтра в пять, не опаздывайте.

Она подтвердила:

— Завтра в пять.

И действительно, она пришла на рассвете.

Перед уходом в поле Оноре ел суп, приготовленный им самим.

Сиделка спросила:

— Ну, как, отошла?

Он ответил с лукавой усмешкой в глазах:

— Пожалуй, ей даже полегчало.

И ушел.

Тетка Рапе забеспокоилась и подошла к умирающей: та была в прежнем положении. Она лежала бесстрастно, с открытыми глазами, тяжело дыша, сложив на одеяле сведенные руки.

Сиделка поняла, что так может протянуться и два дня, и четыре, и целую неделю; сердце этой скряги сжалось от ужаса, и в ней закипела яростная злоба против хитреца, который ее надул, и против старухи, которая не умирает.

Но она все-таки принялась за работу и стала ждать, устремив пристальный взгляд на сморщенное лицо матушки Бонтан.

Оноре вернулся позавтракать и казался довольным, почти веселым, потом ушел снова. С перевозкой пшеницы дело шло как нельзя лучше!

Тетка Рапе выходила из себя; каждая лишняя минута казалась ей теперь украденным у нее временем, украденными деньгами. Ее обуяло желание, сумасшедшее желание схватить эту старую клячу, эту старую ослицу, эту старую упрямую тварь за горло, слегка сжать его и остановить короткое быстрое дыхание, из-за которого она теряет время и деньги.

Но она подумала, что это опасно, и в голове у нее возник новый замысел.

— А что, вы уже видели дьявола? — спросила она, подойдя к кровати.

Старуха Бонтан прошептала:

— Нет.

Тогда сиделка пустилась болтать и рассказывать всякие небылицы, чтобы напугать умирающую, сознание которой ослабевало.

Дьявол появляется, по ее словам, всем умирающим за несколько минут до смерти. В руке у него метла, на голове котел, и он издает ужасные крики. Если вы его увидели, значит, дело кончено, жить осталось какой-нибудь миг. И она перечислила всех, кому дьявол являлся при ней в этом году,— Жозефену Луазель, Эвлали Ратье, Софи Паданьо, Серафиме Гропье.

Старуха Бонтан наконец забеспокоилась, зашевелилась, задвигала руками, стараясь так повернуть голову, чтобы видеть всю комнату.

Внезапно тетка Рапе исчезла в ногах кровати. Она достала из шкафа простыню и завернулась в нее; на голову надела котелок с тремя короткими согнутыми ножками, которые торчали, как рога; правой рукой схватила метлу, а левой — жестяное ведро и вдруг подбросила его вверх, чтобы оно, упав, загремело.

Ведро с грохотом ударилось об пол. Тогда сиделка вскочила на стул, приподняла занавеску, висевшую в ногах кровати, и, размахивая руками, грозя метлой, издавая пронзительные крики из-под котелка, закрывавшего ей лицо, предстала чуть живой старухе, словно черт из балагана.

Умирающая, с обезумевшим взглядом, вне себя, сделала сверхчеловеческое усилие, чтобы подняться и бежать; ее плечи и спина уже отделились от постели; но затем она снова упала, глубоко вздохнув. Это был конец.

И тетка Рапе спокойно водворила все по своим местам: метлу в угол возле шкафа, простыню в шкаф, котелок на очаг, ведро на полку, стул к стене. Потом профессиональным жестом закрыла выкатившиеся глаза умершей, поставила на постель тарелку, налила в нее святую воду, окунула туда веточку букса, висевшую над комодом, и, став на колени, с жаром принялась читать заупокойные молитвы, которые она благодаря своему ремеслу знала наизусть.

Когда Оноре вечером вернулся домой, он застал ее за молитвой и тотчас подсчитал, что она обставила его на двадцать су: ведь она провела здесь всего три дня и одну ночь, за что полагалось пять франков, а вовсе не шесть, которые он должен был ей уплатить.

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

— Еще бы мне не помнить этого ужина в крещенский сочельник во время войны! — воскликнул капитан граф де Гаран.

Я был тогда вахмистром в гусарском полку и уже недели две бродил разведчиком вокруг немецких передовых постов. Накануне мы зарубили несколько уланов и сами потеряли трех человек, в том числе беднягу Родвиля. Вы его хорошо помните — Жозефа де Родвиля.

А в самый сочельник капитан приказал мне взять с собой десять кавалеристов и с ними занять и удерживать всю ночь деревню Портрен, где за последние три недели произошло пять стычек. В этом осином гнезде не осталось неповрежденными и двадцати домов, в нем не нашлось бы и дюжины жителей.

И вот, взяв с собой десять гусар, я отправился в путь около четырех часов. К пяти мы добрались в кромешной тьме до первых домов Портрена. Я велел остановиться и приказал Маршá — вы хорошо знаете Пьера де Маршá, который потом женился на мадмуазель Мартель-Овлен, дочери маркиза де Мартель-Овлен, — пробраться одному в деревню и привезти мне донесение.

Я взял с собой только волонтеров, и все они были из хороших семей. На службе, знаете, приятно не иметь дела с мужланами. Этот Маршá был ловкач, каких мало, хитрый, как лисица, и гибкий, как змея. Он нюхом чуял пруссаков, как собака чует зайца, находил продо-

вольствие там, где мы без него умерли бы с голоду, и с непостижимым искусством добывал сведения у всех и каждого, и притом верные сведения.

Он вернулся минут через десять.

— Все в порядке,— сказал он.— Уже три дня здесь не было ни одного пруссака. Ну и мрачна же эта деревушка! Я разговаривал с монахиней, которая ухаживает за четырьмя или пятью больными в покинутом монастыре.

Я приказал двигаться дальше, и мы очутились на главной улице. Справа и слева смутно виднелись стены без крыш, едва заметные в глубокой тьме. Там и сям в окне поблескивал огонек: какая-нибудь семья осталась на месте, чтобы караулить свое полуразрушенное жилье, семья храбрецов или бедняков. Заморосил дождь, мелкий, холодный, и, не успев еще промокнуть, мы уже замерзли от одного его прикосновения к нашим плащам. Лошади спотыкались о камни, о балки, о мебель. Маршá спешился и вел нас, держа свою лошадь в поводу.

— Куда ты нас ведешь? — спросил я его.

Он отвечал:

— Я нашел жилье, и притом отличное!

Вскоре он остановился у небольшого буржуазного дома, сохранившегося в целости и наглухо запертого; дом выходил на улицу, позади него был сад.

Крупным булыжником, подобранным возле забора, Маршá сбил замок, взбежал на крыльцо, плечом и коленом высадил дверь, зажег огарок, который всегда носил в кармане, и провел нас в благоустроенное, уютное жилище местного богача, показывая дорогу с уверенностью, совершенно изумительной, словно он уже раньше жил в этом доме, хотя видел его впервые.

Двух человек мы оставили на дворе сторожить лошадей.

Толстяку Пондрелю, шедшему за ним, Маршá сказал:

— Конюшни должны быть налево; я приметил их, когда входил; поставь туда лошадей, они нам не понадобятся.

Потом повернулся ко мне:

— Ну, распоряжайся, черт побери!

Он всегда поражал меня, этот весельчак. Смеясь, я ответил:

— Я расставлю часовых на всех окраинах. Потом вернусь сюда.

Он спросил:

— А сколько человек ты берешь?

— Пятерых. В десять вечера их сменят другие.

— Отлично. Четверо, которых ты мне оставляешь, раздобудут провизию, займутся стряпней и накроют на стол. А я разыщу, где спрятано вино.

И вот я отправился обследовать пустынные улицы до самого выхода в поле, чтобы расставить часовых.

Через полчаса я вернулся. Маршá сидел, развалившись в большом вольтеровском кресле, с которого он снял чехол,— из любви к роскоши, как он выразился. Он грел ноги у камина, покуривая отличную сигару, аромат которой наполнял комнату. Он сидел один, опершись локтями о ручки кресла, втянув голову в плечи; глаза его сверкали, лицо разрумянилось и выражало полное довольство.

Из соседней комнаты доносился стук посуды. Блаженно улыбаясь, Маршá сказал:

— Дело идет на лад; в курятнике я отыскал бордо, под ступеньками крыльца — шампанское, а водку — пятьдесят бутылок самой лучшей — в огороде под грушевым деревом; оно при свете фонаря показалось мне что-то подозрительным. Из существенного у нас — две курицы, гусь, утка, три голубя и дрозд, которого мы нашли в клетке — только птица, как видишь. Сейчас все это готовят. Премилое местечко!

Я уселся против него. Огонь камина обжигал мне нос и щеки.

— Где ты достал дрова? — спросил я.

Он ответил:

— Дрова отличные — барский экипаж, карета. Это краска дает такое яркое пламя, прямо-таки пунш из масла и лака. Благоустроенный дом!

Я хохотал: очень уж забавен был этот плут!

— И подумать только, что сегодня крещенский сочельник! — продолжал он.— Я положил боб в гуся, но нет королевы,— вот досада!

— Досада,— как эхо, повторил я,— но что же я тут могу поделать?

— Отыскать их, черт возьми!

— Кого?

— Женщин.

— Женщин? Ты спятил!

— Нашел же я водку под грушей и шампанское под крыльцом, а ведь у меня не было никаких указаний. У тебя же имеется точная примета — юбка. Поищи, дружок!

У него было такое важное, серьезное и убежденное выражение лица, что я уже не понимал, шутит он или нет.

Я ответил:

— Признайся, Маршá, ты дуришь!

— Я никогда не дурю на службе.

— Но у какого же черта, по-твоему, я найду женщин?

— У какого тебе вздумается. Здесь, наверно, остались две — три женщины. Разыщи их и доставь.

Я поднялся. У огня становилось слишком жарко. Маршá спросил снова:

— Хочешь, я подам тебе мысль?

— Да.

— Пойди к кюре.

— К кюре? Зачем?

— Пригласи его ужинать и попроси привести с собой какую-нибудь женщину.

— Кюре! Женщину! Ха-ха-ха!

Маршá возразил с небывалой серьезностью:

— Я не шучу. Ступай к кюре, расскажи ему, в каком мы положении. Он, верно, сам умирает от скуки и охотно придет к нам. И скажи ему, что нам нужна, по крайней мере, одна женщина, но, разумеется, порядочная, так как все мы — светские люди. Он должен знать всех прихожанок, как свои пять пальцев. Если здесь есть подходящая для нас и если ты возьмешься за дело как следует, он тебе ее укажет.

— Послушай, Маршá, что ты болтаешь?

— Мой дорогой Гаран, все это ты можешь отлично устроить. Это будет даже забавно. Мы умеем себя держать, черт возьми, и блеснем прекрасными манера-

ми, проявим наивысший шик. Отрекомендуй нас аббату, рассмеши его, растрогай, плени и уговори!

— Нет, это невозможно!

Пододвинувшись ко мне, этот проказник, изучивший мои слабые струнки, продолжал:

— Подумай только, какой фокус устроить все это и как забавно будет об этом рассказывать! По всей армии пойдут толки. Это создаст тебе репутацию молодца.

Я колебался, авантюра соблазняла меня. Он продолжал:

— Решено, милейший. Ты начальник отряда, ты один можешь представиться главе местной церкви. Прошу тебя, отправляйся. После войны я воспою стихами эту историю в *Обозрении Двух Миров*, обещаю тебе. Ты должен сделать это ради твоих людей. Достаточно они потаскались с тобой за последний месяц.

Я поднялся и спросил:

— Где живет священник?

— Вторая улица налево. В конце ее ты увидишь проезд, а в конце проезда церковь. Возле нее дом священника

Когда я выходил, он крикнул мне вслед:

— Опиши меню, чтобы возбудить у него аппетит!

Я без труда разыскал домик священника возле большой неказистой кирпичной церкви. Когда я забарабанил кулаком в дверь, у которой не было ни молотка, ни колокольчика, громкий голос спросил изнутри:

— Кто там?

Я отвечал:

— Гусарский вахмистр.

Послышался стук засова, повернули ключ, и передо мной появился рослый пузатый священник, с грудью борца, с огромными ручищами, вылезавшими из засученных рукавов, краснощекий и явно благодушный человек.

Я отдал ему честь.

— Здравствуйте, господин кюре.

Он опасался грабителей и потому, увидев меня, ответил, улыбаясь:

— Здравствуйте, мой друг, войдите.

Я прошел за ним в маленькую комнату, где пол был из красных плиток и где в камине тлел слабый огонь, совсем не похожий на костер Марша́.

Предложив мне сесть, он спросил:

— Чем могу служить?

— Разрешите мне сначала представиться, господин аббат.

И я подал ему свою визитную карточку.

Он взял и прочел вполголоса:

— Граф де Гаран.

Я заговорил снова.

— Нас здесь одиннадцать человек, господин аббат: пятеро в карауле, а шестеро на постое у неизвестного нам жителя. Шестерых этих зовут: Гаран, находящийся перед вами, Пьер де Марша́, Людовик де Пондрель, барон д'Этрейи, Карл Масулиньи, сын художника, и Жозеф Эрбон, молодой музыкант. Я пришел просить вас от имени моих друзей и от себя оказать нам честь отужинать с нами. Сегодня крещенский сочельник, господин аббат, нам хотелось бы провести его повеселее.

Священник улыбнулся.

— Мне кажется, не такое сейчас время, чтобы веселиться,— заметил он.

Я отвечал:

— Мы все время сражаемся, сударь. За последний месяц погибло четырнадцать наших товарищей, а трое пали не далее как вчера. Что поделаешь,— война. Мы каждую минуту рискуем жизнью, так почему бы нам не рисковать ею весело? Мы французы, мы любим посмеяться и умеем смеяться всюду. Наши отцы смеялись и на эшафоте! Сегодня вечером мы хотели бы немного развлечься, как светские люди, а не как солдафоны,— вы понимаете меня? Разве это грех?

Он отвечал с живостью:

— Вы правы, мой друг, и я с большим удовольствием принимаю ваше приглашение.

И крикнул:

— Арманс!

Вошла старая крестьянка, скрюченная, сморщенная, страшная; она спросила:

— Что угодно?

— Сегодня я не обедаю дома, дочь моя.

— Ну, а где же вы обедаете?

— С господами гусарами.

Мне хотелось сказать: «Приходите вместе с вашей служанкой»,— чтобы посмотреть, какую рожу скорчит Маршá, но я не решился.

Я продолжал:

— Не знаете ли вы среди ваших прихожан, оставшихся в поселке, еще кого-нибудь, мужчину или женщину, кого бы я мог также пригласить?

Он задумался, стараясь припомнить, и объявил:

— Нет, никого не осталось!

Я настаивал:

— Никого?.. Ну, господин кюре, припомните. Было бы очень мило пригласить дам. Само собой разумеется, с мужьями. Кого? Ну, почем я знаю! Булочника с женой, лавочника... часовщика... сапожника... аптекаря с аптекаршей... у нас отличный ужин, вино, и мы были бы счастливы оставить по себе у местных жителей приятное воспоминание

Священник снова погрузился в долгое размышление, потом решительно заявил:

— Нет, никого не осталось!

Я рассмеялся:

— Черт возьми! Господин кюре, какая досада не иметь королевы — ведь у нас сегодня крещенский боб! Подумайте, припомните! Разве здесь нет женатого мэра, женатого помощника мэра, женатого муниципального советника, женатого учителя?..

— Нет, все дамы уехали.

— Как, нет ни одной приличной дамы с приличным супругом, которым мы могли бы доставить такое удовольствие? Ведь для них, в нынешних обстоятельствах, это было бы действительно большим удовольствием!

Вдруг священник расхохотался; он трясся всем телом в припадке неистового смеха и выкрикивал:

— Ха-ха-ха! Я устрою вам это дельце! Иисус Мария, устрою! Ха-ха-ха! Мы посмеемся, дети мои, хорошо посмеемся. И дамы будут очень довольны, я уверен, очень довольны. Ха-ха-ха!.. Где вы расположились?

Я объяснил, описав ему дом. Он понял:

— Отлично! Это дом господина Бертен-Лавай. Через полчаса я буду у вас с четырьмя дамами! Ха-ха-ха! С четырьмя дамами!!!

Не переставая хохотать, он вышел со мной и тут же покинул меня, повторяя:

— Так через полчаса, дом Бертен-Лавай.

Я поспешил домой, весьма озадаченный и заинтригованный.

— Сколько приборов? — спросил Маршá, увидев меня.

— Одиннадцать. Нас шестеро, господин кюре и четыре дамы.

Он был поражен. Я торжествовал.

Он повторял:

— Четыре дамы! Ты говоришь: четыре дамы?

— Да, четыре дамы.

— Настоящие женщины?

— Настоящие.

— Черт возьми! Прими мои поздравления.

— Принимаю. Я их заслужил.

Он вскочил с кресла, отворил дверь, и я увидел превосходную белую скатерть, покрывавшую длинный стол, на котором трое гусар в синих фартуках расставляли тарелки и стаканы.

— Будут женщины! — крикнул Маршá.

И трое мужчин пустились в пляс, аплодируя изо всех сил. Все было готово. Мы стали ждать. Прождали около часа. Упоительный аромат жареной птицы разносился по всему дому.

Удар в ставню заставил нас сразу вскочить. Толстяк Пондрель побежал открывать, и минуту спустя в дверях появилась старушка-монашенка. Худая, морщинистая, робкая, она поочередно раскланялась с четырьмя гусарами, изумленно смотревшими на нее. За ее спиной слышался стук палок по каменному полу прихожей, и как только она вошла в гостиную, я увидел, одну за другой, три старушечьих головы в белых чепцах; они появились, покачиваясь в разные стороны, кто налево, а кто направо. И перед нами, ковыляя, волоча ноги, предстали три богаделки, изувеченные болезнями, изуродованные старостью, три немощные калеки, единственные три пансионерки, еще способные выйти из бо-

гоугодного заведения, которым заведовала монахиня-бенедиктинка.

Она обернулась к своим подопечным, окинула их заботливым взором, затем, увидев мои вахмистерские нашивки, сказала мне:

— Я очень вам благодарна, господин офицер, за то, что вы подумали об этих бедных женщинах. У них мало радости в жизни, и ваше приглашение на ужин — для них и большое счастье и большая честь.

Я увидел кюре,— он стоял в темной прихожей и хохотал от всего сердца. Тогда и я засмеялся, особенно после того, как увидел физиономию Маршá. Потом, указав монахине на стулья, я сказал:

— Садитесь, сестра, мы горды и счастливы тем, что вы приняли наше скромное приглашение.

Она взяла три стула, стоявшие у стены, выстроила их в ряд перед камином, подвела своих богаделок, усадила их, отобрала у них палки, шали и сложила их в углу; затем, представляя нам первую, худую старуху с огромным животом, по всей вероятности, страдавшую водянкой, сказала:

— Это тетушка Помель; ее муж расшибся насмерть, свалившись с крыши, а сын умер в Африке. Ей семьдесят два года.

Потом указала на вторую — рослую женщину, у которой непрерывно тряслась голова:

— Это тетушка Жан-Жан, шестидесяти семи лет. Она почти слепая: во время пожара ей опалило лицо; кроме того, у нее обгорела правая нога.

И наконец показала на третью — карлицу с выпученными глазами, круглыми и тупыми, бегавшими во все стороны:

— Это Пютуа, блаженная. Ей только сорок четыре года.

Я поклонился всем трем женщинам, словно меня представили королевским высочествам, и, повернувшись к кюре, сказал:

— Господин аббат, вы замечательный человек, и мы все должны благодарить вас.

И в самом деле все смеялись, за исключением Маршá,— он был взбешен

— Сестра, кушать подано! — тотчас провозгласил Карл Масулиньи.

Я пропустил монахиню с кюре вперед, потом поднял тетушку Помель и, взяв ее под руку, потащил в соседнюю комнату, однако не без труда, потому что ее вздутый живот был, по-видимому, тяжелее металла.

Толстяк Пондрель подхватил тетушку Жан-Жан, которая со стонами просила дать ей костыль, а маленький Жозеф Эрбон занялся блаженной Пютуа и препроводил ее в столовую, где вкусно пахло жарким.

Как только мы уселись за стол, сестра трижды хлопнула в ладоши, и женщины точными движениями, как солдаты берут на караул, широко и быстро перекрестились. После этого священник не спеша прочитал полатыни *Benedicite*[1].

Все расселись, и на столе появились две курицы, принесенные Маршá, который предпочел прислуживать, чтобы только не принимать участия в этом нелепом ужине.

Но я крикнул: «Шампанского, живо!» Пробка хлопнула с треском пистолетного выстрела, и, несмотря на сопротивление кюре и монахини, три гусара, сидевшие возле трех калек, насильно влили им в рот по полному бокалу.

Масулиньи, отличавшийся способностью чувствовать себя повсюду как дома и ладить со всеми, самым забавным образом ухаживал за тетушкой Помель. Больная, сохранившая веселый нрав, несмотря на все свои несчастья, отвечала ему шутками; говорила она таким фальцетом, что он казался искусственным, и так громко смеялась веселым выходкам соседа, что казалось, ее огромный живот вот-вот вспрыгнет и покатится по столу. Маленький Эрбон всерьез решил подпоить идиотку, а барон д'Этрейи, не отличавшийся живостью ума, расспрашивал тетушку Жан-Жан о жизни, укладе и правилах богадельни.

Испуганная монахиня кричала Масулиньи:

— О, вы ее уморите, не смешите ее так, умоляю вас, сударь! О сударь...

Затем, вскочив с места, она бросилась к Эрбону, что-

---

[1] Благословите *(лат.)*.

бы вырвать у него из рук полный стакан, который он быстро вливал в рот Пютуа.

Кюре корчился от смеха, повторяя:

— Да оставьте, пусть выпьет разок. Ничего с ней не случится. Оставьте же.

Покончив с курами, принялись за утку, окруженную тремя голубями и дроздом, а затем появился дымящийся золотистый гусь, распространявший вокруг запах поджаренного жирного мяса.

Помель оживилась и захлопала в ладоши, Жан-Жан перестала отвечать на многочисленные вопросы барона, а Пютуа издавала радостное урчание, не то визг, не то стон, как маленькие дети, которым показали конфеты.

— Не позволите ли мне заняться этим зверем? — сказал кюре.— Я понимаю толк в этом деле.

— Ну, конечно, господин аббат.

А сестра прибавила:

— Что, если бы на несколько минут открыть окно? Им слишком жарко. Я боюсь, что они заболеют.

Я повернулся к Марша́:

— Открой на минутку окно.

Он отворил окно; ворвался холодный воздух, колебля пламя свечей и относя в сторону пар, поднимавшийся от гуся, у которого священник искусно отрезал крылышки, повязав себе салфетку вокруг шеи.

Мы смотрели на него, перестав разговаривать, увлеченные ловкой работой его рук и чувствуя новый прилив аппетита при виде того, как он разрывает на части жирную подрумяненную птицу и как куски падают один за другим в коричневую подливку.

И вдруг среди этой чревоугодливой тишины, поглотившей все наше внимание, в открытое окно донесся звук далекого ружейного выстрела.

Я вскочил так быстро, что стул мой отлетел в сторону.

— По коням! — крикнул я.— Марша́, возьми двух людей и узнай, в чем дело! Я жду тебя здесь через пять минут.

Три всадника понеслись галопом в ночь, я с двумя другими гусарами ждал их верхом, наготове, у крыльца дома, а кюре, монахиня и три богаделки испуганно высовывали головы из окон.

Вдалеке слышался только лай собак. Дождь прекратился, становилось холодно, очень холодно. И скоро я снова услышал галоп лошади, мчавшейся назад.

Это был Маршá. Я крикнул ему:

— Ну, что?

Он отвечал:

— Пустяки. Франсуа ранил старого крестьянина, который не ответил на окрик: «Кто идет?» — и продолжал идти, несмотря на приказ остановиться. Впрочем, его несут сюда. Сейчас разберемся.

Я велел снова поставить лошадей в конюшню, послал двух солдат навстречу остальным, а сам вернулся в дом.

Потом я, кюре и Маршá внесли в гостиную матрац для раненого; монахиня, разорвав салфетку, начала щипать корпию, а три растерявшиеся женщины уселись в углу.

Вскоре я услышал бряцание сабель, волочившихся по мостовой; я взял свечу, чтобы посветить людям, и они появились, неся нечто неподвижное, беспомощное, вытянувшееся и зловещее,— то, во что превращается человеческое тело, когда в нем иссякает жизнь.

Раненого положили на приготовленный для него матрац, и с первого же взгляда я убедился, что он умирает.

Он хрипел и плевал кровью; алые струйки вытекали из уголков его губ при каждом приступе икоты. Он весь был в крови! Щеки, борода, волосы, шея, одежда, казалось, были вымочены, прополосканы в чану с чем-то красным. Кровь запеклась на нем и потемнела, смешавшись с грязью, так что страшно было смотреть.

То был старик, одетый в широкий пастушеский балахон; время от времени он приоткрывал тусклые, погасшие, лишенные мысли глаза, словно отупевшие от удивления, как у подстреленных охотником птиц, когда они падают к его ногам, почти уже мертвые, и смотрят на него, обезумев от ужаса.

Кюре воскликнул:

— Ах! Ведь это старик Пласид, пастух из Мулена! Он глухой, бедняга, и ничего не слыхал. О боже мой, вы убили этого несчастного!

Расстегнув блузу и рубашку старика, сестра увидела на его груди маленькую фиолетовую дырочку, уже переставшую кровоточить.

— Ничего нельзя сделать,— сказала она.

Пастух, мучительно задыхаясь, при каждом своем предсмертном вздохе выплевывал сгустки крови, и в его горле и груди слышалось зловещее, непрерывное клокотание.

Кюре, стоявший над ним, поднял правую руку, перекрестил его и медленным, торжественным голосом начал читать по-латыни отходную.

Не успел он ее окончить, как старик дернулся в последнем коротком содрогании, словно внутри у него что-то порвалось. Он перестал дышать. Он был мертв.

Обернувшись, я увидел зрелище еще более страшное, чем агония этого несчастного: три старухи, отвратительные, с искаженными тоской и ужасом лицами, стояли, тесно прижавшись друг к другу.

Я подошел к ним, и они пронзительно закричали, пытаясь бежать, как будто я собирался убить их тоже.

Жан-Жан свалилась, растянувшись во весь рост на полу, потому что обгоревшая нога больше не держала ее.

Монахиня-бенедиктинка, оставив умершего, подбежала к своим калекам и, не сказав мне ни слова, не бросив взгляда, укутала их шалями, сунула им костыли, потащила к дверям, вывела из комнаты и исчезла вместе с ними в глубокой, беспросветной ночи.

Я понял, что нельзя даже послать гусара проводить их, так как один лязг сабли довел бы их до безумия.

Кюре, не отрываясь, смотрел на умершего.

Наконец он повернулся ко мне и сказал:

— Какая неприятная история!

В ЛЕСУ

Мэр садился завтракать, когда ему доложили, что полевой сторож ожидает его в мэрии с двумя арестованными.

Он тотчас же отправился туда и действительно застал там своего полевого сторожа, дядюшку Ошдюра, который с суровым видом караулил чету пожилых буржуа.

Мужчина, дородный отец семейства, красноносый, седой, казалось, чувствовал себя подавленным, тогда как женщина, разодетая по-праздничному, кругленькая, толстенькая мамаша с лоснящимися щеками, вызывающе смотрела на задержавшего их представителя власти.

Мэр спросил:

— Что случилось, дядюшка Ошдюр?

Полевой сторож дал следующие показания.

Он вышел утром в обычный час, чтобы сделать обход своего участка от леса Шампью до границы Аржантей. В поле он ничего особенного не заметил, за исключением того, что погода стоит прекрасная и хлеба всходят великолепно, но вдруг сын Бределей, который окучивал свой виноградник, крикнул ему:

— Эй, дядюшка Ошдюр, загляни-ка в кусты на опушке, в первом участке; увидишь там парочку голубков, которым вместе лет сто тридцать по крайней мере.

Сторож отправился, куда ему указали, вошел в ча-

щу и услыхал слова и вздохи, заставившие его заподозрить, что там совершается преступление против нравственности.

Тогда он подкрался на четвереньках, словно выслеживая браконьера, и арестовал вот эту парочку в тот самый момент, когда она давала волю своим инстинктам.

Мэр с изумлением рассматривал виновных. Мужчине было лет шестьдесят с хвостиком, ей — по крайней мере, пятьдесят пять.

Он приступил к допросу, начав с мужчины, который отвечал таким слабым голосом, что его с трудом можно было расслышать.

— Ваше имя?

— Николя Борен.

— Профессия?

— Торговец галантерейными товарами на улице Мучеников в Париже.

— Что вы делали здесь, в лесу?

Торговец молчал, опустив голову, уставившись на свой толстый живот и вытянув руки по швам.

Мэр продолжал:

— Вы отрицаете то, что утверждает представитель муниципальной власти?

— Нет, сударь.

— Значит, вы признаете это?

— Да, сударь.

— Что вы можете сказать в свою защиту?

— Ничего, сударь.

— Где вы встретились с вашей соучастницей?

— Это моя жена, сударь.

— Ваша жена?!

— Да, сударь.

— Тогда... тогда... вы, значит, не живете вместе... в Париже?

— Извините, сударь, мы живем вместе!

— Но... в таком случае... вы с ума сошли, совершенно с ума сошли, сударь, если вас застают при таких обстоятельствах, в открытом поле, в десять часов утра.

Торговец, казалось, готов был заплакать от стыда. Он пробормотал:

— Это она так хотела! Я ведь говорил ей, что это глупо. Но когда женщине взбредет что-нибудь в голову... вы сами знаете... ее не переспоришь.

Мэр, любитель галльского остроумия, улыбнулся и ответил:

— В данном случае, видимо, вышло немножко не так. Вас не было бы здесь, если бы это взбрело в голову ей одной.

Тогда г-на Борена обуял гнев, и он повернулся к жене:

— Видишь, до чего довела ты нас со своей поэзией? Ну, что ты на это скажешь? Того и гляди, мы попадем под суд,— в наши-то годы! — за безнравственность! И нам придется закрыть лавочку, потерять покупателей, переехать в другой квартал. Что ты скажешь?

Г-жа Борен встала и, не глядя на мужа, безо всякого замешательства, без ложного стыда и почти не запинаясь, начала давать объяснения:

— Боже мой! Господин мэр, я отлично знаю, что мы попали в смешную историю. Так уж дайте мне выступить в свою защиту как адвокату, или, вернее, как несчастной женщине, и я уверена, что вы сразу отпустите нас и избавите от позорного судебного разбирательства.

Давно уже, еще совсем молоденькой, в один из воскресных дней я познакомилась с господином Бореном как раз в этих местах. Он служил приказчиком в галантерейном магазине, я — продавщицей в магазине готового платья. Помню все это, как будто дело было только вчера. Время от времени я приезжала сюда по воскресеньям с подругой, Розой Левек: мы с ней вместе жили на улице Пигаль. У меня не было дружка, а у Розы был. Он-то и возил нас сюда. Однажды в субботу он сказал мне, смеясь, что завтра приведет с собою товарища. Я отлично поняла, что у него на уме, но ответила, что это бесполезно. Я была благонравной девушкой, сударь.

Все же на следующий день мы оказались в вагоне вместе с господином Бореном. В ту пору он был недурен собой. Но я твердо решила не уступать, да так и не уступила.

Приехали в Безон. Была чудесная погода, стояли такие дни, что на сердце становилось веселее. В хорошую погоду я и теперь еще становлюсь последней дурой, а стоит мне очутиться за городом, и я совсем теряю голову. Зелень, птички поют, нивы колышутся под ветром, ласточки проносятся так быстро, запах травы, маки, ромашки — все это сводит меня с ума! Это все равно как шампанское, если нет к нему привычки!

Так вот, был чудесный день, тихий, ясный; его отрада так и проникала в тело через глаза, с каждым взглядом, и через губы, с каждым вздохом. Роза и Симон поминутно целовались! Глядя на них, меня тоже начало разбирать. Мы с господином Бореном шли за ними; разговор у нас не вязался. Когда люди мало знакомы, не знаешь, о чем говорить. Он был робкий юноша, и мне нравилось его смущение. Так мы забрели в рощицу. Прохладно там было, как в купальне, и все уселись прямо на траву. Роза и ее дружок шутили над моим строгим видом, но, сами понимаете, не могла же я вести себя иначе. И вот они снова начали целоваться безо всякого стеснения, как будто нас и нет вовсе, и затем пошептались, поднялись и, не сказав ни слова, скрылись в кустах. Посудите сами, до чего неловко мне было перед молодым человеком, которого я видела в первый раз. Я так была смущена их уходом, что это даже придало мне храбрости, и я завязала разговор. Я спросила его, чем он занимается; он был приказчиком в галантерейном магазине, как я вам уже говорила. Мы поболтали несколько минут, он осмелел и уж хотел было позволить себе вольности, но я сразу осадила его, и очень круто к тому же. Правда, Борен?

Г-н Борен, смущенно созерцавший свои ноги, не ответил.

Она продолжала:

— Тогда он понял, что я благонравная девушка, и стал ухаживать за мной вежливо, как порядочный человек. Начиная с этого дня он приезжал каждое воскресенье. Он был очень влюблен в меня, сударь. И я тоже здорово влюбилась в него, здорово! Тогда он был хорош собой.

Короче говоря, в сентябре он женился на мне, и мы завели свою торговлю на улице Мучеников.

Долгие годы нам приходилось туго. Дела шли неважно; где уж было тратиться на поездки за город... Да и охота к этому у нас пропала. Мысли стали другие: в торговом деле больше думаешь о кассе, чем о любовных шалостях. Мало-помалу мы старели, не замечая этого, как спокойные люди, которые больше уж и не помышляют о любви. Пока не заметишь, чего тебе не хватает, об этом и не жалеешь.

Позднее, сударь, дела пошли лучше, и мы успокоились за будущее! Тогда-то вот и случилось со мной сама не знаю что, честное слово, не знаю!

Принялась я мечтать, как молоденькая пансионерка. Увижу тележку с цветами на улице, и слезы навертываются на глаза. Запах фиалок прямо преследовал меня, когда я сидела за кассой, и сердце от него начинало биться... Тогда я вставала и, подойдя к дверям, смотрела с порога на синеву неба между крышами. Когда смотришь на небо с улицы, оно напоминает реку: будто длинная убегающая вдаль река струится, извивается над Парижем, и ласточки скользят там, как рыбки. Конечно, глупо думать обо всем этом в моем возрасте! Но что поделать, сударь: всю жизнь работаешь, а потом наступает минута, когда видишь, что можно было жить как-то по-другому, и тогда начинаешь жалеть, и как еще жалеть! Подумайте только, ведь целых двадцать лет я могла бы вкушать поцелуи в лесу, как другие женщины! Я думала: хорошо бы лежать под листвой деревьев и любить кого-нибудь. И я думала об этом целые дни, целые ночи! До того истосковалась об игре лунного света на воде, что мне хотелось утопиться.

Первое время я и не смела заговорить об этом с Бореном. Я отлично знала, что он поднимет меня на смех и пошлет продавать те же иголки и нитки! Да и, сказать по правде, Борен уже не очень-то мне нравился; впрочем, смотрясь в зеркало, я понимала, что и сама больше никому не могу понравиться.

Но вот я набралась храбрости и предложила ему съездить за город в те места, где мы познакомились. Он согласился, ничего не подозревая, и вот мы приехали сегодня утром, около девяти.

Как только я очутилась среди хлебов, я почувствова-

ла, что все во мне перевернулось. Не стареет женское сердце! И, право, я уж видела мужа не таким, какой он теперь, но таким, каким он был прежде! Клянусь вам, сударь. Право, я просто опьянела. Я бросилась его целовать, и он удивился этому еще больше, чем если бы я захотела его убить. Он только твердил: «Да ты с ума сошла! Ты с ума сошла сегодня! Что тебя разбирает?..»

А я, я не слушала его, я слушала только свое сердце. И я повлекла Борена в лес... Ну и вот!.. Я говорю вам правду, господин мэр, истинную правду.

Мэр был человек умный. Он встал, улыбнулся и сказал:

— Идите с миром, сударыня, и не грешите больше... под листвою.

СЕМЕЙКА

Я ехал повидаться с моим другом Симоном Радвеном, с которым не встречался целых пятнадцать лет.

Когда-то это был мой лучший, задушевный друг — друг, с которым проводишь долгие вечера, и тихие и шумные, которому поверяешь сердечные тайны, для которого находишь в мирной беседе изысканные, тонкие, остроумные, изящные мысли, рождаемые той душевной близостью, что возбуждает ум и открывает ему полный простор.

В течение ряда лет мы были неразлучны. Мы вместе жили, путешествовали, думали, мечтали, любили одинаковой любовью одно и то же, восхищались одними и теми же книгами, понимали одни и те же произведения искусства, трепетали от одних и тех же ощущений и так часто вместе смеялись над одними и теми же людьми, что с одного взгляда вполне понимали друг друга.

Потом он женился. Женился неожиданно на молоденькой провинциалке, приехавшей в Париж искать жениха. Каким образом эта маленькая блондиночка, худая, с нескладными руками, пустыми светлыми глазами, звонким глупым голоском, похожая на сотню тысяч других кукол на выданье, каким образом подцепила она этого умного и тонкого человека? Но разве такие вещи доступны пониманию? Он, наверное, мечтал о счастье, простом счастье, тихом и длительном, в объятиях хорошей, нежной и верной жены, и оно вдруг

мелькнуло ему в прозрачном взгляде этой белобрысой девчонки.

Он не подумал, что человек деятельный, живой и впечатлительный неминуемо стоскуется в тисках пошлой жизни, если только не отупеет до такой степени, что перестанет что-либо понимать.

Каким я найду его? По-прежнему живым, умным, насмешливым и восторженным, или же провинциальная среда усыпила его? За пятнадцать лет человек может сильно измениться!

Поезд остановился на маленькой станции. Едва я вышел из вагона, какой-то толстый-претолстый краснощекий мужчина с круглым брюшком устремился ко мне и, раскрыв объятия, закричал: «Жорж!» Мы обнялись, хоть я его и не узнал. Потом я пробормотал с изумлением:

— Черт побери, ты не похудел!

Он ответил, смеясь:

— Что поделаешь? Хорошая жизнь, хороший стол, хороший сон! Ем и сплю—вот в чем мое существование!

Я всматривался в него, стараясь отыскать в этой расплывшейся физиономии любимые мною черты. Только глаза не изменились, но я не находил в них больше знакомого выражения и думал: «Если действительно взгляд — зеркало мысли, то в этой голове уже не те мысли, что были прежде, не те, что я знал так хорошо».

Хотя его глаза поблескивали весело и дружелюбно, в них больше не было того свечения ума, которое не меньше, чем речь, свидетельствует о силе интеллекта.

Вдруг Симон сказал мне:

— Ну, а вот двое моих старших.

Девочка лет четырнадцати, почти девушка, и тринадцатилетний мальчик в форме ученика коллежа, неловкие и застенчивые, приблизились ко мне.

Я пробормотал:

— Это твои?

Он ответил, смеясь:

— Ну да.

— Сколько же их у тебя?

— Пятеро! Трое младших остались дома.

Он сказал это с гордостью, удовлетворенно и почти торжествующе, и меня охватила вдруг глубокая жалость, смешанная со смутным презрением к этому горделивому и наивному производителю, который жил в своем провинциальном доме, как кролик в клетке, и ночами, в перерыве между двумя сновидениями, зачинал детей.

Я сел в коляску, которой правил он сам, и мы поехали по городу, скучному, сонному, унылому городу, где ничто не оживляло улиц, за исключением нескольких собак и двух — трех няпек. Время от времени какой-нибудь торговец, стоявший на пороге своей лавчонки, приподнимал шляпу; Симон отвечал на поклоны, называя мне каждого по имени,— вероятно, с целью показать, что знает, как зовут всех жителей. Мне пришло в голову, уж не подумывает ли он пройти в депутаты,— мечта всех, кого засосала провинция.

Мы быстро миновали город; коляска въехала в сад, притязавший называться парком, и остановилась у дома с башенками, старавшегося выдать себя за замок.

— Вот и моя берлога,— сказал Симон, напрашиваясь на комплимент.

Я ответил:

— Прекрасный дом!

На крыльце появилась дама, разряженная для гостей, причесанная для гостей, с готовыми для гостей фразами. Это была уже не прежняя белокурая вялая девочка, которую я видел в церкви пятнадцать лет тому назад, а полная дама в кудряшках и в оборках, одна из тех дам, у которых нет ни возраста, ни характера, ни изящества, ни ума,— ничего, что создает женщину. То была мамаша, толстая заурядная мамаша, наседка, производительница, машина плоти, которая рожает и не интересуется ничем, кроме своих детей и поваренной книги.

Она приветствовала меня, и я вошел в прихожую, где трое карапузов, выстроенные по росту, казалось, были выведены сюда на смотр, словно пожарные в ожидании мэра.

— Ага! Так это остальные? — воскликнул я.

Симон, сияя, назвал всех по именам:

— Жан, Софи и Гонтран.

Дверь в гостиную была отворена. Я направился туда и заметил нечто трепыхавшееся в кресле,— это был старый, парализованный человек.

Подошла г-жа Радвен:

— Мой дедушка, сударь. Ему восемьдесят семь лет.

Затем она крикнула дрожащему старцу в самое ухо:

— Это товарищ Симона, дедушка!

Предок сделал усилие, чтобы поздороваться со мной, и закудахтал: «Уа, уа, уа», помахав рукой. Я ответил: «Вы очень любезны, сударь!» — и в изнеможении опустился на стул.

Симон, войдя, засмеялся:

— Ха-ха! Так ты уже познакомился с нашим дедушкой? Это уморительный старичок, потеха для детей. Он лакомка, мой дорогой, и за каждой трапезой готов обожраться до смерти. Ты не представляешь, сколько бы он съел, если бы дать ему волю! Но ты увидишь, увидишь! Он делает глазки сладким блюдам, как барышням. Ничего забавнее тебе во всю жизнь не встретится, да, впрочем, сейчас ты сам увидишь.

Потом меня повели в отведенную мне комнату, чтобы я переоделся, так как наступал обеденный час. Поднимаясь по лестнице, я услышал громкий топот и обернулся. Все дети шли за мной целою процессией, позади отца,— несомненно, чтобы оказать мне честь.

Моя комната выходила на равнину, бесконечную, совершенно гладкую равнину, на целый океан травы, пшеницы и овса, без единой рощицы, без единого холма,— поразительное и печальное подобие той жизни, которую, должно быть, ведут в этом доме.

Прозвенел звонок: звали к обеду. Я спустился. Г-жа Радвен торжественно взяла меня под руку, и мы прошли в столовую. Слуга подкатил кресло парализованного; очутившись перед прибором, старик сразу бросил жадный, любопытный взгляд на десерт и с трудом поворачивал трясущуюся голову от одного блюда к другому.

Симон потирал руки. «Теперь ты позабавишься»,— сказал он мне. И все дети, поняв, что меня хотят угостить зрелищем дедушки-лакомки, дружно рассмеялись, а мать только улыбнулась, пожав плечами.

Радвен приставил руки рупором к губам и завопил в ухо старику:

— Сегодня у нас сладкий рис со взбитыми сливками!

Сморщенное лицо дедушки засияло, и он еще сильнее затрясся с головы до ног, желая показать, что понял и доволен.

Обед начался.

— Смотри,— зашептал Симон.

Дедушка не любил супа и отказывался есть. Его принуждали к этому здоровья ради; слуга насильно вливал ему в рот полную ложку, а старик энергично отфыркивался, чтобы не глотать бульона, который, таким образом, струей вылетал на стол и на соседей.

Дети хохотали в полном восторге, а их папаша, тоже чрезвычайно довольный, повторял:

— Правда ведь, забавный старик?

В течение всего обеда занимались только им. Он пожирал взглядом расставленные на столе блюда и трясущейся рукой старался схватить их и подвинуть к себе. Их ставили почти около него, чтобы полюбоваться тщетными усилиями паралличного, судорожным устремлением, отчаянною тягой к ним всего его существа — глаз, рта, носа, вдыхавшего запахи. От жадности у него на салфетку текли слюни, и он издавал какое-то урчание. Все семейство наслаждалось этой гнусной и чудовищной пыткой.

Потом ему на тарелку клали крохотный кусочек, и старик съедал его с лихорадочной прожорливостью, чтобы поскорее получить что-нибудь еще.

Когда подали сладкий рис, у него начались почти что конвульсии. Он стонал от желания.

Гонтран крикнул:

— Вы ели уже слишком много, сладкого не получите!

И хозяева сделали вид, что старику больше не дадут ничего.

Тогда он заплакал. Он плакал, дрожа все сильней и сильней, а дети хохотали.

Наконец ему принесли его порцию, крохотную порцию; когда он взял в рот первую ложечку, из его горла вырвался смешной и жадный звук, и он сделал дви-

жение шеей, как утка, заглатывающая слишком большой кусок.

Покончив со сладким, он начал топать ногами, чтобы получить еще.

Проникшись жалостью к пытке этого трогательного и смешного Тантала, я вступился за него:

— Дайте же ему еще немного риса!

— Нет, дорогой мой,— ответил Симон,— в его возрасте вредно есть слишком много.

Я замолчал, раздумывая над этим ответом. О мораль, о логика, о мудрость! В его возрасте! Значит, беднягу ради его же здоровья лишают единственного удовольствия, которое он еще способен ощутить. Здоровье! Да на что оно этой неподвижной, дрожащей развалине? Чтобы продлить его дни, как говорится. Его дни? Сколько же их осталось? Десять, двадцать, пятьдесят, сто? И зачем? Для него самого? Или затем, чтобы продлить для семьи зрелище его бессильной прожорливости?

Ему нечего было больше делать в этой жизни, нечего! Одно только желание осталось у него, одна радость; почему же не дать ему полностью эту последнюю радость? Даже если бы он и умер из-за нее!

Потом, после долгой игры в карты, я отправился к себе в комнату спать; мне было грустно, грустно, грустно!

Я подошел к окну. В саду слышалось только очень слабое, нежное и красивое щебетание птицы, сидевшей где-то на дереве. Птица баюкала свою самочку, заснувшую на яйцах, и тихо пела для нее среди ночи.

И я подумал о пятерых отпрысках моего бедного друга, который, должно быть, храпел в это время возле своей противной жены.

ИОСИФ

Молодая баронесса Андре де Фрезьер и молодая графиня Ноэми де Гардан были пьяны, совсем пьяны.

Они только что пообедали вдвоем в застекленной гостиной, выходящей на море. В отворенные окна вливался легкий, теплый и в то же время свежий ветер летнего вечера, сладостный ветер с океана. Молодые женщины, растянувшись на шезлонгах, потягивали теперь маленькими глотками шартрез, курили и поверяли друг другу свои сердечные тайны, те тайны, которые только это неожиданное приятное опьянение могло вызвать на их уста.

После завтрака мужья возвратились в Париж, оставив их одних в этом уединенном приморском местечке; мужья выбрали его, чтобы избежать праздных волокит, облюбовавших модные курорты. Отсутствуя пять дней в неделю, они боялись пикников, завтраков на свежем воздухе, уроков плавания и той внезапной короткости отношений, которая возникает в безделье курортной жизни. Дьепп, Этрета, Трувиль казались им опасными; они сняли в долине Роквиль, близ Фекана, дом, построенный и брошенный каким-то чудаком, и упрятали туда своих супруг на все лето. Дамы были навеселе. Не зная, что придумать для развлечения, баронесса предложила графине изысканный обед с шампанским. Сначала они немало позабавились тем, что сами готовили этот обед, потом весело пообедали и основательно выпили, чтобы утолить жажду, вызванную жаром плиты. Теперь они болтали и дружно плели вся-

кий вздор, покуривая, медленно смакуя шартрез. И, право, они уж сами хорошенько не понимали, что говорят.

Графиня полулежала, протянув ноги на спинку стула; она подвыпила еще больше, чем ее подруга.

— Чтобы как следует закончить такой вечер,— сказала она,— нам недостает поклонников. Если бы я предвидела это, то вызвала бы парочку их из Парижа и уступила бы тебе одного.

— Ну, я найду поклонника когда угодно,— возразила подруга.— Стоит только пожелать, и он будет у меня нынче же вечером.

— Да что ты! Это в Роквиле-то, милая? Только разве какой-нибудь мужлан.

— Нет, не совсем.

— Тогда расскажи!

— О чем же?

— Кто твой поклонник?

— Я не могу жить, дорогая, не будучи любимой. Если бы меня не любили, я бы, кажется, умерла.

— Я тоже.

— Не правда ли?

— Да! Мужчины не понимают этого! Особенно мужья!

— Совершенно не понимают. Да иначе и быть не может. Мы нуждаемся в любви, сотканной из баловства, милых шалостей, ухаживания. Это пища нашего сердца. Это необходимо для нашей жизни, необходимо, необходимо!..

— Необходимо.

— Мне надо чувствовать, что кто-то думает обо мне всегда, повсюду. Когда я засыпаю, когда просыпаюсь, мне надо знать, что меня где-то любят, мечтают обо мне, желают меня. Без этого я была бы несчастна, так несчастна! О, до того несчастна, что только плакала бы все время!

— Я тоже.

— Конечно, иначе и нельзя! Если даже муж и был нежен полгода, год или два, все равно он неизбежно становится извергом, да, настоящим извергом... Он уже ни в чем не стесняется, показывает себя во всей красе, устраивает сцены из-за счета, из-за каждого счета! Невозможно любить того, с кем живешь постоянно.

— Совершенно верно!

— Ты согласна?.. Впрочем, о чем это я? Совсем не помню.

— Ты говорила, что все мужья — изверги.

— Да, изверги... все!

— Конечно!

— Ну, а дальше?

— Что дальше?

— Что я говорила дальше?

— Не знаю, ты ничего еще не сказала.

— Но я хотела тебе что-то рассказать?

— Да, верно...

— А, вспомнила! Вот что!..

— Я слушаю.

— Я сказала, что всюду нахожу поклонников.

— Как ты это делаешь?

— Вот как. Слушай хорошенько. Приезжая на новое место, я сейчас же присматриваюсь и выбираю.

— Выбираешь?

— Ну да, черт возьми. Сначала я присматриваюсь. Осведомляюсь. Необходимо прежде всего, чтобы человек был не болтлив, богат и щедр. Не правда ли?

— Вот как?

— Потом нужно, чтобы он мне нравился как мужчина.

— Разумеется!

— Тогда я его приманиваю.

— Приманиваешь?

— Да, точь-в-точь, как делают, когда ловят рыбу. Ты никогда не удила?

— Нет, никогда.

— Напрасно. Это очень весело. И, кроме того, поучительно. Так вот, я его приманиваю...

— А как ты это делаешь?

— Что за вопрос! Глупая! Разве мы не привлекаем любых мужчин, каких хотим, не предоставляя им выбора? И они еще воображают, что выбирают сами... дураки... а выбираем всегда мы!.. Ты подумай: ведь если женщина недурна и неглупа, как мы с тобой, например, на нее имеют притязания все мужчины, все, без исключения. Ну, а мы присматриваемся к ним с утра и до вечера, и когда наметим кого-нибудь, то приманиваем!

— Но все-таки как ты это делаешь?

— Как делаю?.. Да я ничего не делаю. Только позволяю смотреть на себя — и все.

— Позволяешь смотреть на себя?..

— Ну да. Этого достаточно. Когда позволишь несколько раз хорошенько посмотреть на себя, мужчина сразу же находит, что ты самая хорошенькая и соблазнительная из всех. Тогда он начинает за тобой ухаживать. Я же даю ему почувствовать, что и он недурен, разумеется, не говоря ему этого. Ну, он и влюбляется по уши. А уж тогда он в моих руках. Это продолжается более или менее долго, смотря по его качествам.

— И так ты ловишь всех, кого захочешь?

— Почти всех.

— Значит, бывают и такие, что сопротивляются?

— Иногда.

— Почему?

— О!.. Почему? Иосифами бывают по трем причинам. Потому что влюблены в другую. Потому что чрезмерно робки и потому что... как бы это сказать... потому что не способны довести победу над женщиной до конца...

— О, дорогая!.. Ты думаешь?..

— Да... да... Я в этом уверена. Мужчин последнего рода много, очень много... гораздо больше, чем думают. На вид они такие же, как все... так же одеты... И еще пыжатся, как павлины... Но я напрасно назвала их павлинами: распустить перья они как раз и не могут...

— О, дорогая!..

— Что же касается робких, то они иногда непреодолимо глупы. Они бывают так стыдливы, что не решаются раздеться, когда в их комнате есть зеркало, даже если им предстоит спать в полном одиночестве. С такими нужно быть поэнергичнее, прибегать к многозначительным взглядам, рукопожатиям. Но иной раз и это бесполезно. Они никогда не знают, с чего и как начать. Если в их присутствии падаешь в обморок,— а уж это — крайнее средство! — они приводят тебя в сознание... А помедли только прийти в себя... так они побегут за доктором... Я предпочитаю влюбленных в других женщин. Этих я беру штурмом... прямо... прямо... в штыки, моя дорогая!

— Все это хорошо, ну, а если нет мужчин, как здесь, например?

— Я их нахожу.

— Находишь? Где же?

— Везде. Кстати, ты напомнила мне о том, что я хотела рассказать. Два года тому назад я, по настоянию мужа, проводила лето в его имении Бугроль. Там не было никого... ну, понимаешь, совсем, совсем никого! В окрестных поместьях — какие-то противные олухи, охотники на зверя и птицу; живут в замках без ванн, вечно потеют, да так и заваливаются спать, не помывшись, и невозможно их исправить, до того они нечистоплотны, принципиально нечистоплотны. Ну-ка, догадайся, что я сделала?

— Не догадываюсь

— Ха-ха-ха! Я прочитала кучу романов Жорж Санд, где она превозносит простолюдина, романов, где все труженики благородны, а все светские люди — преступники. Прибавь к тому же, что прошлой зимой я видела «Рюи Бласа» и эта пьеса произвела на меня огромное впечатление. Ну вот, у одного из наших фермеров был сын, красивый юноша, лет двадцати двух, сначала он учился на священника, а потом ему это надоело, и он бросил семинарию. Так я и взяла его к себе в качестве лакея!

— О! А дальше?..

— Дальше... дальше, дорогая, я обращалась с ним очень пренебрежительно и показывала ему себя, не стесняясь, во всех видах. Этого дикаря я не стала приманивать, его я просто разожгла!..

— Андре!

— Да, и меня это даже забавляло. Говорят, с прислугой нечего стесняться. Я с ним и не стеснялась. Я звонила, чтобы он являлся за приказаниями каждое утро, когда горничная одевала меня, а также каждый вечер, когда она меня раздевала.

— Андре!

— Он, милочка, запылал, как соломенная крыша. Тогда за столом я стала разговаривать только о чистоплотности: об уходе за телом, о душах, о купании. Результаты были столь удачны, что спустя две недели он утром и вечером купался в реке и до того душился, что

отравлял весь дом. Я даже вынуждена была запретить ему духи, сердито заметив, что мужчины должны обходиться только одеколоном.

— Андре!

— Затем мне пришло в голову устроить сельскую библиотеку. Я выписала несколько сот нравоучительных романов и стала наделять ими всех наших крестьян и своих слуг. В мою библиотеку проскользнуло несколько книг... несколько... поэтических книг... таких, что будоражат воображение... пансионеров и учеников коллежей... Я давала их моему лакею. Это позволило ему познакомиться с жизнью... с особой стороной жизни...

— Андре!

— Затем я стала обращаться с ним запросто, начала говорить ему «ты». И прозвала его Иосифом. Дорогая, он был в таком состоянии... в ужасном состоянии!.. Он исхудал, как... как петух... и только вращал безумными глазами. Я от души забавлялась. Это был один из моих лучших летних сезонов.

— А потом?

— Потом... Да... Ну вот, однажды, когда мужа не было дома, я велела моему Иосифу заложить коляску и поехать со мной в лес покататься. Было жарко, очень жарко... Ну... и все!

— О, Андре, расскажи подробнее... Это так интересно!

— Хорошо, но выпей еще рюмочку шартреза, а не то я одна кончу весь графинчик. Так вот, мне дорогой сделалось дурно.

— Как это?

— До чего ты глупа! Я сказала ему, что чувствую себя плохо, и попросила перенести меня на траву. Очутившись на траве, я стала задыхаться и приказала расшнуровать меня. А когда он меня расшнуровал, я потеряла сознание.

— Совсем?

— О нет, не совсем.

— Ну?..

— Ну, мне пришлось почти час пролежать без сознания! Он все не находил лекарства. Но я была терпелива и открыла глаза только после его падения.

— О, Андре!.. Что же ты ему сказала?

— Я?.. Ничего! Ведь я же ничего не знала, раз я была без сознания. Я его поблагодарила. Велела посадить меня в коляску, и он отвез меня в замок. Только едва не вывалил, огибая ограду.

— Андре!.. И это все?..

— Все...

— Ты только раз теряла сознание?

— Конечно, только раз! Я вовсе не хотела делать этого увальня своим любовником.

— Ты его долго держала после этого?

— Да он и сейчас при мне. Чего ради его рассчитывать? Мне не в чем его упрекнуть.

— Андре! И он по-прежнему влюблен в тебя?

— Еще бы!

— Где же он?

Баронесса протянула руку и нажала кнопку звонка. Дверь отворилась почти сейчас же, и в комнату вошел высокий лакей, распространяя сильный запах одеколона.

— Иосиф,— сказала баронесса,— я боюсь, что мне станет дурно, пошли ко мне горничную.

Лакей стоял неподвижно, как солдат перед офицером, не сводя пылающего взора со своей госпожи, пока та не добавила:

— Ну иди же скорей, дуралей, мы не в лесу сегодня! Розали поможет мне лучше тебя.

Он повернулся на каблуках и вышел.

Графиня испуганно спросила:

— Но что ты скажешь горничной?

— Скажу, что все прошло! Нет, мне все же надо расшнуровать корсет. Это освободит грудь, и будет легче дышать. Я пьяна... милочка... так пьяна, что если встану, не удержусь на ногах.

ГОСТИНИЦА

Подобно всем деревянным гостиницам, расположенным высоко в Альпах у подножия ледников, среди скалистых и голых ущелий, пересекаемых белыми кряжами гор, гостиница Шваренбах служит пристанищем для путешественников, которые направляются через проход Жемми.

В течение полугода, пока она бывает открыта, там живет семья Жана Хаузера; когда же снег заваливает долину и спуск к Лоэшу становится непроходимым, женщины, отец и трое сыновей уходят, оставляя в качестве сторожа старого проводника Гаспара Хари вместе с молодым проводником Ульрихом Кунси и большой горной собакой Самом.

В этой снежной тюрьме двое мужчин и собака живут до самой весны, ничего не видя, кроме огромного белого склона Бальмхорна, окруженные бледными и сияющими вершинами, запертые, осажденные, погребенные под снегом, который вздымается вокруг них, обступает, сдавливает, сжимает маленький дом, скопляется на крыше, застилает окна и заваливает дверь.

Настал день, когда семья Хаузер должна была возвратиться в Лоэш; надвигалась зима, и спуск становился опасным.

Трое сыновей ушли вперед, сопровождая трех мулов, нагруженных разными пожитками и мелкой кладью. Немного погодя мать, Жанна Хаузер, и дочь, Луиза, взобрались на четвертого мула и тоже пустились в путь.

Следом за ними шел отец с двумя сторожами, которые должны были проводить семью до начала спуска.

Сперва они обогнули маленькое, уже замерзшее озерцо на дне огромного скалистого провала, который начинается перед самой гостиницей, потом пошли по белой, как полотно, долине, окруженной со всех сторон снежными вершинами.

Целый потоп солнечных лучей низвергался на эту белую блистающую ледяную пустыню, зажигая ее слепящим, холодным огнем; ни признака жизни не видно было среди этого океана гор, ни малейшего движения в этой бесконечной пустыне, ни звука, который нарушил бы глубокое безмолвие.

Мало-помалу молодой проводник, Ульрих Кунси, рослый, длинноногий швейцарец, обогнал Хаузера-отца и старика Гаспара Хари, чтобы приблизиться к мулу, на котором ехали женщины.

Младшая из них следила за его приближением и словно подзывала его печальным взглядом. То была юная белокурая крестьянка; ее щеки молочной белизны и тусклые волосы, казалось, обесцветились от долгого пребывания среди ледников.

Подойдя к мулу, на котором она сидела, Ульрих положил руку на его круп и замедлил шаг. Хаузер-мать обратилась к нему с бесконечными подробностями принялась повторять наставления относительно зимовки. Ему в первый раз предстояло остаться там, наверху, а старый Хари провел уже четырнадцать зим среди снегов в гостинице Шваренбах.

Ульрих Кунси слушал, видимо, ничего не понимая, и, не отрываясь, смотрел на девушку. Время от времени он повторял: «Хорошо, госпожа Хаузер». Но его мысль, казалось, была далеко, а спокойное лицо оставалось бесстрастным.

Они достигли озера Даубе, продолговатая, обледенелая и совершенно плоская поверхность которого простиралась в глубине долины. Направо Даубенхорн выставлял свои черные островерхие утесы — рядом с огромными моренами Леммернского ледника, над которым навис Вильдштрубель.

Когда они подходили к перевалу Жемми, откуда начинается спуск к Лоэшу, перед ними сразу открылся

необъятный горизонт Валесских Альп, отделенный от них глубокой и широкой долиной Роны.

Под солнцем сверкало множество белых вершин разной высоты, то приземистых, то заостренных: двурогий Мишабель, мощный массив Висехорна, тяжелый Бруннегхорн, высокая и зловещая пирамида человекоубийцы Сервена и чудовищный щеголь Белый Зуб.

А внизу, в неизмеримом провале, в глубине какой-то страшной пропасти, они увидели Лоэш; домики там казались песчинками, рассыпанными по огромной расщелине, которая открывается на долину Роны, а заканчивается и замыкается перевалом Жемми.

Мул остановился у начала тропинки, фантастической и чудесной, которая, змеясь и извиваясь во все стороны, спускается по крутой горе до деревушки, почти незаметной у ее подножия. Женщины спрыгнули на снег.

Старики подошли к ним.

— Ну, прощайте, друзья,—сказал Хаузер-отец,—мужайтесь. До весны.

Хари ответил:

— До весны.

Они поцеловались. Г-жа Хаузер тоже подставила щеку остающимся, и девушка последовала ее примеру. Прощаясь, Ульрих Кунси шепнул на ухо Луизе: «Не забывайте тех, кто остался наверху». Она так тихо ответила: «Хорошо»,— что он скорее догадался, чем услышал.

— Ну, прощайте же,— повторил Жан Хаузер.— Будьте здоровы.

И он начал спускаться впереди женщин.

Вскоре все трое исчезли за первым поворотом дороги.

Проводники повернули к гостинице Шваренбах.

Они шли медленно, рядом, не разговаривая. Конечно, они остались вдвоем на четыре или на пять месяцев.

Потом Гаспар Хари начал рассказывать, как он проводил прошлую зиму. Он жил с Мишелем Канолем, слишком уже старым теперь, чтобы зимовать здесь: мало ли что может случиться во время такого долгого уединения. Впрочем, они не скучали; все дело в том,

чтобы сразу примириться с положением, а в конце концов всегда найдешь, чем развлечься; придумаешь игры и разные забавы, чтобы заполнить время.

Ульрих Кунси слушал его, потупившись, мысленно следя за теми, кто сейчас спускается к поселку по всем извилинам Жемми.

Скоро они увидели гостиницу, маленькое, почти незаметное черное пятнышко у подножия огромного снежного гребня.

Когда они открыли дверь, Сам, большой кудлатый пес, принялся скакать около них.

— Ну, сынок,— сказал Ульриху старый Гаспар,— теперь уж у нас нет женщин; нужно готовить обед; тебе придется начистить картошки.

И, усевшись на деревянные табуретки, они начали готовить похлебку.

Утро следующего дня показалось Ульриху Кунси очень долгим. Старый Хари курил и сплевывал в очаг, а юноша смотрел в окно на гору, сверкавшую перед домом.

После обеда он вышел и, отправившись той же дорогой, что и вчера, принялся искать на снегу следы мула, увозившего женщин. Дойдя до перевала Жемми, он растянулся на животе у края пропасти и стал смотреть на Лоэш.

Деревушка, расположенная на дне скалистого колодца, еще не была погребена под снегом, хотя снег почти добрался до нее; путь ему преградил сосновый лес, защищавший окраину деревушки. Ее низенькие дома казались сверху булыжниками, разбросанными по полю.

Луиза Хаузер теперь была там, в одном из этих сереньких домишек. В котором? Ульрих находился слишком далеко, чтобы различить каждый из них в отдельности. Как хотелось ему спуститься вниз, пока еще было можно!

Но солнце исчезло за огромной вершиной Вильдштрубеля, и молодой человек вернулся домой. Старик Хари курил. Увидев возвратившегося товарища, он предложил ему сыграть в карты, и они уселись за стол друг против друга.

Они играли долго в несложную игру, именуемую «бриск»; потом, поужинав, легли спать.

И потянулись дни, похожие на первый: холодные, ясные, без снега. Старый Гаспар после обеда подкарауливал орлов и редких птиц, которые отваживались парить над льдистыми вершинами, а Ульрих неизменно отправлялся к перевалу Жемми смотреть на поселок. Потом они играли в карты, в кости, в домино, выигрывая и проигрывая разные пустяки, чтобы придать интерес игре.

Однажды утром Хари, вставший первым, окликнул своего сожителя. На них и вокруг них белой пеной опускалось зыбкое, глубокое и легкое облако, бесшумно и постепенно погребая их под плотной, тяжелой периной. Так длилось четыре дня и четыре ночи. Пришлось расчищать двери и окна, пробивать проход и вырубать ступеньки, чтобы подняться на этот покров ледяной пыли, которая за двенадцать часов мороза стала крепче гранита морен.

Тогда они зажили как пленники, не решаясь выходить из своего жилища. Они разделили обязанности и строго их выполняли. Ульрих Кунси прибирал и мыл, взяв на себя всю заботу о чистоте. Он же колол дрова, а Гаспар Хари готовил пищу и следил за топкой. Эта работа, размеренная и однообразная, сменялась долгой игрой в карты или в кости. Они никогда не ссорились, так как оба были спокойны и добродушны. Никогда не обнаруживали даже досады или плохого настроения и не говорили друг другу колкостей, потому что заранее запаслись покорностью на весь срок зимовки в горах.

Иногда старый Гаспар брал ружье и отправлялся на охоту; время от времени ему удавалось убить серну. Тогда в гостинице Шваренбах бывал настоящий пир, праздник свежего мяса.

Однажды утром он отправился на охоту. Термометр показывал восемнадцать градусов мороза. Солнце еще не вставало, и охотник надеялся застигнуть животных на уступах Вильдштрубеля.

Ульрих, оставшись один, провалялся до десяти часов. Он любил поспать, но не смел давать волю своей склонности в присутствии старого проводника: Гаспар, всегда бодрый, вставал очень рано.

Он неторопливо позавтракал с Самом, который так-

же проводил дни и ночи в дремоте перед огнем; затем ему стало грустно, даже страшно от одиночества, и потребность обычной партии в карты овладела им с такой силой, с какой вспыхивает желание, порожденное непобедимой привычкой.

Тогда он вышел из дому навстречу своему товарищу, который должен был вернуться к четырем часам.

Снег выровнял всю глубокую долину, завалив расщелины, засыпав оба озера, запушив утесы; между огромных вершин образовалась как бы огромная лохань, белая, правильно закругленная, ослепительная, обледенелая.

Уже целых три недели Ульрих не возвращался к краю пропасти, откуда он смотрел на деревушку. Ему захотелось побывать там, прежде чем начать взбираться по склонам, ведущим к Вильдштрубелю. Лоэш теперь тоже лежал под снегом, и дома, погребенные под этой белой пеленой, были почти неразличимы. Потом, повернув направо, он добрался до ледника Леммерн. Он шел обычным широким шагом горца, постукивая железным наконечником палки по снегу, твердому, словно камень. И зоркими глазами он старался найти вдали, на этой безграничной пелене, движущуюся черную точку.

У края ледника он остановился и задал себе вопрос, действительно ли старик отправился этой дорогой; затем он пошел вдоль морены более беспокойным и быстрым шагом.

Вечерело; снег розовел; сухой леденящий ветер проносился порывами над его хрустальной поверхностью. Ульрих издал призывный крик, пронзительный, долгий, дрожащий. Звук его голоса улетел в мертвое безмолвие спящих гор, промчался вдаль над неподвижными, глубокими волнами ледяной пены, словно крик птицы над волнами моря, потом замер, и ничто не ответило ему.

Ульрих снова пустился в путь. Солнце зашло позади вершин, еще обагренных отблесками заката, но глубь долины темнела. И юноше вдруг стало страшно. Ему показалось, что молчание, холод, одиночество, зимний смертный сон этих гор проникают в него, что они оста-

новят и остудят его кровь, заморозят тело, превратят его в неподвижное окоченелое существо. И он побежал в сторону своего жилища. Старик, думалось ему, уже возвратился домой: он шел другой дорогой, а теперь греется перед камином, и убитая серна лежит у его ног.

Вскоре стала видна гостиница. Но дымок не подымался из трубы. Ульрих побежал быстрее, открыл дверь. Сам, ласкаясь, бросился к нему, Гаспара Хари не было.

Растерявшись, Кунси озирался вокруг, словно рассчитывая обнаружить товарища где-нибудь в углу. Потом он развел огонь и приготовил суп, все еще надеясь, что старик вернется.

Время от времени он выходил взглянуть, не покажется ли Гаспар. Наступила ночь, белесоватая горная ночь, иссиня-бледная, освещенная на краю горизонта тонким желтым серпом месяца, готового скрыться за вершинами.

Ульрих снова входил в дом, присаживался, отогревал руки и ноги и принимался размышлять о возможных несчастных случаях.

Гаспар мог упасть в яму, поскользнуться и вывихнуть или сломать себе ногу. И он лежит теперь в снегу, коченеет от холода, изнемогает и в отчаянии, быть может, кричит изо всех сил о помощи в ночной тишине.

Но где он? Горная цепь так огромна, так сурова, так опасна, в особенности теперь, зимой, что потребовалось бы десять, двадцать проводников и целая неделя поисков по всем направлениям, чтобы найти человека в этой беспредельности.

Ульрих Кунси решил, однако, отправиться на розыски с Самом, если Гаспар Хари не вернется к полуночи или к часу.

И он принялся за сборы.

Он положил в мешок съестных припасов на два дня, взял железные крючья, обмотал вокруг пояса длинную тонкую и крепкую веревку, проверил, в порядке ли окованная железом палка и кирка, которой вырубают ступеньки во льду. После этого он стал ждать. Огонь пылал в камине, большая собака, освещенная пламенем,

храпела, часы, подобно сердцу, отбивали мерные удары в своем гулком деревянном футляре.

Он ждал, прислушиваясь к далеким шумам, вздрагивая, когда легкий ветер задевал крышу и стены.

Пробило полночь; он вздрогнул. И все еще чувствуя дрожь и страх, поставил на огонь воду, чтобы выпить горячего кофе, прежде чем пуститься в путь.

Когда пробило час ночи, он встал, разбудил Сама, открыл дверь и пошел по направлению к Вильдштрубелю. Он поднимался в продолжение пяти часов, карабкаясь на утесы при помощи крючьев, вырубая лед, взбирался все выше и порой подтягивал на веревке собаку, отставшую на слишком крутом подъеме. Было часов шесть, когда он добрался до вершины, на которую старый Гаспар зачастую приходил в поисках серн.

Здесь он решил подождать восхода солнца.

Небо бледнело над его головой, и вдруг необычайный свет, возникший неизвестно где, сразу озарил бесконечный океан бледных вершин, простиравшийся на сто лье вокруг. Этот смутный свет разливался в пространстве, излучаясь как будто из самого снега. Мало-помалу наиболее высокие дальние вершины приняли нежный телесно-розовый оттенок, и багряное солнце поднялось над грузными великанами Бернских Альп.

Ульрих Кунси пустился в путь. Он шел, как охотник, согнувшись, выискивая следы, повторяя собаке:

— Ищи, Сам, ищи.

Теперь он спускался с горы, всматриваясь в пропасти, и порой издавал протяжный призывный крик, сразу замиравший в немой бесконечности. Тогда он прикладывал ухо к земле, слушал, как будто различал чей-то голос, бросался бежать, снова звал и, не слыша больше ничего, выбившись из сил, садился в отчаянии. Около полудня он позавтракал и дал поесть Саму, уставшему не меньше его. Потом снова принялся за поиски.

Наступил вечер, а он все еще шел, пройдя уже по горам километров пятьдесят. Возвращаться домой было слишком далеко, а тащиться дальше у него не хватало сил, поэтому он вырыл в снегу яму и забрался в нее вместе с собакой, накрывшись одеялом,

которое взял с собой. Человек и животное легли, прижавшись друг к другу, согревая один другого, и все же промерзли до мозга костей.

Ульрих почти не спал и дрожал от озноба, преследуемый видениями.

Когда он поднялся, уже начинался день. Ноги у него не сгибались, словно железные брусья, духом он ослабел настолько, что ему хотелось кричать от отчаяния, сердце колотилось так, что он едва не падал от волнения, когда ему чудился какой-то шум.

Внезапно он подумал, что и он может замерзнуть в этой пустыне, и ужас, подобный смерти, подстегнул его энергию и пробудил в нем мужество.

Он стал спускаться к гостинице, падая и вновь подымаясь, а вдали за ним, ковыляя на трех лапах, плелся Сам.

Они добрались до Шваренбаха только к четырем часам дня. Дом был пуст. Молодой человек затопил камин, поел и заснул; он настолько отупел, что не думал больше ни о чем.

Он спал долго, очень долго, непробудным сном. Но внезапно чей-то голос, чей-то вопль, чей-то зов: «Ульрих!» — прервал его глубокое оцепенение и заставил его вскочить. Было ли это во сне? Был ли это один из тех непонятных призывов, которые вторгаются в сон встревоженной души? Нет, он еще слышал этот замирающий крик, проникший в его ухо и пронизавший все тело до кончиков дрожащих пальцев. Конечно, кто-то кричал, кто-то звал: «Ульрих!» Кто-то здесь, возле самого дома. В этом нельзя сомневаться. Он открыл дверь и крикнул во весь голос:

— Это ты, Гаспар?!

Никто не ответил; ни звука, ни шороха, ни стона — ничего. Сгущалась ночь. Снег тускнел.

Поднялся ветер, ледяной ветер, от которого трескаются камни и погибает все живое на этих пустынных высотах. Он налетал внезапными порывами, более жгучими и смертоносными, чем порывы палящего ветра пустыни. Ульрих снова крикнул:

— Гаспар! Гаспар! Гаспар!

Затем он подождал. Все было безмолвно в горах. Тогда ужас потряс его существо. Одним прыжком он

вскочил в дом, захлопнул дверь и задвинул засовы; потом, стуча зубами, упал на стул в уверенности, что его позвал товарищ в предсмертную минуту.

В этом он был так же уверен, как можно быть уверенным в том, что живешь или ешь хлеб. Старый Гаспар Хари где-то умирал два дня и три ночи,— в какой-нибудь расщелине, в одной из тех глубоких, девственно белых лощин, белизна которых более зловеща, чем мрак подземелья. Он умирал два дня и три ночи и умер только что, думая о товарище. И его душа, едва освободившись, полетела к гостинице, где спал Ульрих, и позвала его по праву той таинственной и страшной власти, какою обладают души умерших над живыми. Она кричала, эта безгласная душа, в усталой душе заснувшего; она кричала свое последнее прости, или упрек, или проклятие человеку, который слишком мало искал.

И Ульрих чувствовал ее здесь, совсем близко, за стеной дома, за дверью, которую он запер. Она носилась, как ночная птица, бьющаяся крыльями в освещенное окно, и юноша, обезумев, готов был завыть от ужаса. Он хотел бежать и не осмеливался выйти; он не решался сделать это и уже не решится никогда, потому что призрак будет днем и ночью здесь, возле гостиницы, пока тело старого проводника не будет найдено, пока его не похоронят в освященной земле кладбища.

Настал день, возвратилось, блистая, солнце, и Кунси немного пришел в себя. Он приготовил обед, сварил похлебку для собаки, а потом неподвижно сидел на стуле, терзаясь мыслью о старике, лежавшем на снегу.

Но как только ночная тьма снова одела горы, его начали осаждать новые ужасы. Теперь он расхаживал по темной кухне, еле освещенной одной свечой; он ходил взад и вперед большими шагами и прислушивался, прислушивался, не прорежет ли снова угрюмую тишину страшный крик, как в прошлую ночь. И он чувствовал себя таким одиноким, бедняга, как никогда еще не был одинок человек! Он был один среди огромной снежной пустыни, один на высоте двух тысяч метров над обитаемой землей, над жилищами людей, над жизнью, что

волнуется, шумит и трепещет, один под этим ледяным небом! Безумное желание жгло его — бежать, все равно куда и все равно как спуститься в Лоэш, ринувшись в пропасть; но он не смел даже отпереть дверь, так как был уверен, что мертвец преградит ему путь, чтобы тоже не оставаться одному в горах.

К полуночи, устав от ходьбы, истомленный тоскою и страхом, он наконец задремал, сидя на стуле, потому что боялся своей постели, как боятся места, посещаемого призраками.

И внезапно его слух, как вчера, пронзил резкий крик, столь нестерпимый, что Ульрих, вытянув руки, чтобы оттолкнуть привидение, упал навзничь вместе со стулом.

Сам проснулся от стука, завыл, как воют испуганные собаки, и начал бегать по дому, стараясь найти, откуда грозит опасность. Когда он подбежал к двери, шерсть его встала дыбом, и он стал обнюхивать порог, подняв хвост, фыркая и ворча.

Кунси поднялся, обезумев, и, подняв стул за ножку, закричал:

— Не входи! Не входи! Не входи! Не то я убью тебя!

А собака, возбужденная этой угрозой, принялась яростно лаять на невидимого врага, которому бросал вызов хозяин.

Мало-помалу Сам успокоился и снова растянулся возле очага, но оставался настороже, приподняв голову, сверкая глазами, рыча и скаля зубы.

Ульрих тоже пришел в себя; чувствуя, что теряет силы от ужаса, он достал в буфете бутылку водки и выпил одну за другой несколько рюмок. Мысли его путались, но мужество вернулось к нему, и лихорадочный огонь разлился по его жилам.

На следующий день он совсем ничего не ел и только пил водку. И несколько дней подряд он прожил в скотском опьянении. Как только мысль о Гаспаре Хари возвращалась к нему, он снова принимался пить и пил до тех пор, пока не валился на пол, совершенно охмелев. Лежа ничком, мертвецки пьяный, обессиленный, он храпел, уткнувшись лицом в землю. Но едва лишь огненная и одурманивающая жидкость переставала действовать, все тот же вопль: «Ульрих!» — пробуждал его,

пронизывая ему череп, как пуля; и он вставал, пошатываясь, хватаясь руками за стены, чтобы не упасть, призывая Сама на помощь. Собака, которая, казалось, сходила с ума, как и ее хозяин, бежала к двери, царапала ее когтями, грызла длинными белыми зубами, а Ульрих, запрокинув голову и вытянув шею, жадно, словно холодную воду после бега, глотал водку, чтобы вновь усыпить мысль, и память, и безумный страх.

В три недели он прикончил весь запас спиртного. Но непрерывное опьянение лишь на время приглушало ужас, пробудившийся с еще большей силой, когда уже нечем было его унять. И тогда в его мозг стала, наподобие сверла, внедряться навязчивая мысль, подкрепленная целым месяцем пьянства и непрерывно развивавшаяся в полном одиночестве. Теперь он метался из угла в угол, словно зверь в клетке, приникал ухом к двери, прислушивался, не стоит ли за ней тот, другой, и грозил ему через стену.

А как только он засыпал, побежденный усталостью, ему снова слышался голос, и он вскакивал на ноги.

Наконец, однажды ночью, подобно трусу, доведенному до крайности, он бросился к двери и отворил ее, чтобы увидеть и заставить замолчать того, кто его зовет.

В лицо ему ударила струя холодного воздуха, прохватившая его до костей, и он захлопнул дверь и задвинул засовы, не заметив, что Сам выбежал наружу. Потом, дрожа, подбросил в очаг дров и сел перед ним, чтобы согреться, но внезапно весь затрепетал: кто-то с плачем царапался в дверь.

Обезумев, он закричал: «Уходи!» В ответ раздался жалобный, тягучий и скорбный стон.

Последние остатки его разума были сметены ужасом. «Уходи, уходи!» — повторял он, вертясь во все стороны, чтобы найти уголок, куда можно было бы спрятаться. А тот, другой, плача, бегал возле дома и царапал стену. Ульрих бросился к дубовому буфету, наполненному провизией и посудой, со сверхчеловеческой силой приподнял его и подтащил к двери, чтобы забаррикадировать ее. Потом, нагромоздив в кучу все остальные вещи — подушки, матрацы, стулья,— он завалил окно, как это делают, когда дом осажден врагом.

А тот, кто был снаружи, испускал теперь заунывные вопли, на которые Ульрих стал отвечать такими же воплями.

Проходили дни и ночи, и они оба выли, не умолкая. Один непрерывно кружил возле дома и царапал стены с такой силой, как будто хотел их разрушить; другой, сидя внутри, согнувшись, приникнув ухом к стене, следил за каждым его движением и отвечал на его призывы отчаянными криками.

Однажды Ульрих не услышал больше ничего; он был настолько разбит усталостью, что, присев, тотчас заснул.

Когда он проснулся, в голове его не было ни единого воспоминания, ни единой мысли, как будто она совершенно опустела во время этого изнурительного сна. Он был голоден и поел.

Зима кончилась. Перевал Жемми очистился от снега, и семейство Хаузер отправилось в путь к своей гостинице.

Добравшись до гребня перевала, женщины сели на мула и стали говорить о двух мужчинах, которых им сейчас предстоит увидеть.

Они удивлялись, что ни тот, ни другой не спустился в деревню несколькими днями раньше, едва только дорога стала проходимой, чтобы рассказать о своей долгой зимовке.

Наконец вдали показалась гостиница, еще занесенная и заваленная снегом. Дверь и окно были закрыты, но слабый дымок поднимался над крышей, и это успокоило старика Хаузера. Однако, подойдя поближе, он заметил у порога расклеванный орлами скелет животного, большой скелет, лежащий на боку.

Все начали его рассматривать. «Это, должно быть, Сам»,— сказала мать. И позвала: «Эй, Гаспар!» В ответ из дома раздался пронзительный крик, похожий на крик какого-то зверя. Хаузер-отец повторил: «Эй, Гаспар!» Снова послышался крик, такой же, как первый.

Тогда трое мужчин, отец и оба сына, сделали попытку открыть дверь. Она не подавалась. Достав из пустого хлева длинную балку, они со всего размаха ударили ею, как тараном. Дверь крякнула, доски разлетелись в щепы; затем страшный грохот потряс весь дом, и они увидели за свалившимся буфетом человека, волосы которого отросли до плеч, борода покрывала грудь, глаза сверкали, а одежда висела на теле лохмотьями.

Они не узнавали его, но Луиза Хаузер воскликнула: «Мама, это Ульрих!» И мать убедилась, что это действительно Ульрих, хотя волосы его стали совершенно седыми.

Он позволил им войти, позволил прикоснуться к себе, но ни слова не отвечал на все вопросы; пришлось отвезти его в Лоэш, где доктора признали, что он сошел с ума.

И никто никогда не узнал, что сталось с его товарищем.

Луиза Хаузер чуть не умерла в то лето от какой-то изнурительной болезни, которую приписали холодному горному климату.

БРОДЯГА

Он шел уже сорок дней и всюду искал работы. Он покинул родные места — Виль-Аваре в департаменте Ламанш,— потому что не мог там найти работу. Плотничий подмастерье, двадцати семи лет от роду, честный, трудолюбивый малый, он, старший сын, целых два месяца сидел на шее своей семьи, и ему ничего не оставалось, как бездействовать, скрестив сильные руки, потому что кругом была безработица. Хлеб редко видели в доме; обе его сестры ходили на поденщину, но зарабатывали мало, а он, Жак Рандель, самый здоровый из всех, ничего не делал, потому что нечего было делать, и объедал других.

Он справился в мэрии, и секретарь сказал ему, что в центральной Франции еще можно найти заработок.

И вот, выправив бумаги и свидетельства, он пустился в путь с семью франками в кармане; за плечами на конце палки он нес узелок, где в голубом платке были завязаны пара запасных башмаков, штаны и рубаха.

Он шел без отдыха, днем и ночью, по бесконечным дорогам, под дождем и под солнцем, но все никак не мог достигнуть той таинственной страны, где рабочий люд находит работу.

Сначала он упрямился, считая, что ему полагается только плотничать, раз он плотник. Но во всех мастерских, куда он ни являлся, ему отвечали, что пришлось отпустить людей за отсутствием заказов; израсходовав почти все деньги, он решил браться за любую работу, какая только подвернется на пути.

И вот он по очереди побывал землекопом, конюхом, каменотесом; он рубил дрова, валил деревья, вырыл колодец, гасил известь, вязал хворост, пас в горах коз — и все это за несколько су, так как если он и получал изредка на два — три дня работу, то лишь потому, что низкая цена, какую он просил за свои услуги, соблазняла прижимистых подрядчиков и фермеров.

А теперь уже целую неделю он ничего не мог заработать, у него ничего не осталось, и он кое-как перебивался корками хлеба, которые, скитаясь по дорогам, вымаливал у дверей сострадательных хозяев.

Вечерело. Жак Рандель, еле волоча ноги, измученный голодом, в полном отчаянии брел босиком по траве вдоль дороги: он берег последнюю пару башмаков, потому что другой давно уж не стало. Дело было в субботу, поздней осенней порой. Ветер свистел в ветвях деревьев и быстро гнал по небу тяжелые, серые тучи. Собирался дождь. В тот вечер, накануне воскресенья, кругом было безлюдно. В полях там и сям торчали скирды обмолоченной соломы, похожие на огромные желтые грибы; земля же, засеянная к будущему году, казалась обнаженной.

Рандель чувствовал голод, зверский голод, тот голод, что заставляет волков кидаться на людей. Изнуренный усталостью, он шагал широко, чтобы ступать пореже; он шел, опустив голову, кровь стучала в висках, глаза покраснели, во рту пересохло, а в руке он сжимал палку, ощущая смутное желание хватить ею первого встречного, который идет домой, где его ждет ужин.

Он глядел по краям дороги — ему мерещились вырытые и оставшиеся на вскопанной земле картофелины. Если бы удалось найти несколько штук, он собрал бы валежник, разложил бы в канаве костер и, право же, отлично поужинал бы горячими, сытными овощами, подержав их сначала в озябших руках.

Но время уборки картофеля уже прошло, и ему оставалось лишь, как и вчера, грызть сырую свеклу, вырванную из борозды.

Последние два дня он стал разговаривать вслух и шагал все быстрей, одержимый своими мыслями. До сих пор ему совсем не приходилось размышлять: весь свой ум, все свои несложные способности он вкладывал в

труд. Но усталость, упорные поиски неуловимой работы, отказы, окрики, ночевки под открытым небом, голод, презрение к нему, к бродяге, которое он чувствовал у тех, кто жил оседло, ежедневно задаваемый вопрос: «Почему вы не живете дома?» — досада на то, что нечем занять свои работящие и умелые руки, воспоминание о родных, оставшихся дома и также не имевших ни единого су,— все это постепенно наполняло его яростью, накипавшей с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой и вырывавшейся у него против воли в отрывистых гневных фразах.

Спотыкаясь босыми ногами о камни, он бормотал:

— Беда... беда... Ах, свиньи... оставляют человека подыхать с голоду... плотника... Ах, свиньи... и четырех су нет в кармане... и четырех су... а вот и дождь... Ах, свиньи!

Он негодовал на несправедливость судьбы и обвинял людей, всех людей в том, что природа, великая слепая мать, несправедлива, жестока и вероломна.

— Ах, свиньи! — повторял он, стиснув зубы и поглядывая на тонкие струйки сероватого дыма, подымавшегося над крышами в этот обеденный час. И, не вдумываясь в другую несправедливость, которую совершает уже сам человек и которая именуется насилием и грабежом, он испытывал желание войти в один из этих домов, убить хозяев и усесться за стол, на их место.

Он бормотал:

— Выходит, что я теперь не имею права жить... раз меня оставляют подыхать с голоду... а ведь я прошу только работы... Ах, свиньи!

Боль во всем теле, боль в животе от голода, боль в сердце ударяла ему в голову, как зловещее опьянение, и порождала в его мозгу простую мысль:

«Я имею право жить, потому что дышу, потому что воздух существует для всех. Значит, меня не имеют права оставлять без хлеба!»

Шел дождь, мелкий, частый, ледяной. Рандель остановился и пробормотал:

— Вот беда... еще целый месяц шляться по дорогам, пока вернешься домой...

Теперь он уже возвращался домой, поняв, что в род-

ном городке, где его знают, он скорее найдет хоть какую-нибудь работу, чем на проезжих дорогах, где все смотрят на него с подозрением.

Раз плотничьей работы больше нет, он станет чернорабочим, будет гасить известь, копать землю, дробить булыжник. Если он заработает в день хотя бы двадцать су, на хлеб все-таки хватит.

Он повязал шею обрывком своего последнего платка, чтобы холодная вода не затекала на спину и грудь. Но скоро почувствовал, что редкая ткань его одежды уже промокла насквозь, и с тоской посмотрел вокруг взглядом погибшего человека, который уж не знает, где найти приют, где преклонить голову, у которого во всем мире нет пристанища.

Надвигалась ночь, покрывая мраком поля. Вдали, на лугу, он заметил темное пятно — лежавшую на траве корову. Он перепрыгнул придорожную канаву и направился к ней, хотя и не вполне сознавал зачем.

Когда он подошел, она подняла свою большую голову, и он подумал: «Если бы у меня был горшок, я мог бы выпить молока».

Он смотрел на корову, и корова смотрела на него; потом, внезапно ткнув ее со всего размаха ногою в бок, он крикнул:

— Вставай!

Она медленно поднялась, и вымя ее тяжело повисло; тогда парень лег на спину, под животом коровы, и начал пить. Он пил долго-долго, выдаивая обеими руками вздувшийся сосок, горячий и пахнущий стойлом. Он пил, пока хватило молока в этом живом источнике.

Ледяной дождь шел еще сильнее, а вся равнина вокруг была пустынна, и укрыться было негде. Рандель озяб и глядел на огонек, мерцавший между деревьями, за окном какого-то дома.

Корова снова грузно опустилась на землю. Он присел возле нее, поглаживая ей голову в благодарность за то, что она его накормила. Густое и сильное дыхание, вырывавшееся из ноздрей животного, как две струйки пара в вечернем воздухе, обвевало лицо плотника, и он сказал:

— Там-то, в брюхе у тебя, не холодно.

Теперь он водил руками по ее груди и под мыш-

ками, ища немного тепла. И ему пришло в голову: а что, если улечься на землю и переночевать возле этого большого теплого брюха? Он отыскал местечко поудобней и лег, прислонившись головой к могучему вымени, которое только что напитало его. И тут же, разбитый усталостью, заснул.

Но он не раз просыпался, чувствуя, что у него коченеют то живот, то спина, смотря по тому, какой стороной он прижимался к животному; тогда он переворачивался, чтобы обогреть и обсушить ту часть тела, которая зябла от ночного воздуха, и сейчас же снова засыпал тяжелым сном.

Пение петуха подняло его на ноги. Заря разгоралась; дождь прекратился; небо было ясно.

Корова еще спала, положив морду на землю; он нагнулся к ней, опираясь на руки, поцеловал ее широкие влажные ноздри и сказал:

— Прощай, красавица... до следующего раза... ты славная скотинка... Прощай.

После этого он обулся и пустился в путь.

Часа два он шел все прямо и прямо по одному и тому же направлению; потом его охватила такая сильная усталость, что он сел на траву.

Начался день; в церквах звонили; мужчины в синих блузах, женщины в белых чепцах, одни пешком, другие взгромоздившись на тележки, все чаще попадались на дороге; они направлялись в соседние деревни, чтобы отпраздновать воскресенье в кругу друзей или родственников.

Показался толстый крестьянин, гнавший голов двадцать баранов; они блеяли и метались по сторонам, а проворная собака сгоняла их в стадо.

Рандель поднялся и снял шапку.

— Не найдется ли у вас какого-нибудь дела для рабочего человека? С голоду помираю,— сказал он.

Тот, бросив на бродягу злобный взгляд, ответил:

— У меня нет работы для всякого проходимца.

И плотник снова уселся у придорожной канавы.

Он долго ждал, глядя, как мимо проходят деревенские жители, и стараясь найти среди них добродушного с виду человека, увидеть соболезнующее лицо, чтобы повторить свою мольбу.

Он выбрал человека, одетого как буржуа, в сюртуке, с золотой цепочкой на животе.

— Уже два месяца я ищу работы,— начал он.— И ничего не нахожу, а в кармане у меня нет ни гроша.

Деревенский буржуа ответил:

— Вам следовало бы прочесть объявление, вывешенное при въезде в деревню. В нашей коммуне нищенство запрещено. Имейте в виду, что я мэр, и, если вы немедленно не уберетесь отсюда, я прикажу вас задержать.

Рандель, чувствуя прилив злобы, пробормотал:

— Ну и прикажите задержать, если вам угодно; мне это будет в самый раз: по крайней мере не подохну с голоду.

И он снова уселся у канавы.

Действительно, через четверть часа на дороге появились два жандарма. Они шли медленно, в ногу, на виду у всех, сверкая в лучах солнца лакированными треугольниками, желтыми кожаными перевязками и металлическими пуговицами, как бы за тем, чтобы устрашать злоумышленников и уже издали обращать их в бегство.

Плотник понял, что они идут к нему, но он и не пошевельнулся, внезапно загоревшись глухим желанием бросить им вызов, попасть в тюрьму, а потом отомстить.

Они подходили, словно не замечая его, маршируя солдатским шагом, тяжелым и мерным, как гусиная поступь. Затем, поравнявшись с ним, они сделали вид, будто только что увидели его, остановились и принялись его рассматривать с угрожающим и сердитым видом.

Сержант подошел к нему и спросил:

— Что вы здесь делаете?

Рандель спокойно ответил:

— Отдыхаю.

— Откуда вы?

— Чтобы назвать вам все места, где я побывал, мне не хватило бы и часа.

— Куда вы идете?

— В Виль-Аваре.

— Где это?

— В департаменте Ламанш.

— Это ваша родина?

— Моя родина.

— Почему вы оттуда ушли?

— Искал работы.

Сержант повернулся к жандарму и сказал с негодованием, как человек, которого одна и та же уловка выводит в конце концов из себя:

— Все эти бродяги твердят одно и то же. Но уж меня-то не проведешь!

Потом продолжал, обращаясь к Ранделю:

— Документы при вас?

— При мне.

— Покажите.

Рандель вытащил из кармана документы, свидетельства,— жалкие бумажонки, грязные и потрепанные, уже превратившиеся в клочья, и протянул их жандарму.

Тот, запинаясь, прочитал их по складам, потом, удостоверившись, что все в порядке, возвратил их с недовольным видом, как будто его перехитрили.

Немного подумав, он начал снова:

— Деньги у вас есть?

— Нет.

— Совсем нет?

— Совсем.

— Ни одного су?

— Ни одного су.

— На что же вы живете в таком случае?

— Мне подают.

— Значит, вы просите милостыню?

Рандель ответил решительно:

— Да, когда могу.

Жандарм провозгласил:

— Я застиг вас с поличным: вы бродяжничаете, нищенствуете на большой дороге, у вас нет ни средств к существованию, ни определенного ремесла; предлагаю вам следовать за мной.

Плотник поднялся.

— Как вам будет угодно,— сказал он.

И, не дожидаясь приказа, стал между двумя жандармами, прибавив:

— Что ж, сажайте меня. Хоть крыша будет над головой, когда пойдет дождь.

И они отправились к селению, черепичные крыши которого виднелись неподалеку сквозь обнаженные ветви деревьев.

Когда они проходили по селу, в церкви начиналась месса. Площадь была полна народу, и тотчас же образовалось два ряда зрителей, желавших поглазеть, как ведут злоумышленника, за которым бежит куча взбудораженных ребятишек. Крестьяне и крестьянки смотрели на арестованного, который шел между двумя жандармами, и в их глазах вспыхивала ненависть; их подмывало забросать его камнями, содрать с него ногтями кожу, затоптать его. Всем хотелось знать, что он сделал: украл, убил? Мясник, бывший спаги, утверждал: «Это дезертир». Владельцу табачной лавочки казалось, что он узнает человека, который в тот день утром всучил ему фальшивую монету в пятьдесят сантимов, а торговец скобяными товарами без обиняков признавал в нем неуловимого убийцу вдовы Мале, которого полиция разыскивала уже полгода.

В зале муниципального совета, куда жандармы ввели Ранделя, он увидел мэра, сидевшего за судейским столом, рядом с учителем.

— Ага! — воскликнул представитель власти.— Это опять вы, приятель! Я же сказал вам, что вы будете задержаны. Ну, сержант, что это за птица?

Сержант отвечал:

— Бездомный бродяга, господин мэр, не имеет, по его признанию, ни денег, ни имущества, задержан как нищий и бродяга, предъявил исправные свидетельства, документы в порядке.

— Покажите-ка мне их,— молвил мэр.

Он взял документы, прочел раз, другой, отдал обратно и приказал:

— Обыщите его!

Ранделя обыскали; ничего не нашли. Мэр, казалось, был смущен.

— Что вы сегодня утром делали на дороге? — спросил он рабочего.

— Искал работы.

— Работы? На большой дороге?

— Как же, по-вашему, мне ее искать? В лесу, что ли, прятаться?

Они смотрели друг на друга с ненавистью зверей, принадлежащих к враждебным породам. Представитель власти продолжал:

— Я прикажу отпустить вас на свободу, но, смотрите, больше мне не попадайтесь!

Плотник ответил:

— Лучше бы вы меня задержали. Надоело мне шляться по дорогам.

Мэр принял суровый вид:

— Замолчите.

Потом приказал жандармам:

— Отвести этого человека за двести метров от деревни, и пусть идет своей дорогой!

Рабочий сказал:

— Прикажите хоть накормить меня по крайней мере.

Мэр возмутился:

— Недоставало только кормить вас! Ха-ха-ха! Нечего сказать, ловко придумал!

Но Рандель настойчиво продолжал:

— Если вы снова оставите меня подыхать с голоду, то сами толкнете на дурное дело. Тем хуже для вас, толстосумов.

Мэр встал и повторил еще раз:

— Уведите его поскорей, иначе я рассержусь вконец.

Жандармы тотчас подхватили плотника под руки и поволокли его. Он не сопротивлялся, снова пересек деревню и очутился на дороге; отведя его метров на двести от межевого столба, сержант объявил:

— Ну, теперь проваливайте, и чтоб я вас больше не видел, иначе будете меня помнить!

И Рандель снова пустился в путь, ничего не ответив и не отдавая себе отчета, куда идет. Он шел все прямо, минут пятнадцать — двадцать, до того отупев, что больше уже не думал ни о чем.

Но вдруг, когда он проходил мимо домика с полуоткрытыми окнами, запах супа проник ему в самое нутро и заставил его остановиться.

И голод, нестерпимый, дикий, ненасытный, сводящий с ума голод, сразу охватил Ранделя с такой силой, что он готов был, как хищный зверь, накинуться на стены этого жилья.

Он громко простонал:

— Черт возьми, уж на этот раз они угостят!

И принялся изо всех сил стучать палкой в дверь. Никто не ответил, и он застучал еще сильнее, крича:

— Эй! Эй, люди, эй! Кто там, откройте!

Ничто не шелохнулось в доме; тогда, подойдя к окну, он толкнул его рукой, и спертый воздух кухни, теплый воздух, насыщенный запахами горячей похлебки, вареной говядины и капусты, повалил навстречу холодному воздуху со двора.

Одним прыжком плотник очутился в комнате. Стол был накрыт на два прибора. Хозяева, наверно, пошли к мессе, оставив в печке обед — хороший, воскресный кусок мяса в жирном супе с овощами.

Свежий хлеб лежал в ожидании их на камине между двух бутылок, по-видимому, полных.

Рандель сначала набросился на хлеб и разломил его с таким остервенением, точно убивал человека, и принялся жадно есть, быстро глотая огромные куски. Но вскоре запах говядины привлек его к очагу; сбросив с котелка крышку, Рандель погрузил в него вилку и вытащил большой кусок мяса, перевязанный бечевкой. Потом он достал капусты, моркови и луку, наложил полную тарелку, поставил ее на стол, уселся, разрезал говядину на четыре части и пообедал, как у себя дома. Поглотив почти все мясо и бо́льшую часть овощей, он почувствовал жажду, подошел к камину и взял одну из стоявших там бутылок.

Как только жидкость полилась в стакан, он понял, что это водка. Ну и пусть, она согреет его, огнем пробежит по жилам, это неплохо будет после того, как он столько зябнул. И он выпил.

Он нашел, что это действительно неплохо,— ведь он уже отвык от водки,—и, снова наполнив стакан, осушил его в два глотка. Почти тотчас же он повеселел, оживился, как будто вместе с алкоголем ему в нутро излилось великое блаженство.

Он снова начал есть, но уже не торопясь, медленно жуя и обмакивая хлеб в суп. Все тело его пылало, особенно лоб, к которому прилила кровь.

Но вдруг вдали зазвонил колокол. Месса кончилась, и скорее инстинкт, чем страх, инстинкт осторожности, который руководит всеми существами и придает им проницательность в минуту опасности, заставил плотни-

ка вскочить; он сунул в один карман остаток хлеба, в другой бутылку с водкой, тихонько подошел к окну и выглянул на дорогу.

Она была совершенно безлюдна. Он выпрыгнул из окна и направился дальше; но теперь он пошел не большою дорогой, а побежал полем к видневшемуся невдалеке лесу.

Он был весел, доволен тем, что сделал; он чувствовал себя ловким, сильным и настолько гибким, что перепрыгивал через полевые изгороди обеими ногами зараз, одним махом.

Едва очутившись под деревьями, он вытащил из кармана бутылку и начал на ходу пить большими глотками. Мысли его стали путаться, в глазах помутилось, а ноги сделались упругими, как пружины.

Он запел старинную народную песенку:

Ах, как славно,
Ах, как славно
Землянику собирать.

Теперь он шел по густому, влажному, зеленому мху, и этот мягкий ковер под ногами вызывал у него сумасбродное желание кувыркаться, как ребенок.

Он разбежался, перекувырнулся, встал и начал снова. И между прыжками продолжал петь:

Ах, как славно,
Ах, как славно
Землянику собирать.

Вдруг он очутился возле тропинки, тянувшейся по дну лощины, и заметил вдали рослую девушку: это возвращалась в деревню чья-то служанка, неся в руках два ведра с молоком, которые она держала на весу при помощи обруча.

Он подстерегал ее, пригнувшись, и глаза его горели, как у собаки, увидевшей перепелку.

Она заметила его, подняла голову, засмеялась и крикнула:

— Это вы так распеваете?

Он не ответил ни слова и спрыгнул вниз в овраг, хотя откос был высотой по крайней мере в шесть футов.

Неожиданно увидев его прямо перед собой, она воскликнула:

— Господи Исусе, как вы меня напугали!

Но он не слышал ее слов, он был пьян, он обезумел, отдавшись во власть другого исступления, более гложущего, чем голод, воспламенившись алкоголем и непреодолимым неистовством мужчины, который два месяца был лишен всего, который хмелен, молод, пылок и сжигаем всеми желаниями, заложенными природой в могучую плоть самцов.

Девушка попятилась, испугавшись его лица, глаз, полураскрытого рта, вытянутых рук.

Он схватил ее за плечи и, не произнося ни слова, повалил на тропинку.

Она выронила ведра, которые с грохотом покатились, выплескивая молоко, затем закричала, но, понимая, что бесполезно звать на помощь в этом безлюдном месте, и видя теперь, что он вовсе не посягает на ее жизнь, она уступила, не особенно сопротивляясь и не очень сердясь, потому что малый был силен, хотя, правда, чересчур уж груб.

Но когда она поднялась, мысль о разлившихся ведрах сразу привела ее в ярость, и, сняв с ноги сабо, она, в свою очередь, бросилась на мужчину, чтобы проломить ему голову, если он не заплатит ей за молоко.

Но он не понимал причины этого яростного нападения и, уже немного отрезвев, растерявшись, ужасаясь того, что наделал, бросился бежать со всех ног, а она швыряла ему вдогонку камни, и некоторые из них попадали ему в спину.

Он бежал долго-долго, потом почувствовал себя усталым, как никогда. Ноги его подгибались от слабости, все мысли спутались, он утратил представление о чем бы то ни было и ничего больше не соображал.

Он сел под деревом.

Через пять минут он уже спал.

Сильный толчок разбудил его. Открыв глаза, он увидел две лакированные треуголки, наклонившиеся над ним, и тех же двух жандармов, что и утром; они держали его и скручивали ему руки.

— Я так и знал, что опять тебя подцеплю,— сказал, ухмыляясь, сержант.

Рандель встал, не говоря ни слова. Жандармы трясли его и готовы были надавать ему пинков, если он сделает хоть один жест: ведь теперь он был их добычей, он стал тюремной дичью, пойманной этими охотниками на преступников, и они его уже не выпустят.

— Марш! — скомандовал жандарм.

Они двинулись. Наступал вечер, расстилая по земле осенние сумерки, тяжелые и зловещие.

Через полчаса они достигли деревни.

Все двери стояли настежь; события были известны всем. Крестьяне и крестьянки, возбужденные гневом, словно каждого из них ограбили, словно каждая из них была изнасилована, хотели видеть негодяя, чтобы осыпать его ругательствами.

Гиканье началось у первого же дома и закончилось у мэрии, где ожидал мэр, мстительно радовавшийся участи бродяги.

Едва завидев его издали, он крикнул:

— Ага, приятель! Попался!

И потер руки, довольный, как никогда.

— Ведь я это сразу сказал, как увидел его на дороге,— продолжал он.

Потом прибавил с удвоенной радостью:

— Ах, негодяй! Ах, гнусный негодяй! Наконец-то ты заработал себе двадцать лет!

ОРЛЯ

(Первоначальный вариант)

Доктор Марранд, самый знаменитый, самый выдающийся наш психиатр, пригласил трех своих коллег и четырех ученых-естествоиспытателей заехать к нему в психиатрическую лечебницу, которой он заведовал: ему хотелось продемонстрировать им одного пациента.

Как только друзья его собрались, он сказал им:

— Более странного и более смущающего случая, чем тот, с которым я сейчас ознакомлю вас, мне еще не приходилось видеть. Не буду ничего говорить о моем пациенте. Он сам расскажет вам все.

И доктор позвонил. Слуга ввел больного. Это был непомерно худой мужчина, высохший, как скелет; такая худоба отличает безумцев, снедаемых какой-нибудь неотступной мыслью,— ведь заболевание мысли пожирает тело быстрей лихорадки или чахотки.

Он поклонился, сел и сказал:

— Господа, я знаю, для чего вы собрались, и готов рассказать вам о себе, как просил меня мой друг, доктор Марранд. Он долгое время считал меня сумасшедшим, теперь же усомнился в этом. Дайте срок, и вы все убедитесь, что мой ум так же здоров, так же ясен, так же трезво разбирается в действительности, как и ваш,— к несчастью для меня, для вас, для всего человечества.

Начну с фактов, с простейших фактов. Вот они.

Мне сорок два года. Я не женат, состоянием владею достаточным, чтобы жить с известной роскошью. Я жил в своем имении, в Бьессаре, на берегу Сены, неподалеку от Руана. Я люблю охоту и рыбную ловлю. Как раз позади моего дома на высоких скалах растет один из прекраснейших лесов Франции — Румарский лес, а перед домом течет река — одна из прекраснейших рек на свете.

Мой дом — большой, старинный, красивый и выкрашен снаружи в белую краску; вокруг него обширный сад с великолепными деревьями, взбирающийся по уступам скал, о которых я уже упомянул, до самой опушки леса.

Прислуга моя состоит, или, вернее, состояла, из кучера, садовника, лакея, кухарки и кастелянши, являющейся в то же время и чем-то вроде экономки.

Все они прожили у меня от десяти до шестнадцати лет, знают меня, знают весь домашний распорядок, местный край, всю ту среду, в которой протекала моя жизнь. То были добросовестные, спокойные слуги. Эти обстоятельства имеют значение для того, о чем я собираюсь рассказать вам.

Добавлю, что Сена, протекающая перед моим садом, судоходна до Руана, как вы это, вероятно, знаете, и что я видел каждый день, как по реке проплывают крупные суда, то парусные, то паровые, прибывающие со всех концов земли.

Так вот, позапрошлой осенью я почувствовал вдруг странное, необъяснимое недомогание. Сначала это было какое-то нервное беспокойство, не дававшее мне спать по целым ночам, и такое повышенное возбуждение, что я вздрагивал от малейшего шума. Я стал раздражительным. У меня появились внезапные вспышки беспричинного гнева. Я позвал врача, и он прописал мне бромистый калий и души.

Я стал принимать души утром и вечером и начал пить бром. И, правда, сон вскоре вернулся ко мне, но этот сон был еще ужаснее, чем бессонница. Едва улегшись в постель, я закрывал глаза, и существование мое прекращалось. Да, я погружался в небытие, в абсолютное небытие, все мое существо словно уничтожалось — и из этого небытия резко исторгало меня ужасающее, мучительно страшное ощущение какой-то огромной тя-

жести, навалившейся мне на грудь, и чьих-то губ, которые, припав к моим губам, пьют мою жизнь. О, трепет этих пробуждений! Ничего ужаснее я не знаю.

Представьте себе, что человека во сне убивают, и он просыпается с ножом в груди, хрипит, обливается кровью, задыхается и умирает, ничего не понимая,— вот что испытывал я!

Я начал худеть, жутко, безостановочно, и заметил вдруг, что мой кучер, который был очень толст, худеет, как и я.

Наконец я спросил его:

— Что с вами, Жан? У вас больной вид.

Он отвечал:

— Боюсь, что я заболел той же болезнью, что и вы, сударь. Я провожу ночи, губительные для моих дней.

Я подумал, что, может быть, воздух в доме заражен миазмами лихорадки из-за близости реки, и уже собирался уехать месяца на два, на три, хотя был самый разгар охотничьего сезона, но тут один чрезвычайно странный и случайно мною подмеченный мелкий факт повлек за собою такую цепь невероятных, фантастических страшных открытий, что я никуда не поехал.

Однажды вечером мне захотелось пить; я выпил полстакана воды и при этом заметил, что графин, стоявший на комоде против моей постели, был полон до хрустальной пробки.

Ночью мне приснился один из тех ужасных снов, о которых я уже говорил вам. Проснувшись во власти смертельного страха, я зажег свечу и хотел было выпить воды, но остолбенел от изумления, увидев, что графин пуст. Я не верил своим глазам. Либо ко мне в комнату кто-то входил, либо я стал лунатиком.

На следующий вечер я решил сделать опыт. Я запер дверь на ключ, чтобы быть уверенным, что никто не может проникнуть в комнату. Я уснул и проснулся — так же, как и всегда. Вода в графине, которую я видел два часа назад, была выпита.

Кто выпил ее? Я, конечно,— и, однако, я был уверен, совершенно уверен в том, что и не пошевелился ни разу за все время, пока спал своим обычным глубоким и мучительным сном.

Тогда, желая убедиться в том, что я не совершил этих бессознательных поступков, я прибегнул к уловкам. Однажды вечером я поставил рядом с графином бутылку старого бордо, чашку с молоком — терпеть его не могу — и тарелку моих любимых шоколадных пирожных.

Вино и пирожные остались нетронутыми. Молоко и вода исчезли. Тогда я начал каждый день разнообразить напитки и кушанья. К твердым, плотным кушаньям не прикоснулись ни разу, из жидкостей же пили только свежее молоко и главным образом воду.

Мучительное сомнение все еще жило в моей душе. Не я ли все-таки бессознательно вставал и пил даже противные мне напитки? Ведь мои чувства, парализованные сомнамбулическим сном, могли измениться, я мог утратить обычное отвращение к этим напиткам, усвоить иные вкусы.

Тогда я прибегнул к новой хитрости, стремясь уличить самого себя. Я обмотал полосками белой кисеи все предметы, к которым мне неминуемо пришлось бы прикоснуться, и вдобавок закрыл их батистовой салфеткой.

Затем, ложась в постель, я натер себе графитом руки, губы и усы.

Когда я проснулся, ни на одном предмете не было ни малейшего пятнышка; однако к ним прикасались, потому что салфетка лежала не так, как я ее положил; вдобавок молоко и вода были выпиты. А между тем дверь, запертая прочным замком, и ставни, из осторожности тоже запертые на висячие замки, никому не давали возможности проникнуть ко мне.

И тут я задал себе страшный вопрос: кто же находится здесь каждую ночь, возле меня?

Я чувствую, господа, что слишком тороплюсь. Вы улыбаетесь, вы уже составили себе определенное мнение: «Это сумасшедший». Мне следовало бы подробно описать вам потрясение человека, который, запершись у себя в комнате, в здравом уме и твердой памяти, видит сквозь стекло графина, что за время его сна часть воды исчезла. Мне следовало бы дать вам почувствовать эту пытку, возобновлявшуюся каждый вечер и каждое утро,

и этот непреодолимый сон, и эти еще более страшные пробуждения.

Буду, однако, продолжать.

Внезапно чудеса прекратились. Ни к чему больше в моей комнате не прикасались. Все было кончено. Я поправился. Ко мне уже возвращалась былая веселость, как вдруг я узнал, что один из моих соседей, г-н Лежит, находится в таком же точно состоянии, в котором недавно находился я. И снова я подумал о влиянии местного воздуха, зараженного лихорадкой. Кучер мой ушел от меня месяцем раньше, окончательно расхворавшись.

Зима прошла, наступила весна. Однажды утром, когда я гулял у себя около клумб с розами, я увидел, ясно увидел, что совсем вблизи от меня стебель одной из красивейших роз сломался, словно чья-то невидимая рука сорвала ее; затем цветок поднялся по дуге, которую могла бы описать рука, подносящая его к устам, и один, без опоры, неподвижный, пугающий, повис в прозрачном воздухе в трех шагах от меня.

В безумном ужасе я бросился, чтобы схватить его. Но не нашел ничего. Он исчез. Тогда я бешено рассердился на самого себя. Нельзя же, чтобы у серьезного, рассудительного человека бывали подобные галлюцинации.

Но действительно ли это была галлюцинация? Я огляделся, ища глазами стебель, и тотчас нашел его на кусте: излом был еще свежий, и на той же ветке виднелись две другие розы, одна справа, другая слева от него; всех их, я помнил ясно, было три.

Тогда, потрясенный до глубины души, я возвратился домой. Послушайте, господа: я совершенно спокоен; я не верил ни во что сверхъестественное, не верю и сейчас; но с этого мгновения я убежден, так же убежден, как в чередовании дня и ночи, что со мною рядом находится некое невидимое существо: оно избрало меня своей жертвой, потом покинуло меня, а теперь вернулось опять.

Немного погодя я получил этому доказательство.

Между моими слугами начались беспрестанные, яростные ссоры по самым разнообразным поводам, внешне мелочным, но для меня исполненным значения.

Однажды, среди бела дня, по неизвестной причине разбился стакан, прекрасный стакан из венецианского стекла, стоявший на поставце в столовой.

Лакей сваливал вину на кухарку, кухарка — на экономку, а та — уж не знаю кого.

Двери, закрытые вечером, наутро оказывались открытыми. Кто-то каждую ночь воровал молоко из кладовой.

Что же это за существо? Какой породы? Нервное любопытство, смешанное с гневом и ужасом, не давало мне покоя ни днем, ни ночью.

Однако все в доме еще раз успокоилось, и я уже опять начал думать, что случившееся только сон, как вдруг произошло следующее.

Дело было 20 июля, в девять часов вечера. Было очень жарко; оставив окно в моей комнате настежь открытым, я растянулся в глубоком кресле; горевшая на столе лампа освещала том Мюссе, раскрытый на *Майской ночи*. Я задремал.

Проспав минут сорок, я открыл глаза, но не двигался, разбуженный каким-то странным, непонятным ощущением. Сначала я ничего не заметил; потом мне вдруг почудилось, что страница книги перевернулась сама собою. Из окна не проникало ни малейшего дуновения. Я удивился и ждал, что будет дальше. Минуты через четыре я увидел, увидел,— да, господа, увидел собственными глазами, как следующая страница приподнялась и легла на предыдущую, словно ее перевернула чья-то рука. Кресло мое казалось пустым, но я понял, что в нем сидит он, он! Одним прыжком я пересек комнату, я хотел ощутить его, прикоснуться к нему, схватить его, если это окажется возможным... Но кресло, прежде чем я подскочил к нему, опрокинулось, будто кто-то бросился бежать от меня; лампа упала и погасла, стекло разбилось, а окно захлопнулось со стуком, словно его с размаху закрыл грабитель, спасаясь от погони... О!..

Я кинулся к звонку и позвонил. Когда явился лакей, я сказал ему:

— Я все опрокинул и разбил. Принесите мне лампу.

Я уже не заснул в ту ночь. А ведь, может быть, я снова стал жертвой иллюзии. При пробуждении вос-

приятия неотчетливы. Не сам ли я опрокинул кресло и лампу, когда ринулся, как безумец?

Нет, это был не я. Я это знал и не сомневался в этом ни на секунду. Но мне хотелось верить, что это был я.

Постойте. Это существо — как мне назвать его? Невидимкой? Нет, этого мало. Я дал ему имя Орля. Почему? Сам не знаю. Так вот, Орля с тех пор уже не покидал меня. Днем и ночью у меня было ощущение, нет, уверенность в присутствии этого неуловимого соседа, уверенность в том, что он пьет мою жизнь час за часом, минута за минутой.

Мысль, что я не могу видеть его, приводила меня в бешенство: я зажигал все лампы, которые у меня имелись, словно мог разглядеть его при их свете.

Наконец я увидел его.

Вы мне не верите. И все же я его видел.

Я сидел с какой-то случайной книгой не читая, но подстерегая всеми моими болезненно напряженными чувствами, подстерегая того, кто, как я сознавал, где-то рядом со мною. Несомненно, он был здесь. Но где? Что он делал? Как добраться до него?

Прямо против меня помещалась моя кровать: старая дубовая кровать с колонками. Направо камин. Налево дверь, тщательно мною запертая. Позади — большой зеркальный шкаф, перед которым я каждый день брился, одевался и, проходя мимо, по привычке, постоянно осматривал себя с головы до ног.

Итак, я притворился, что читаю: я хотел обмануть его — ведь и он следил за мною. И вдруг я почувствовал, я ощутил уверенность, что он читает из-за моего плеча ту же книгу, что он тут и касается моего уха.

Я вскочил, я обернулся так быстро, что едва не упал. И что ж? Было светло, как днем... а я не увидел себя в зеркале! Залитое светом, оно оставалось пустым и ясным. Моего отражения в нем не было... А я стоял перед ним... Я видел огромное стекло, ясное сверху донизу. Я смотрел на зеркало безумными глазами и не смел шагнуть вперед, чувствуя, что оно, это существо, здесь между мной и стеклом, что оно вновь ускользнет от меня, но что его невидимое тело поглотило мое отражение.

Как я испугался! Затем вдруг я начал различать себя в глубине зеркала, но лишь в каком-то тумане, как бы сквозь водяную завесу; мне казалось, что это вода медленно струится слева направо и мое отражение с минуты на минуту проясняется. Это было похоже на конец затмения. То, что заслоняло меня, как будто не имело резко очерченных контуров, а походило на туманность, которая мало-помалу рассеивалась.

Наконец я мог с полной ясностью различить себя, как это бывало каждый день, когда я смотрелся в зеркало.

Я видел его! И еще доныне содрогаюсь от ужаса при этом воспоминании.

На другой день я явился сюда попросить, чтобы меня приняли в лечебницу.

Перехожу к выводам, господа.

Доктор Марранд, после некоторых колебаний, решился наконец съездить в ту местность, где я жил.

Трое из моих соседей страдают в настоящее время той же болезнью, что и я. Не правда ли?

Врач ответил:

— Правда.

— Вы посоветовали им оставлять на ночь у себя в комнате воду и молоко, чтобы посмотреть, исчезнут ли эти жидкости. Больные так и сделали. Исчезли эти жидкости, как у меня?

Врач ответил с торжественной серьезностью:

— Исчезли.

— Это значит, господа, что на земле появилось какое-то Существо, новое Существо, и оно, конечно, не замедлит размножиться, как размножился человек.

А! Вы улыбаетесь? Почему? Потому, что это Существо остается невидимым? Но наш глаз, господа, является органом настолько неразвитым, что он еле-еле различает даже те вещи, которые необходимы для нашего существования. Все слишком малое ускользает от него, все слишком большое ускользает от него, все слишком далекое ускользает от него. Ему неведомы миллиарды маленьких существ, которые живут в капле воды. Ему неведомы обитатели, растения и почва ближайших звезд. Даже прозрачное — и то для него незримо.

Поставьте перед ним стекло без амальгамы,— он его не заметит и натолкнется на него; так птица, залетевшая в дом, разбивает себе голову об оконные стекла. Значит, наш глаз не видит твердых прозрачных тел, а они, тем не менее, существуют; он не видит воздуха, которым мы питаемся, не видит ветра, являющегося величайшей силой природы, ветра, который валит с ног людей, разрушает здания, вырывает с корнем деревья, вздымает на море горы воды, под натиском которых рушатся гранитные скалы.

Нет ничего удивительного, что наши глаза не видят этого нового тела, которому, несомненно, не хватает только способности задерживать световые лучи.

Видите ли вы электричество? Однако оно существует!

Существует и тот, кого я назвал Орля.

Кто это? Господа, это тот, которого ждет земля вслед за человеком! Тот, кто явился, чтобы отнять у нас власть, поработить, укротить нас,— и, быть может, употребить нас в пищу, подобно тому, как мы питаемся коровами и кабанами.

На протяжении веков мы видим, что его предчувствуют, его боятся и его возвещают! Отцов наших вечно томил страх перед Невидимым.

Он пришел.

Все легенды о феях, о гномах, о неуловимых недобрых существах, бродящих в воздухе,— все эти легенды говорят о нем, о том, кого предчувствует встревоженный и трепещущий от страха человек.

И то, чем вы сами заняты вот уже несколько лет, господа, то, что вы называете гипнотизмом, внушением, магнетизмом,— все это возвещает его, пророчествует о нем!

Говорю вам: он пришел. Он бродит, сам еще неуверенный, как были не уверены первые люди,— он еще не знает своей силы, своей власти: скоро, слишком скоро узнает он их!

Я кончаю, господа. Вот случайно попавший мне в руки обрывок газеты, выходящей в Рио-де-Жанейро. Я читаю: «В последнее время в провинции Сан-Паоло свирепствует какая-то эпидемия безумия. Жители нескольких деревень бежали, бросив дома и земли; они

уверяют, будто их преследуют и пожирают незримые вампиры, которые питаются их дыханием, когда они спят, и которые, кроме того, пьют только воду, а иногда молоко».

Добавлю:

я отлично помню, что за несколько дней до первого приступа этой болезни, от которой я чуть было не умер, по реке проплыл, с распущенным флагом, бразильский трехмачтовый корабль... Я уже сказал вам, что дом мой стоит на берегу... Весь белый... Вероятно, он прятался на том корабле.

Мне нечего добавить, господа.

— Мне тоже,— промолвил негромко доктор Марранд, поднимаясь.— Не знаю, безумец ли этот человек, или безумцы мы оба... или... или и впрямь явился на землю наш преемник.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

Сборники рассказов Мопассана, объединенные в настоящем томе, были опубликованы в 1886—1887 годах.

Сборник «Господин Паран» был издан Оллендорфом в 1886 году. Некоторые французские биографы Мопассана (Мартино, Лаказ-Дютье) почему-то датировали этот сборник 1884 годом, хотя он состоит главным образом из новелл, печатавшихся в прессе 1885 года, причем позднее всего в прессе появилась «Са-Ира» — в ноябре 1885 года. Можно предполагать, что сборник вышел из печати уже в начале 1886 года.

Сборник «Маленькая Рок» был выпущен Аваром в том же 1886 году. Сборник «Орля» вышел в издательстве Оллендорфа в 1887 году.

Все три названных сборника переиздавались при жизни Мопассана теми же издателями и без всяких изменений в составе новелл.

Из новелл, которые помещены в этом томе, внимание современников Мопассана всего более привлекла к себе повесть «Орля», столь контрастирующая с обычным ясным и здоровым искусством Мопассана. Первый вариант этой повести, помещаемый нами в приложении, не заинтересовал читателя, но выход сборника «Орля» с этой переработанной и значительно расширенной повестью вызвал нечто вроде переполоха среди поклонников Мопассана, а некоторые из его друзей (поэт Огюст Доршен, Х. М. Эредиа, Ш. Лапьерр, Анри Ружон и др.) решили даже, что эта повесть — бред психически больного человека. Мнения читателей, однако, разделились, и у повести нашлись свои ценители, считавшие, что Мопассан только овладевает новым кругом тем, мастерски их разрабатывая.

Долгое время никто не мог понять, что, собственно, обозначает слово «Орля». Критики, писавшие о Мопассане, порой уде-

ляли гораздо больше внимания этимологической расшифровке этого слова, чем самой повести. Слово «Le Horla» принято теперь понимать как «Le hors la», то есть «внешнее», «находящееся за пределами действительности», «потустороннее» (другими словами, то фантастическое, что окружает героя повести).

Как оценивал свою повесть сам Мопассан? В дневнике его слуги приведены следующие слова писателя, датированные июлем 1887 года: «Я отослал сегодня в Париж рукопись «Орля»; будьте уверены, не пройдет и недели, как во всех газетах напечатают, что я сошел с ума. Но пусть говорят, что им угодно; рассудок мой совершенно здоров, и когда я писал эту новеллу, то прекрасно сознавал, что делаю. Это — фантастическая вещь; в ней много странного, она поразит читателя, и у него не раз мурашки пробегут по спине. Скажу вам, впрочем, что многие из окружающих нас вещей ускользают от нашего внимания. Когда позднее обнаруживаешь их, то искренне удивляешься, каким образом не замечал их раньше. Вдобавок наша апатия заставляет нас усматривать повсюду невозможное и неправдоподобное» (Souvenirs sur Guy de Maupassant par François, P. 1910, pp. 93—94).

Поэт Огюст Доршен, близко знавший Мопассана в его последние годы, передавал высказанное ему писателем признание о том, «что он не верит ни во что (потустороннее.— *Ю. Д.*), отрицает загробную жизнь, что он материалист и что фантастические рассказы вроде «Орля» вовсе не отвечают его личным переживаниям, а представляют собою только порождение холодной выдумки» (A. Lumbroso. Souvenirs sur Guy de Maupassant, Rome. 1905, p. 56).

«Выдумка» Мопассана свидетельствовала, однако, о том, что писатель поддался в «Орля» распространенным в ту пору влияниям литературы декаданса, которая стала сильно развиваться во Франции в 80-х годах; для нее характерен был уход от окружающей действительности к крайнему субъективизму, мистике, иррациональному. Не поддаваясь влияниям декаданса в своем художественном методе, Мопассан начинал поддаваться им в тематическом отношении, о чем и свидетельствует повесть «Орля».

Критик Леопольд Лакур, познакомившийся с Мопассаном в 1887 году, отметил в письме к Лумброзо, что в «Орля» проявилось «опасное влияние оккультных наук». По-видимому, это было так, и недаром различные мистики, маги и оккультисты, духовные вожди символизма и декадентства, столь обильно распло-

дившиеся во Франции в конце XIX века, сделали даже попытку зачислить Мопассана по своему «ведомству». Так, например, некий Жорж Виту бесцеремонно объявлял Мопассана «пылким сторонником оккультистских доктрин, серьезно осведомленным в этой области, хотя он никогда этого ясно и не высказывал» (G. Vitoux. Les coulisses de l'Au-delà, P. 1901, p. 257).

Тему «Орля» Мопассан получил от своего друга, писателя Леона Энника. Но если тема и пришла извне, то она ответила некоторым личным настроениям Мопассана, связанным с нервным заболеванием писателя, которое с течением времени все обострялось.

Давно уже обеспокоенный состоянием своего здоровья, подмечая с обычной своей цепкой и беспощадной наблюдательностью все признаки болезни, наблюдая появление новых симптомов, вроде расстройства зрения, постоянно обращаясь к докторам, волнуясь и тревожась, писатель, помимо всех прочих жизненных интересов, стал проявлять устойчивый и напряженный интерес к болезненным процессам нервно-психической жизни и неожиданно для самого себя обрел в них новый творческий материал. Огюст Доршен совершенно основательно не верит заявлению Мопассана о том, что в «Орля» вовсе нет ничего лично пережитого.

Любопытно отметить значительную разницу между первым и вторым вариантами «Орля». Критик П. Мартино характеризует ее следующим образом: «В 1886 г. Мопассан написал первую редакцию «Орля» — очень холодный и сухой рассказ... В 1887 г. он переделывает этот рассказ, усложняя его данными недавно прочитанных книг о гипнотизме; он превращает рассказ в кропотливый и полный тревоги дневник, куда включает и весь опыт личных переживаний — прогрессивное развитие своих галлюцинаций и свое сопротивление им» (P. Martino. Le naturalisme français, P. 1923, p. 144). Так как тема была получена Мопассаном от другого лица, то вполне возможно, что в первоначальном варианте «Орля» она еще не срослась органически со «всем опытом личных переживаний» писателя, а это и повело к ее переработке. Не менее справедливо и указание Мартино, что материалом повести послужили также и «данные недавно прочитанных книг».

В 1885—1887 годах во Франции появилось более шестидесяти работ о неврозе, гипнотизме, внушении и навязчивых идеях. Значительную часть этой литературы Мопассан, безусловно, знал. Известно также, что в связи с «Орля» он посещал лекции профессора Шарко в Сальпетриере, посвященные болезням нервной

системы. Таким образом, далеко не одни «личные переживания» Мопассана лежат в основе «Орля», и, по-видимому, они как раз еще не были настолько выразительны и сильны, чтобы их легко было интерпретировать.

Восхищаясь тем, с какой ясностью описаны в «Орля» симптомы расстройства зрения или мания преследования, врачи, писавшие о Мопассане, видят в этом несомненное и невольное самопризнание душевнобольного. Но потому-то, повторяем, все это так безупречно и обрисовано, что художник-реалист считал себя обязанным обратиться к научным данным, чтобы составить себе безусловно точное и ясное представление о механизме душевной болезни и со всей верностью и полнотой его воспроизвести.

Укажем наконец на то, что и в творчестве, и в мировоззрении, и в ежедневной жизненной практике Мопассану были присущи реакции трезво мыслящего человека, последователя естественнонаучного материализма. В этой связи, а также в виде ответа на беспардонные утверждения Жоржа Виту полезно остановиться на следующем свидетельстве Поля Бурже.

«С 1884 г. он (Мопассан.— *Ю. Д.*) был жертвою жестоких нервных и к тому же весьма странных явлений,— пишет Бурже,— и он старался защититься от них при помощи своего ясного рассудка, который составляет лучшую часть его таланта. Я приведу доказательство, которое никогда не оглашал при его жизни... Меня извинят, если этот анекдот носит слишком личный характер. В этом гарантия его достоверности. Мы должны были отправиться вместе с Мопассаном в больницу Лурсин, где преподавал тогда доктор Мартино, личный друг Мопассана. Он зашел за мною и застал меня под впечатлением одного сна, почти мучительного по силе и яркости. Во сне я видел, как умирал один из наших собратьев по прессе, Леон Шапрон, видел его смерть и все последующие за этой смертью события, спор о его замещении в газетах, спор об условиях его похорон,— и все это с такой ужасной точностью, что, когда я проснулся, этот кошмар преследовал меня, словно какое-то наваждение. Я рассказал этот сон Мопассану, который с минуту был поражен, а потом спросил меня: «А вы знаете, что с ним?» «Так он болен?» — спросил я. «При смерти. Еще раз,— вы не знали этого?» «Абсолютно нет». И это была правда. Некоторое время мы были ошеломлены этим странным предчувствием, которому предстояло осуществиться несколько дней спустя. Между прочим, это — единственное явление подобного рода, в котором я со своей стороны не

мог сомневаться. Но я вспоминаю, что удивление Мопассана длилось недолго. «Есть какая-то причина этому,— сказал он со своей обычной былой бодростью,— и ее надо отыскать». В конце концов оказалось, что я получил одно письмо от Шапрона недели две тому назад. Я достал его, и Мопассан, взглянув на почерк, показал мне, что некоторые его буквы были немного дрожащими. «Это почерк больного,— утверждал он,— вы заметили это, не отдавая себе отчета, вот и причина вашего сна... Нет ничего на свете, чему нельзя найти объяснение, если отнестись к этому с вниманием» (Paul Bourget. Sociologie et littérature, P. 1906, pp. 316—318).

Столкнувшись с таким внешне иррациональным фактом, как «вещий» сон Поля Бурже, Мопассан, как видим, вовсе не устремляет свое внимание на какие бы то ни было потусторонние проблемы, а ищет «земную» причину этого факта. Такова его непосредственная реакция. И он со всей уверенностью и убежденностью находит эту «земную», материалистическую причину.

Таким образом, поддавшись в «Орля» влиянию декаданса, влиянию оккультной литературы, беря материалом повести свои собственные переживания, подкрепленные изучением научных трудов, Мопассан не мог не подойти совершенно реалистически к разработке темы в силу всех своих особенностей материалистически мыслящего художника.

Повесть «Орля», следовательно, еще не утверждает тезиса о безусловном существовании потустороннего. Она представляет собою искусно прослеженный художником-реалистом бред психически больного человека, тончайший анализ дум, чувств и настроений рассказчика во всей смене их колебаний, чередования моментов возбуждения и успокоенности, прояснения сознания и новой болезненной вспышки, борьбы здорового начала с больным.

То обстоятельство, что Мопассан подходит к теме «Орля» реалистически, явствует и из композиции повести. Читая «Орля», кажется, что как будто именно по поводу этой повести и сказал Чехов свою знаменитую фразу о ружье, которое должно выстрелить в конце рассказа, если оно мимоходом упомянуто в начале. Композиция «Орля» математически точна. Казалось бы, зачем рассказчику так внимательно описывать на первой странице великолепный корабль и упоминать, что он из Бразилии? Но это мост к концу повести. К чему, казалось бы, пространное описание внушения, которому подверглась знакомая

рассказчику дама? А это нерв всей повести. К чему слова монаха о том, что ветер недоступно видеть людям? К чему эпизод с оторванной и поднявшейся на воздух розой? Все та же подготовка тезиса о невидимке.

Композиционно повесть сделана так, что ее финал начинает подготовляться, очень осторожно и тонко, с самой первой страницы. И с этим вполне согласуются вышеприведенные высказывания Мопассана по поводу «Орля», а также указание издателя Конара, что рукопись второго варианта повести «написана почти без помарок и вполне уверенным почерком».

Мопассан мог быть больным человеком, но эта повесть *вовсе не написана больным художником:* тут спора быть не может. Тем не менее настойчивый интерес писателя к теме «Орля», к теме невидимки, свидетельствует о начале нового этапа в творчестве Мопассана, этапа, ознаменованного кризисом реализма и усиливающимися влияниями декаданса.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГОСПОДИН ПАРАН

Господин Паран

Была ли опубликована эта новелла в прессе до ее появления в сборнике, французскими библиографами все еще не установлено (имеется лишь указание на то, что 3 января 1886 года она была напечатана в журнале «Народная жизнь», но там новеллы Мопассана обычно перепечатывались после их первоначального появления в газете). В ряде своих основных положений повесть представляет собой расширенную переработку новеллы «Малыш» (см. сборник «Сказки дня и ночи», т. IV).

Зверь дяди Бельома

Напечатано в «Жиль Блас» 22 сентября 1885 года.

Продается

Напечатано в «Фигаро» 5 января 1885 года.

Стр. 55. *Менгир и долмен* — культовые камни древних кельтов. *Менгир* — одиноко стоящий вертикальный камень; *долмен* — столообразное сооружение из нескольких больших камней, внутри которых обычно находилось место погребения умерших.

Незнакомка

Напечатано в «Жиль Блас» 27 января 1885 года.

Признание

Напечатано в «Жиль Блас» 20 августа 1885 года.

Стр. 66. *Реннеду* — вероятно, опечатка в имени, и это — та же г-жа Реннедон, что и в новеллах «Избавилась» и «Знак».

Стр. 67. *Задуть мой фонарь* — намек на известное предание о древнегреческом философе-цинике Диогене (IV век до н. э), который искал днем с огнем человека, достойного называться человеком.

Крестины

Напечатано в «Жиль Блас» 13 января 1885 года.

Стр. 72. *«Западня»* — роман французского писателя Эмиля Золя (1840—1902), вышедший в 1877 году.

Неосторожность

Напечатано в «Жиль Блас» 15 сентября 1885 года под псевдонимом Мофриньёз.

Сумасшедший

Напечатано в «Голуа» 2 сентября 1885 года.

В деревенском суде

Напечатано в «Жиль Блас» 25 ноября 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 94. *Стишки Вольтера* — имеются в виду эпиграммы и фривольная лирика Вольтера.

«Вер-вер» — шутливая поэма французского поэта Луи Грессе (1709—1777), изданная в 1734 году.

Парни (1753—1814) — французский поэт, автор эротических стихотворений и антирелигиозных поэм.

Quidquid tentabam dicere versus erat — строка из Овидия: «Что ни начну говорить, все получается стих» (перевод В. Брюсова). Дело в том, что предыдущая реплика судьи неожиданно для него самого приобрела ямбический размер: «Ну, го́споди́н Поте́ль, дава́йте вы́зыва́ть».

Стр. 97. *Калипсо* — персонаж «Одиссеи», нимфа и владычица одного острова, на который попал Одиссей после кораблекрушения. Любовь Одиссея и Калипсо продолжалась семь лет, после чего он покинул свою безутешную возлюбленную.

Шпилька

Напечатано в «Жиль Блас» 13 августа 1885 года под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 101. *Прюдом* — имеется в виду Жозеф Прюдом, сатирический образ французского буржуа, созданный Анри Монье (1799—1877).

Стр. 103. *Манон Леско* — героиня романа французского писателя аббата Прево (1697—1763) «История Манон Леско и шевалье де Грие», изданного в 1731 году.

Вальдшнепы

Напечатано в «Жиль Блас» 20 октября 1885 года.

В вагоне

Напечатано в «Жиль Блас» 24 марта 1885 года.

Стр. 114. *Стояли последние дни июля* — школьные каникулы Франции продолжаются с 1 августа по 1 октября.

Стр. 120. *Робер Уден* (1805—1871) — французский фокусник. Здесь речь идет о каком-то позднейшем фокуснике 80-х годов, принявшем это имя.

Са-Ира

Напечатано в «Жиль Блас» 10 ноября 1885 года.

Стр. 121. *Тенирс* — было два известных фламандских живописца, носивших эту фамилию: Старший (1582—1649) и Младший, его сын (1610—1690).

Рибейра (1588—1656) — испанский художник.

Стр. 123. *Мы окрестили ее именем Са-Ира́* и т. д. — «ça ira» буквально означает «это пойдет». В оригинале непереводимая игра слов: ça va-t-il — ça ira mieux. Ça ira — также припев знаменитой песни французской революции XVIII века.

Стр. 129. *В царстве слепых и кривой...* — намек на французскую пословицу: «В царстве слепых и кривой — король».

Как дочери политического ссыльного. — Видимо, отец рассказчицы был республиканец и подвергался политическим репрессиям со стороны Второй империи. В пору Третьей республики такие республиканцы пользовались некоторыми привилегиями, в частности правом получения табачной лавки (табачная торговля являлась во Франции государственной монополией).

Сюрприз

Напечатано в «Голуа» 4 сентября 1884 года.

Стр. 133. *Луи Буйле* (1822—1869) — французский поэт-парнасец.

Одиночество

Напечатано в «Голуа» 31 марта 1884 года.

Стр. 136. Приведенное четверостишие взято из поэмы французского поэта Альфреда де Мюссе (1810—1857) «Майская ночь».

Стр. 139. *Сюлли Прюдом* (1839—1907) — французский поэт-парнасец.

У постели

Напечатано в «Жиль Блас» 23 октября 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 143. *Время Регентства* — период истории Франции

(1715—1723), когда за малолетством короля Людовика XV Францией правил регент Филипп Орлеанский. Время это прославилось большой распущенностью нравов при дворе и в светском обществе.

Солдатик

Напечатано в «Фигаро» 13 апреля 1885 года.

МАЛЕНЬКАЯ РОК

Маленькая Рок

Новелла печаталась фельетонами в «Жиль Блас» с 18 по 23 декабря 1885 года.

Стр. 162. *До революции* — имеется в виду французская революция XVIII века.

Стр. 166. *И доктор и мэр были бонапартистами* — то есть сторонниками свергнутой Второй империи, оппозиционно настроенными к Третьей республике.

Стр. 174. *Играли... в пробку* — игра, состоящая в том, чтобы при помощи камня или бильярдного шара повалить пробку, на которую положена монета.

На разбитом корабле

Напечатано в «Голуа» 1 января 1886 года.

Стр. 195. *Город, где воспламенялась вера кальвинистов* — намек на активное участие Ла-Рошели в религиозных войнах XVI века, когда Ла-Рошель была твердыней гугенотов — последователей Кальвина (1509—1564), главы протестантизма в Швейцарии и Франции.

Заговор четырех сержантов — один из наиболее известных военных заговоров, направленных к свержению Реставрации, участниками которого явились четыре сержанта-карбонария одного из полков гарнизона Ла-Рошели. Заговор был раскрыт, и участники его гильотинированы в Париже в 1822 году.

Дамба, построенная Ришелье.— Во время войн, которые Ришелье, министр Людовика XIII, вел против гугенотов, войска его в 1627—1628 годах безуспешно осаждали Ла-Рошель. Наконец по приказу Ришелье была возведена дамба, отрезавшая осажденным доступ к морю и вынудившая крепость к сдаче.

Стр. 197. *Брас* — морская сажень.

Был родом из Бордо — намек на то, что капитан в качестве уроженца Бордо, приморского города, отлично знает море. Вместе с тем капитан говорит с особым акцентом, которого в переводе мы не передаем.

Мидия — сорт ракушек.

Стр. 204. *Ave, Caesar, morituri te salutant* — «Цезарь, готовящиеся умереть приветствуют тебя». Возглас римских гладиаторов-рабов перед их сражением на арене цирка.

Отшельник

Напечатано в «Жиль Блас» 26 января 1886 года.

Мадмуазель Перль

Напечатано в литературном приложении к «Фигаро» 16 января 1886 года.

Стр. 215. *Комическая опера* — театр оперетты в Париже.

Французская комедия — крупнейший драматический театр в Париже.

Стр. 216. *15 августа* — день рождения Наполеона I, бонапартистский праздник.

Положение дел в Тонкине.— В течение 80-х годов внимание французского общества было поглощено происходившими в Тонкине событиями, связанными с попыткой Франции навязать ему свой протекторат. Аннексионистская деятельность французского правительства, осуждавшаяся радикалами и социалистами, требовавшая все новых и новых кредитов, а также посылки новых подкреплений («положение дел в Тонкине» постепенно превратилось с 1883 года в фактическую войну с Аннамом и Китаем), вызывала шумные дебаты в палате депутатов и в сенате, завершившиеся 30 марта 1885 года свержением кабинета Ферри.

Стр. 226. Слово «перл» произносится по-французски «перль» (perle).

Розали Прюдан

Напечатано в «Жиль Блас» 2 марта 1886 года.

О кошках

Напечатано в «Жиль Блас» 9 февраля 1886 года.

Стр. 236. *Антиб* — местечко на французском побережье Средиземного моря, недалеко от Ниццы. В конце 1885 года Мопассан купил здесь виллу Мютерс. В воспоминаниях Франсуа Тассара описывается приезд писателя зимой 1885—1886 годов на эту виллу; интересно здесь следующее указание Тассара, относящееся к данному очерку и вообще характеризующее творческую работу Мопассана, в которой нередким сотрудником являлась его мать, Лора де Мопассан: «Сидя рядом с матерью, мой господин счастлив. Удобно разместившись, они обсуждают

тему его будущей новеллы, переделывают план, потом наконец приходят к полному согласию, и мой господин восклицает с улыбкой: «Превосходно, моя новелла теперь прочно стоит на ногах, как спрыгнувшая кошка консьержа». Эта кошка действительно постоянно играла с моим господином на скамье; когда мы только что приехали, это маленькое существо казалось таким печальным, но она скоро поняла, что ей нашелся товарищ и друг. И тут уж она каждый день точно являлась на свидание и не упускала случая получить удовольствие. Она была так прелестна; у нее был мягкий и густой мех, белый с темно-серыми пятнами, а желтые глаза положительно блестели умом! Это подало моему господину мысль написать очерк о кошках» (Souvenirs... par François, pp. 53—56).

Стр. 236. *Жорж Дюваль* (1847—1919) — французский драматург и романист, сотрудник ряда газет, в частности «Голуа».

Стр. 238. *Бодлер* (1821—1867) — французский поэт, родоначальник декадентства. Приведенные сонет и четверостишие в конце новеллы взяты из его книги «Цветы зла».

Стр. 239. *Белая Кошечка* — название сказки французской писательницы графини д'Онуа (1650—1705). Некий принц во время своих приключений встречает восхитительную белую кошечку, которая оказывается принцессой, превращенной в животное силою волшебства; принц возвращает ей человеческий облик и женится на ней.

Стр. 240. *Теофиль Готье* (1811—1872) — французский поэт-романтик.

Стр. 241. *Виктор Гюго, который только что скончался.*— Гюго умер 22 мая 1885 года.

Французский театр — второе название Французской комедии.

Госпожа Парис

Напечатано в «Жиль Блас» 16 марта 1886 года.

Стр. 244. *Вобан* (1633—1707)—знаменитый французский военный инженер.

Стр. 245. *Гора Сен-Мишель.*— Эта гора описана Мопассаном в «Орля», в «Легенде о горе св. Михаила», в «Нашем сердце» и др.

Стр. 246. *Марциал* (р. ок. 40— ум. ок. 102) — римский поэт.

Стр. 250. *Высадка императорского принца.*— Речь идет о сыне Наполеона III, принце Эжене-Луи (1856—1879), который после смерти отца выдвигался бонапартистами в качестве претендента на французский престол.

Стр. 251. *Орлеанисты* — французская монархическая партия, боровшаяся с Третьей республикой и состоявшая из приверженцев Орлеанской ветви королевского дома Бурбонов, правившей Францией в лице короля Луи-Филиппа с 1830 по 1848 год.

Елена... Менелай... Ахиллес... Улисс — герои древнегреческой эпической поэмы Гомера «Илиада».

Поль де Кок (1794—1871) — французский писатель.

Жюли Ромэн

Напечатано в «Голуа» 20 марта 1886 года.

Стр. 253. *Рашель* (1821—1858) — знаменитая французская трагическая актриса.

Отец Амабль

Напечатано в «Жиль Блас» в номерах от 30 апреля и 4 мая 1886 года.

ОРЛЯ

Орля

Эта повесть, открывающая сборник, была переделана Мопассаном из первоначального варианта редакции (см. приложение) и появилась в печати только в настоящем сборнике.

Стр. 293. *Александр Дюма-сын* (1824—1895) — французский драматург, принадлежал к числу друзей Мопассана, хотя и был много старше последнего. Мопассан посвятил ему свою пьесу «Мюзотта». Влияние Дюма-сына встречается в ряде произведений Мопассана; вопрос об этом еще не изучен. Дюма, в свою очередь, любил Мопассана и восхищался его творчеством. «Вы единственный автор, книг которого я жду с нетерпением»,— писал он Мопассану.

Стр. 305. *Месмер* (1733—1815) — немецкий врач, создатель теории «животного магнетизма».

Любовь

Напечатано в «Жиль Блас» 7 декабря 1886 года.

Яма

Напечатано в «Жиль Блас» 9 ноября 1886 года.

Стр. 323. *Ну и беги, Базен.*— Речь идет об Ашиле Базене (1811—1888) — французском маршале, проявившем неспособность и трусость, граничившую с изменой, во время франко-прусской войны 1870—1871 годов; будучи приговорен в 1872 году к смертной казни, замененной тюремным заключением, Базен бежал из тюрьмы; эпизод его бегства Мопассан рассказывает в книге

«На воде» (см. т. VII). В устах французской демократии 70—80-х годов имя Базена было бранным словом.

Избавилась

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 22 декабря 1885 года. Сохраняем эту новеллу в сборнике «Орля» соответственно ее местонахождению в прижизненном издании. В издании Конара она произвольно перенесена в сборник «Маленькая Рок».

Клошет

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 21 декабря 1886 года.

Маркиз де Фюмроль

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 5 октября 1886 года.

Стр. 337. *Двенадцать лет сражался с ветряной мельницей республики.*— Третья республика была провозглашена во Франции 4 сентября 1870 года, но в течение всех 70-х годов три монархические партии: легитимисты, орлеанисты и бонапартисты — продолжали упорно бороться против республиканского принципа. Легитимисты, сторонники старшей ветви королевского дома Бурбонов, низложенной в 1830 году, имели своим претендентом в 70-х годах так называемого Генриха V; орлеанисты выдвигали на престол в 70-х годах графа Парижского, внука короля Луи-Филиппа; бонапартисты желали возвращения власти Наполеону III, а после его смерти — его сыну. В борьбе против республики все эти партии, стремившиеся сыграть на реакции, наступившей после гибели Парижской коммуны, объединялись в виде общемонархического блока; в 1873 году бонапартисты подавали, например, свои голоса за Генриха V и графа Парижского. Таким образом, если отец рассказчика боролся, сам хорошенько не зная, за кого,— это было делом довольно естественным и представляло собой прежде всего борьбу против республики.

Ныне он готов преломить копье только за Орлеанов, потому что остались они одни.— Кандидаты бонапартистов, Наполеон III и его сын, умерли еще в 70-х годах: первый — в 1873 году, второй — в 1879 году; Генрих V умер в 1883 году. Действие новеллы приурочено, следовательно, к периоду 1883—1886 годов, но в эту пору республика уже окрепла, борьба монархических партий утратила прежнюю силу и часть монархистов искала примирения с новым строем. В этой обстановке не удивительно, что сенаторское кресло Третьей республики казалось отцу рассказчика гораздо устойчивее тронов соседних королей.

Знак

Напечатано в «Жиль Блас» 27 апреля 1886 года.

Дьявол

Напечатано в «Голуа» 5 августа 1886 года.

Крещенский сочельник

Напечатано в «Голуа» 23 января 1887 года.

Стр. 366. *Наши отцы смеялись и на эшафоте* — намек на французскую революцию XVIII века с ее террором против контрреволюционной аристократии.

В лесу

Напечатано в «Жиль Блас» 22 июня 1886 года.

Семейка

Напечатано в «Жиль Блас» 3 августа 1886 года.

Стр. 385. *Тантал* — мифологический герой, ввергнутый богами в преисподнюю, где ему предстояло вечно терзаться голодом и жаждой.

Иосиф

Напечатано в «Жиль Блас» 21 июля 1885 года.

Стр. 389. *Иосифами бывают по трем причинам.*— Речь идет о библейском персонаже Иосифе, проданном своими братьями в Египет, где он сделался управителем у вельможи Пентефрия; жена Пентефрия преследовала Иосифа своей любовью, но безуспешно. Образ Иосифа с акцентировкой его целомудренной чистоты многократно разрабатывался в искусстве; тем характернее юмористическое толкование Мопассаном этого образа.

Стр. 390. *Жорж Санд* (1804—1876) — речь идет о социальных романах Жорж Санд, написанных ею в 40-х годах и пользовавшихся большой популярностью.

«Рюи Блас» — романтическая драма Виктора Гюго, написанная в 1838 году. Драма с большим блеском и эффектной силой противопоставляет честного человека из народа развращенной и грабительской придворной аристократии.

Гостиница

Напечатано в журнале «Литература и искусство» 1 сентября 1886 года.

Бродяга

Напечатано в журнале «Новое обозрение» 1 января 1887 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Орля (первоначальный вариант)

Напечатано в «Жиль Блас» 26 октября 1886 года.

Ю. ДАНИЛИН

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стр. 128. «Господин Паран». Худ. Жюльян-Дамази.
Стр. 129 «У постели». Худ. Сегонзаг. [1934.]
Стр. 160. «Маленькая Рок». Худ. Гранжуан. 1903.
Стр. 161. «На разбитом корабле». Худ. Гранжуаи. 1903.
Стр. 320. «Отшельник». Худ. Гранжуан. 1903.
Стр. 321. *Вверху:* «Розали Прюдан». Худ. Гранжуан. 1903.
Внизу: «Госпожа Парис». Худ. Гранжуан 1903.
Стр. 352. «Знак». Худ. Жюльян-Дамази. 1908.
Стр. 353. «Бродяга». Худ. Жюльян-Дамази. 1908.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСПОДИН ПАРАН

Господин Паран. *Перевод И. Татариновой* 5
Зверь дяди Бельома. *Перевод Н. Дарузес* 44
Продается. *Перевод Ф. Стырикович* 52
Незнакомка. *Перевод В. Мозалевского* 59
Признание. *Перевод Ф. Стырикович* 66
Крестины. *Перевод В. Мозалевского* 72
Неосторожность. *Перевод Н. Костовской* 78
Сумасшедший. *Перевод В. Мозалевского* 85
В деревенском суде. *Перевод Н. Костовской* 93
Шпилька. *Перевод ее же* 98
Вальдшнепы. *Перевод ее же* 105
В вагоне. *Перевод ее же* 114
Са-Ира. *Перевод ее же* 121
Сюрприз. *Перевод В. Мозалевского* 130
Одиночество. *Перевод Н. Касаткиной* 135
У постели. *Перевод В. Мозалевского* 141
Солдатик. *Перевод его же* 149

МАЛЕНЬКАЯ РОК

Маленькая Рок. *Перевод Е. Александровой* 159
На разбитом корабле. *Перевод ее же* 194
Отшельник. *Перевод ее же* 206
Мадмуазель Перль. *Перевод Н. Коган* 214
Розали Прюдан. *Перевод С. Вигдор* 231
О кошках. *Перевод Е. Александровой* 236
Госпожа Парис. *Перевод И. Татариновой* 244
Жюли Ромэн. *Перевод Н. Немчиновой* 252
Отец Амабль. *Перевод Е. Александровой* 261

ОРЛЯ

Орля. *Перевод К. Локса* 285
Любовь. *Перевод А. Ясной* 312

Яма. *Перевод К. Локса* 318
Избавилась. *Перевод его же* 325
Клошет. *Перевод Н. Коган* 332
Маркиз де Фюмроль. *Перевод К. Локса* 337
Знак. *Перевод его же* 346
Дьявол. *Перевод его же* 353
Крещенский сочельник. *Перевод его же* 361
В лесу. *Перевод его же* 374
Семейка. *Перевод его же* 380
Иосиф. *Перевод его же* 386
Гостиница. *Перевод его же* 393
Бродяга. *Перевод его же* 407

ПРИЛОЖЕНИЕ

Орля (первоначальный вариант). *Перевод М. Столярова* . 420

КОММЕНТАРИИ

Историко-литературная справка 430
Примечания 436
Перечень иллюстраций 445

ГИ ДЕ МОПАССАН.
Полное собрание сочинений
в 12 томах. Том 6.

Редакторы
М. Н. Чернявич
и Е. А. Гунст.

Оформление художника
Ю. Красного.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печати 26/IX 1958 г.
Тираж 310 000 экз. Изд. № 1082.
Зак. № 1719. Ф. бум. 84×108$^{1}/_{32}$.
Бум. л. 7. Печ. л. 23+4 вкл.
(0,41 п. л.) Уч.-изд. л. 21,87.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.